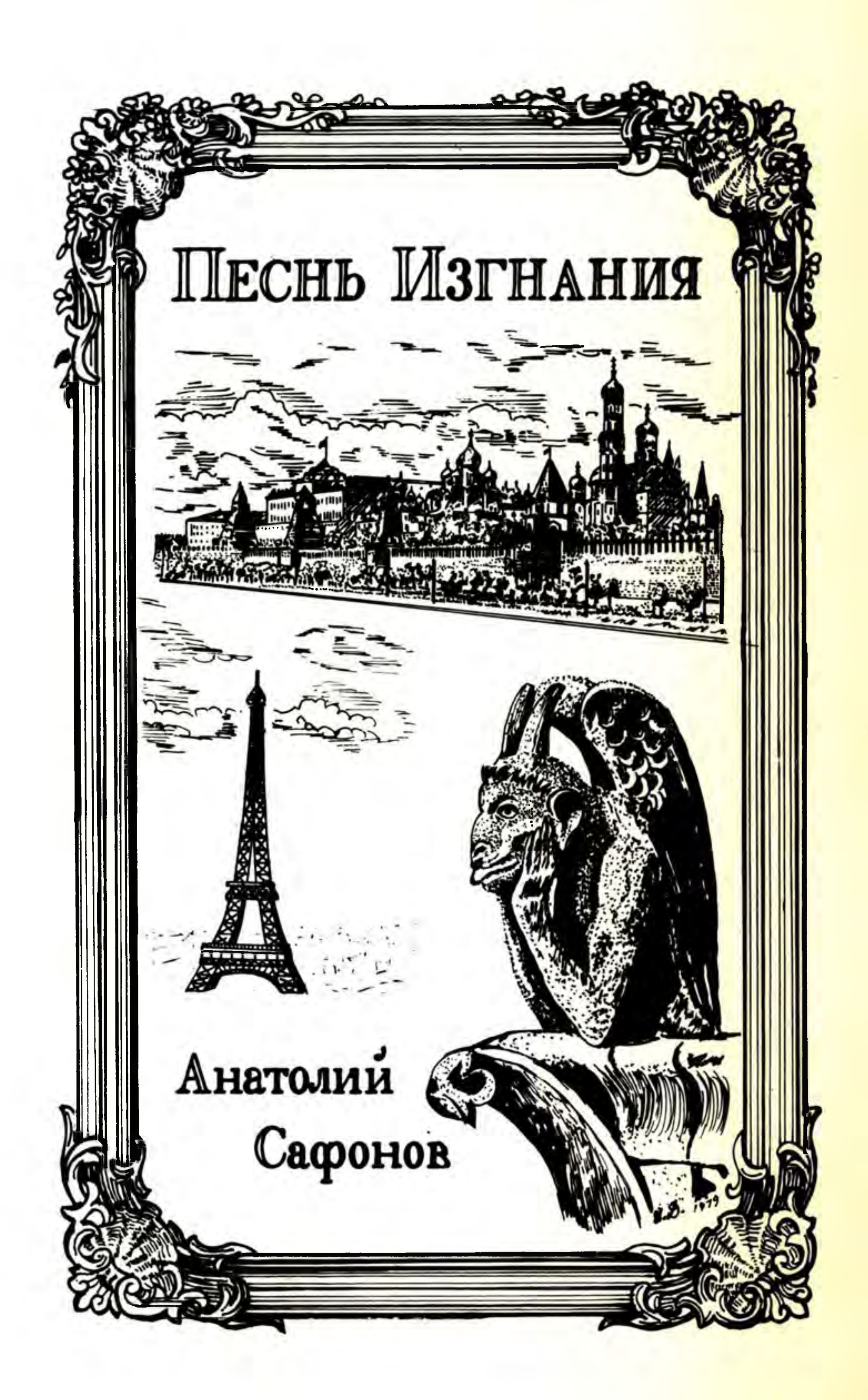
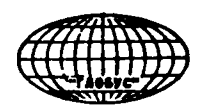

Песнь Изгнания
Анатолий
Сафонов

АНАТОЛИЙ САФОНОВ

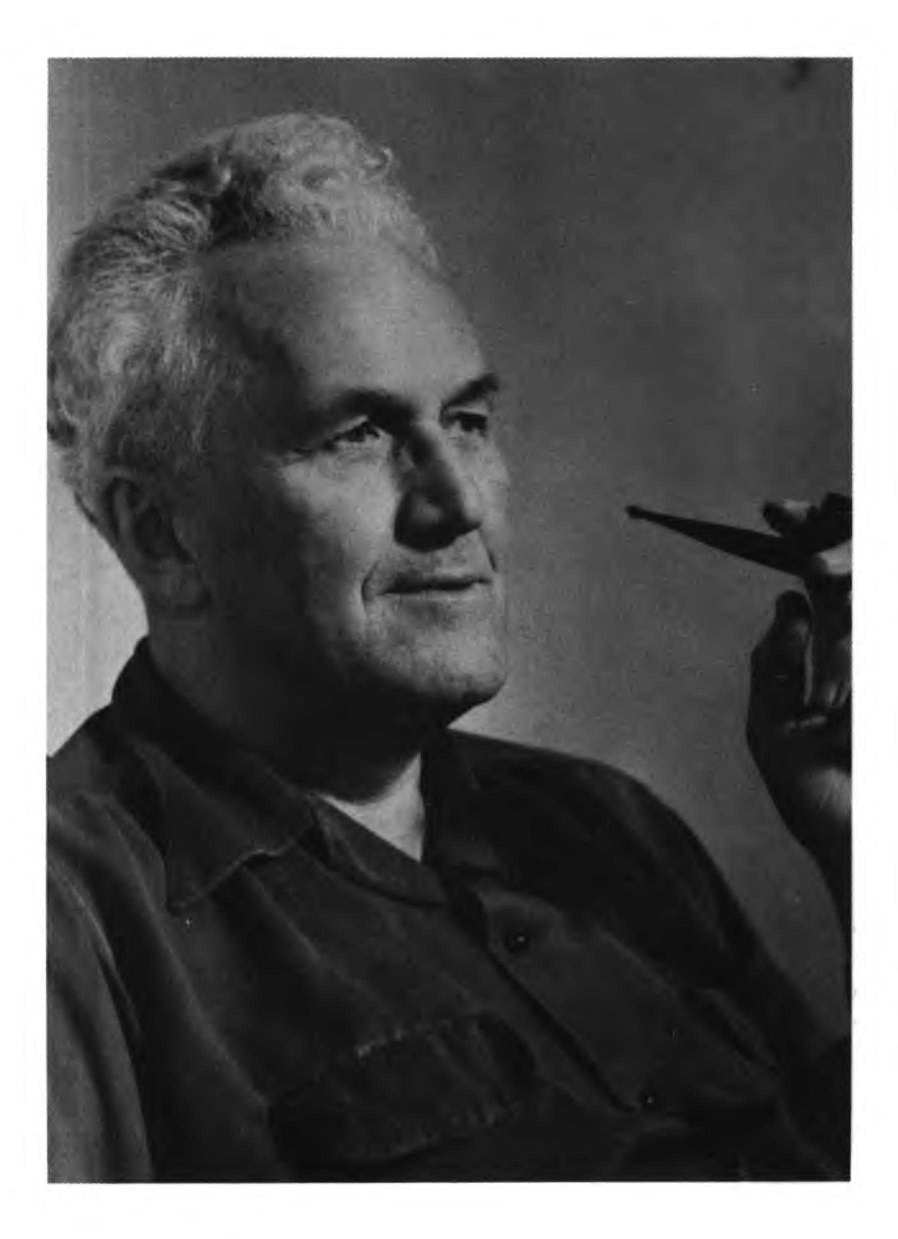
ПЕСНЬ ИЗГНАНИЯ



IN MEMORIAM

— тем еще оставшимся —
— и памяти тех же ушедших —
— выплеснутых на чужие берега
волной революции —
— и унесшим в изгнание неугасимую любовь к родине.

и памяти Кубанского Казачьего Хора,
носителя песни изгнания,
чьи необычайные приключения послужили канвой
для этой повести.



Автор повести «Песнь Изгнания»
Анатолий Сафонов.



Казачий хор перед выступлением в Белом Доме.

«Како воспоем песнь Господню
На земли чуждей?»

Псалом 137

Две гитары, зазвенев, жалобно заныли.
Этот памятный напев — милый, это ты ли?

Цыганская песня.

Стих Первый

1.

Русский ресторан Щелкунчик около Place Pigalle, известной как Пигалка среди «белых» эмигрантов Парижа, открылся в два часа, — до полуночи. Час спустя он был еще пуст. Monsieur Louis, хозяин, он же и maitre d'hotel, сидел в ожидании за столиком около входа. Ему опять пришло в голову, что хотя Щелкунчик был открыт только месяц тому назад, лавочку придется закрывать, если дела не поправятся.

Он опять окинул помещение критическим хозяйским взглядом. В радужных сумерках рассеянных разноцветными лампами в центре белоснежных скатертей на круглых столах, семь картин музыки Чайковского горели живыми сказочными красками: Феи... китайцы... цветы... томные арабские гурии. Мужики с невероятно рыжими и черными бородами, в дикой пляске на фоне пряничных теремов и церквей. Настоящий русский стиль! Не хуже любого на Монмартре. Один русский художник предложил ему идею и эскизы. Чудаковатый тип, в затрапезном костюме, и повидимому не совсем трезвый, но хороший художник. Не щадя затрат, Monsieur Louis ангажировал квартет из знаменитого казачьего хора о котором говорил весь Париж. Два танцора из того же хора заходили каждую ночь. С гармоникой и сценическими кинжалами подмышкой они путешествовали по всем кабакам Монмартра, танцевали лезгинку, накалывали деньги и постепенно надирались. ...Но гвоздь программы конечно была Надя, доставшаяся ему по совершенно счастливой случайности. Он рекламировал ее как «прекрасную цыганку с глазами Сфинкса и голосом Сирены» и надеялся, что она не попросит прибавки. Его другая тайная надежда была, что он с временем, и скоро, сможет полюбоваться этими глазами вблизи и в более интимных обстоятельствах... Parbleu! Если-бы только завести клиентуру! Но как же завести клиентуру, если никто не идет?... И почему эти казаки играют там в карты за занавеской вместо того чтобы сидеть за столом? Все-таки не так было бы пусто...

Взрыв смеха заставил его обернуться. За столом между музыкантской платформой и бархатным занавесом закрывающим вход в раздевальную, кухню и уборные — четыре женщины в пестрых цыганских — они же украинские — костюмах смеялись какой-то шутке дирижера оркестра. На платформе четыре музыканта в расшитых зеленых рубашках позевывали около пианино. Monsieur поморщился. Эти русские идиоты! Чего доброго останутся без работы а они хохочут!... Дурачье! Недаром у них революция и их выгнали из своей же собственной страны..

«...Не оглядывайтесь, но кажется наш общий друг не в духе», продолжала разговор Бобо, хорошенькая брюнетка. «Сидит нахохлился».

«А ты иди развесели его», посоветовал дирижер Вася. «Скажи слышала, что еще один русский ресторан открывается за углом... Развелись эти русские рестораны, как мухоморы. Один у другого хлеб отбивают».

«Ну, Бог даст дела поправятся», сказала Ольга — дама с приятным лицом и повидимому старше других. «Неужели опять придется брать Колю из киндергартена домой?».

Блондинка рядом с ней смотрелась в зеркальце и поправляла кончиком мизинца краску в углу рта. «Если закроемся, брошу рестораны. Надоело. Пойду продавщицей в какой нибудь магазин. Вечера по крайней мере будут свободны».

«Чем торговать будешь, Китти?» спросил Вася, подмигивая остальным.

Китти повела томными голубыми глазами. «По покупателю и товар».

Все засмеялись. Бобо обратилась к Ольге: «Как Горка Волгин?».

«Не пишет ничего, как всегда».

«Разве ты его еще не видела? Швейцар из «Москвы» сказал мне он видел кого-то из ихней труппы. Должно быть вернулись».

«Не может быть. Из Загреба они должны ехать в Белград, а потом еще куда-то... И зачем его понесло на Балканы? Там и денег-то нет... Но вы же знаете Горку. Безалаберный...»

Короткий стук в наружную дверь перебил ее. В один прыжок Вася очутился на платформе, схватил скрипку с пианино, дал сигнал, и оркестр заиграл «Танец часов» из Джиоконды. Женщины машинально поправили прически. На своем посту Monsieur Louis привстал и сделал приятную улыбку. Все глаза устремились на дверь.

Дверь распахнулась для одинокого гостя в сопровож-

дении Султана кавказского швейцара в черкеске. За спиной гостя, Султан развел руками в жесте извинения и вышел. Гость, высокий молодой человек в демисезонном пальто-«cloche » и черной широкополой лихо сдвинутой набекрень шляпе, остановился, снял шляпу и сделал театральный поклон в стиле Трех мушкетеров. «Bon soir, tout le-monde. Спасибо за фанфары, Вася. Да ты не беспокойся».

С дружеским жестом в сторону слегка недоумевающего хозяина, гость приблизился к заднему столу и опять церемонно раскланялся. «Mesdames, какая приятная встреча! Китти, Бобо, нетленные цветы Монмартра... Ольга, звезда моей души, я слышу твой немой вопрос». Он нагнулся и поцеловал щеку Бобо, обошел вокруг стола и поцеловал Китти и Ольгу. Наконец он обратился к Наде: «А вы, прекрасная незнакомка — не знаю кто вы и что вы, но знаю, что я очарован».

«Помяни чорта, а он уже здесь», Ольга ответила за всех. «Откуда ты взялся?... Надя, это конечно он самый и есть. Познакомьтесь. Поручик Волгин. Горка, это Надя Орлова, по сцене Кирина. Звезда нашей программы».

«А, таинственная берлинка! Наконец-то! Ольга все время говорила. Вот подожди, увидишь. И действительно вижу. Взгляни в бездну и бездна взглянет в тебя — так говорил Заратустра».

Китти и Бобо хихикнули. Надя, смотревшая на него со сдержанной улыбкой, протянула ему руку. «Признаюсь, я тоже ожидала этого интересного знакомства. Ольга мне все о вас рассказала».

«Неужели все?» Он поцеловал ее руку немножко выше и немножко дольше, чем предписывается этикетом. «Но вы конечно не верите необоснованным и злостным наветам...»

«Да перестань дурачиться, Горка!» Ольга наконец вспылила. «Рассказывай толком, что случилось?»

Волгин сел напротив Нади. «Барабан! Глупейший из инструментов, а такую свинью подложил!... Выехали мы из Парижа и держали курс на восток пока не добрались до Белграда, столицы братского, как мы полагали, королевства. Приходим в театр на репетицию и что же мы видим? Три серба. Где оркестр, спрашиваем. А вот, говорят, мы и есть оркестр. Скрипка, барабан и контрабас. Правда, барабанщик мог тоже бить в бубен и цимбалы и пускать трель из треугольника. И еще колокольчики подвешены и свистулька. Но посудите сами, какой толк в свистульке если у нас оркестровка на девять инструментов?»

Он вопросительно посмотрел на Надю. Она ответила одобрительной улыбкой. «...Ну, нечего делать, решили играть под пианино, по крайней мере первый вечер. Пианистка-то у нас своя... Хорошо... Вот выходит наш конферансье перед занавес и разводит свою антимонию. Отпускает пару шуток насчет местных сил и универсального барабанщика, и спектакль проходит с потрясающим успехом... Но представьте иронию судьбы — барабанщик-то оказался хозяином театра! Вот после занавеса является он на сцену, сверх программы. «Так значит вам мой оркестр не нравится!... Так значит надо мной издеваться!.. А ну, выкатывайтесь из моего театра!...» Уж мы его и умасливали и уговаривали и судом грозили — никакая сила! Сербский братушка прямо как мавра лютая. Выкатывайтесь, да и только... Ну так и выкатились да до самого Парижа и докатились».

Общий смех опять покоробил Monsieur Louis... Уже скоро полночь, публики нет, а этим сумасшедшим и горя мало!...

«Горка, да ведь это же невозможно», сказала Ольга. «Неужели там не было других театров?»

«Кинематографы. И сцены не приспособлены на быстрые перемены декораций».

«Ну все же ты повидимому подработал. На такси разъезжаешь. Наш Султан тебя за знатного иностранца принял».

«Обман зрения, Бобо, душка. Султан меня узнал, да поздно. А на такси меня поручик Петров привез после небольшого выпивона по случаю моего благополучного возвращения. Я у него пока остановился».

выпивон. Горка, ты невозможен! Ну что же ты теперь

Ольга поджала губы. «Я уж так и знала, что был будешь делать?»

Волгин посмотрел по сторонам. «Да вот Петров сказал, что новый ресторан открылся. Подходящее место...»

«И думать нечего!» перебил Вася. «Правильное название — Щелкунчик. Все зубами щелкаем... И поделом тебе. Прогорелый актер! И какой же дурак бросает место в Париже и едет в захолустье?».

«Ах, Вася, меркантильная твоя душа! Что же из того что я капитала не нажил? Зато какую красоту видел... Швейцария, Тироль... Заход солнца в Альпах... Сказка, мечта... А здесь что?».

«Ну, что же здесь?» повторило басом позади их. Оглянувшись, Волгин увидел дюжего казака в красной черкеске с золотыми галунами, выходящего из за занавески. Он окинул помещение быстрым взглядом из под густых,

нависших бровей и почесал моржовые усы под толстым красноватым носом. «Ты для кого же музыку играл, Вася?».

«Ошибку давали, Лукич», ответила Надя. «Да садитесь, посидите с нами. Не так пусто будет».

«Не могу отказать красавицам... Эй, выходь, хлопцы! Довольно, наигрались». В ответ, худощавый белобрысый казак с рыбьими глазами появился из-за занавески. За ним, толстый, круглолицый, как будто перетянутый надвое тонким ремешком с подвешенным кинжалом. Наконец молодой казак. Высоко поднятые брови и круглые глаза придавали его лицу удивленное выражение. Ольга познакомила их с Волгиным. Они пожали ему руку и сели. Волгин узнал только Лукича и толстого Дулю. Они были заметны в двух шеренгах хора на сцене Трокадеро, когда он был на казачьем концерте.

Толстый Дуля вынул сигару из ряда газырей и принялся слюнить отставший листок. «Да убери язык, Дуля», сказал сердито Терентий, белобрысый казак. «Лижет сигару, як та корова капустный лист».

«Так вот обратите внимание, с точки зрения», добавил Лукич. «Евонные отцы и деды патроны там носили, а он сигары. Подрясник тебе носить, а не черкеску».

«Почему-же подрясник?» удивилась Надя.

«Так он же в подряснике ходил. Дьячком был».

«И не дьячком, а регентом», Дуля невозмутимо продолжал лизать сигару. «А подрясник только в церкви... А сигара добрая. Американский гаврик приветствовал вчерась, да я забыл».

«Почем ты знаешь, що американец?» спросил Кирюша, вечно удивленный молодой казак.

«Да уже ж так и знаю. Хранцюзы скупердяи. А опосля русских американцы самый что ни на есть шумливый народ... Вот доедем до Америки, все закурим сигары».

«В Америку собираетесь?» спросил Волгин, заинтересованный.

«Да говорят...»

«Говорят, что кур доят», перебил Терентий. «Таких заливал как Иван Иваныч поискать...»

В дверь опять постучали. «Горка здесь — должно быть гости», сказал Вася, хватаясь за скрипку. Зал опять наполнился звуками «Танца часов», прерванного приходом Игоря Волгина.

2.

«Везет тебе, Горка как утопленнику. Нет спасения,

как везет!» Поручик Петров повторил опять и опять, поджаривая два куска шипящего и брызжущего свиного сала на круглой чугунной печке. Дырявая рубашка, с рукавами завязанными за спиной, служила ему передником. Чайник рядом со сковородой пускал струйки пара. В комнате вкусно пахло дымом и горелым салом.

«Не по Крылову говоришь. Как-же можно муравью стрекозе завидовать?» Волгин отозвался с двуспальной неубранной кровати на которой он полулежал с гитарой, одетый в синий плюшевый жупан с потертыми галунами, поверх ярко-красной рубахи и широких синих шаровар.

«Почему не по Крылову? Откуда ты знаешь, какую басню Крылов написал бы если бы жил теперь?»

«Интересный вопрос», ответил Волгин слегка рассеянно, как будто думая о чем-то другом. Он приподнялся в сидячее положение, взял аккорд, и запел вполголоса:

«Но я влюблен в глаза одни.
Я увлекаюсь их игрою.
Как дивно хороши они,
Но чьи они — я не открою».

Он положил гитару, встал, и подтянул сползающие шаровары. «...так ты полагаешь, что Крылов переписал-бы старую басню на новый лад? Например, трудолюбивый мелкобуржуазный муравей ликвидирован, а стрекоза улетает за границу и поступает в цыганский хор?».

«Что-нибудь в этом роде... Только и жизни что стрекозам... Вот ты вернулся в Париж — в кармане ничего кроме дыры и открыток с видами Тироля — и уже нашел халтуру да еще и в Америку едешь».

«Ну ты с Америкой-то не торопись. Казаки только сказали, что ищут баса и чтобы я зашел поговорить с дирекцией... Но в общем действительно подвезло вчера. Публики вдруг навалило. Шайка американцев нагрянула. Я помню, видел их раньше — славят по всем кабакам — говорят, что выброшены после кораблекрушения и заблудились в Париже... Веселый народ!... Они меня тоже узнали. Один из них поговорил с хозяином и тот сейчас-же представил меня как всем известного русского певца зашедшего с визитом... Гитару Надя одолжила. Потом с казаками пел. И как пел! С чувством! Ну, думаю, вывози, Никола Угодник — завтра есть нечего! Вот и вывез. Гром аплодисментов и шампанское... Конечно, уж хозяину ничего не оставалось кроме как ангажировать всем известного певца». Он взглянул вниз на синие шаровары. «Жаль нет сапогов. Придется выступать в собственных брюках».

«Сразу видно, что ты не простой цыган, а салонный... Снимай эту хламиду и садись... Почему же сапоги тоже не подцепил?.. Ведь все-равно, прогорела лавочка».

«Не было сапогов. Одни голенища, да и те из черной клеенки. Со сцены-то ничего, а вблизи — чорт знает что».

Приятели сели за стол и принялись за сало и хлеб, поджаренный в том же сале. «Ну, как там на Балканах?» спросил Петров.

«Похоже неважно. Кто с деньжонками, или с какой-нибудь благотворительной халтурой, то еще живут. А остальные...», он не окончил, и только пожал плечами.

«Неужели нет никаких новых слухов?».

«Масса слухов, да все ерунда. Те же самые слухи о беспокойствах в России, о новой интервенции — с кем, неизвестно. Какой-то мудрец додумался до мистики. Вот если написать, «молот-серп», и читать наоборот, то выходит, «престолом». Значит, такая судьба... Сидим однажды в ресторане, ужинаем. Подходит какой-то генерал, почтенный старичек, с подписным листом. На фонд Великого Князя Кирилла Владимировича. Ну, неудобно обижать старика — дал ему пять динаров... Между прочим, генералы стадами ходят».

Петров кивнул. «Да, генералов везде много».

Волгин продолжал: «Но в общем прежнего воодушевления как будто бы уж нет. Пар из котлов выпущен. Наводят справки, нельзя ли куда уехать. Во Францию, в Америку. Некоторые поговаривают о Бразилии».

Они пили чай в молчании. Наконец Петров сказал: «Что же, значит отдать Россию красным?».

Волгин опять пожал плечами. «Ну, что же будешь делать? Против рожна не попрешь. Нас-то никто не посмеет обвинить, что не защищали. Защищали все, что придется — направо и налево... Сначала веру, царя и отечество... Потом демократию... Потом единую, неделимую Россию. Помнишь,

Солдат российский,
Мундир английский,
Сапог японский,
Правитель омский.

...Между прочим, интересно бы собрать все эти Шарабаны, Яблочки, частушки, и опубликовать как неофициальную историю.

Сидит милый на заборе
С революцией во взоре.
Прокламацию читает,

Ничего не понимает.
. . . .
Зачем Колчак нам
И власть народа.
Была бы водке
Дана свобода.
. . . .
В Севастополе мы развлекалися
И буржуев резней занималися.

...Мы защищали все, что приказано — пока не оказалось, что уже и защищать нечего, и мы очутились на положении безработных...»

«К чертям все это, Борька!» он закончил, хлопнув ладонью по столу. «Мы свой долг исполнили! Если человек отдал все — положил на алтарь, как говорится — что же с него еще спрашивать? С голого рубахи не снимешь! Мы никому ничего не должны — даже самим себе. По всем вероятностям, нам никак нельзя было выйти живыми из войны, революции и гражданской войны. Мы живем, так сказать, без всякого законного основания... На халтуру!... Ну, хорошо, так будем же жить, а не прозябать как какие-то жалкие беженцы». Он окинул взглядом всю нищенскую обстановку: потрескавшуюся краску на стенах, умывальный кувшин и таз, свои два чемодана открытые на полу около футляра с гитарой.

«Да ты погоди, чего распетушился», Петров перебил, с некоторой досадой. «Позавчера-то ты очень даже был рад, что у одного жалкого беженца было тебе место спать».

Волгин посмотрел на него и засмеялся, «Молодец, Борис, в самую точку попал... Но ведь я не о тебе лично, а вообще... Ты помнишь в первую ночь как мы вышли из Севастополя на этой старой калоше — Георгий Победоносец? Гам и слезы и ругань на пристани... Стрельба где-то сзади... Гам и слезы и ругань на палубе. Солдаты, женщины, дети. Я пробрался вперед. Морской бриз в лицо дует — чистый, ни дыму, ни вони... Вот тут я и решил — довольно! К чортовой матери и белых и красных! Я теперь один, сам по себе. И нет у меня больше ничего кроме этой неизвестности в которую я иду без страха — даже с удовольствием — навстречу этому свежему ветру. Никто мне больше не прикажет. Я сам себе господин!».

Он помолчал, смотря прямо перед собой. «Борис, мы прошли с тобой огонь и воду и нам между собой церемониться нечего. Не знаю как тебе, а я часто думаю, не попали ли мы в переплет по-ошибке. Вроде как на чужом

пиру похмелье. Или например как в внезапном наводнении или землетрясении. Ни силой, ни умом не возьмешь, а просто или повезет или нет». Он протянул Петрову свой портсигар. Оба закурили.

Петров начал задумчиво: «Да, я тоже... Иногда вот сижу в такси, пассажиров ожидаю, или ночью проснусь, или просто так посмотрю кругом, и вдруг придет в голову — почему я здесь? Как же это я сюда попал?... Совершенно невероятно!... И вот начинаю опять проходить всю дорогу, шаг за шагом. Так сказать, исторический подход... Воевать с внешним врагом надо? Надо. С внутренним врагом — тоже надо. Когда стали все отступать, тоже и тебе значит надо отступать... до самого Крыма. А из Крыма рад, что живым выбрался. Этот Галлиполийский лагерь казался как царство небесное. А как предложили эвакуировать из окаянного лагеря во Францию — разве можно отказаться? Вот и выходит, что все вполне логично. Что каждый шаг был совершенно необходим. Что ничего другого и делать было нельзя. Только вот, если всю историю пропустишь и прыгнешь из дому в эту гнусную дыру...» Петров не докончил и замолчал. «...На прошлый армистис пошел от нечего делать на патриотический митинг. Думаю, вспомним старину, выпью с каким-нибудь союзником. В общем, погреюсь у братского костра... Вот и погрелся! Действительно, все собрались — ветераны в полной форме, с орденами. Председатель встает и держит речь. Конечно, сначала о бессмертной славе Франции. О несравненных бельгийцах. Доблестных англичанах. Храбрых и великодушных союзниках из-за океана. Геройских сербах... Я жду — а о русских ни полслова! Можешь себе представить — не только что мы не воевали, а как будто бы нас вообще и на свете не было. Мне даже как-то жутко стало».

«De mortuis aud bene, aud nihil. О мертвых либо отзывайся хорошо, либо вообще молчи», Волгин процитировал свободный перевод латинской пословицы. «Они решили, что Россия умерла. И раз ничего хорошего сказать о покойнице нельзя, то лучше деликатно умолчать».

«Как же ничего хорошего сказать нельзя!», горячо возразил Петров. «Когда немцы взяли их за глотку на Марне, и они кричали благим матом чтобы русские помогли и открыли второй фронт — русские вломились в Восточную Пруссию, не зная ни пути ни дороги, и еще не закончивши мобилизацию. Пришлось немцам направить скорым порядком пару дивизий на Восточный фронт... Ну, а нам-то какая же польза? Вот в истории будет написано, что французы выиграли решительную битву на Мар-

не, а русские иваны были разбиты вдребезги под Танненбергом... А то, что мы три года держали фронт от Балтийского до Черного моря, и в Турции до самого Эрзерума — это значит что же — баран начихал? Отступали не потому, что плохие вояки, а потому что воевать нечем было. В атаку ходили бывало — половина без винтовок. Ждали пока соседний упадет, чтобы подобрать его винтовку... Ведь это не мы подписали Брест-Литовский мир! Да если и подписали, неужели нечем вспомнить тех сотен тысячь, которые умерли и готовы были умереть за общее дело?».

«Не горячись, Боря. Союзникам обидно, что мы умерли слишком рано, и им пришлось воевать одним... На кой нам чорт их армистис? Нам было не до армистиса... Не тогда ли мы выкурили этих красных из мельницы?».

Петров подумал. «Да. Помнишь, мы зашли в штаб, и там сказали, что получили передачу. Перемирие на западном фронте».

Приятели опять замолкли, каждый зная о чем думал другой... Голая степь, ожидающая зимы. Полусожженная деревушка у речки. Бескрылая мельница у брода. Трое или четверо красных засели там, обстреливая брод и открытую степь. Без артиллерии выбить их было нельзя. После бесполезной перестрелки, Волгин, Петров и еще двое обошли мельницу далеким кругом и подошли со слепой стороны. Они наложили у двери сухой травы и веток, подожгли и отошли в сторону, винтовки и гранаты наготове. «Эй, выходи там! Выходи без оружия, а то мы вас выкурим!» В ответ раздалась отборная ругань, и две пули продырявили дубовую дверь. Скоро огонь охватил дверь и всю сторону мельницы. И заглушая потрескивание горящего сухого дерева, из мельницы раздалось:

«Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов...»

Потом четыре выстрела быстро один за другим и все затихло, кроме гула пламени внутри мельницы и треска горящего дерева. Петров, старший, подождал еще немного, затем отошел и помахал фуражкой. Отряд двинулся к броду и дальше в степь. За ними мельница пылала погребальным костром.

«...Молодцы, сукины дети, надо отдать справедливость», сказал Петров. «Вот пропали ни за что... А мы здесь... Верно сказано — от великого до смешного один шаг... Да, было времечко. Я вот что тебе скажу, Горка. Одно дело если мы вернемся домой или с боем или по

мирному. В таком случае не важно, чем мы пока перебиваемся... Такси гонять, посуду мыть, маловажно. Ну а если придется зазимовать за границей надолго, это совсем другой коленкор. Нужно будет встать на другую точку зрения. Может быть лучше позабыть чем мы были и решить, что же мы действительно из себя представляем».

«Да я уже решил», ответил Волгин, пуская кольца дыма и следя как они расплывались. «Поживу себе пока не умру».

«Хорошо у тебя голос есть. Толку-то, конечно мало. Но все-таки работать не надо. А ты войди в мое положение. Ни до чего не доучился. Ротой могу командовать, пулемет в слепую разберу и соберу. С таким ремеслом, одна дорога — в Иностранный легион. Там, говорят, всех берут. Медицинский осмотр, и никаких вопросов... Но с какой же стати тащиться в Африку, арабов стрелять? Жарко в Африке, пустыня. Да и надоело воевать. Сюзи говорит, надо тебе в какое-нибудь дело идти. Говорит, лучше бы нам найти pied-a-terre и жить вместе, чем ей приходить сюда. Вероятно так и сделаем. Омерзел мне этот вертеп».

«Ну, что за женщина, Борис!» воскликнул Волгин. «Прямо очарование!»

Петров скромно улыбнулся. «Сюзи ничего себе. Ну, конечно, уж ничего особенного...»

«Да я не о Сюзи. Надя! Прекрасная цыганка из Щелкунчика...»

«Ах, извините пожалуйста. Уже изволил втюриться», Петров съязвил с очевидной досадой.

«Какие глаза!» продолжал Волгин. «Посмотрел бы ты на нее в свете разноцветных прожекторов. Как будто из картины вышла — одна из этих арабских гурий. Да что там гурии? Ерунда, гурии!... А поет как! Голосу как раз довольно для цыганщины, но какое чувство!».

«Какой номер?» спросил Петров без особенного интереса.

Волгин подумал. «Сразу трудно сказать. Во всяком случае она не дура. Возможно подойдет под романтическую категорию с неожиданным приступом... Или номер три — интеллигентные и задушевные разговоры... Ну, там видно будет».

Категории женщин были выработаны полковыми специалистами в великую и гражданскую войны, вместе со стратегическим и тактическим подходом к каждой категории.

Волгин поднялся. «Пора идти. Спасибо за завтрак... или обед. Если получу сегодня деньги, завтра приветст-

вую. Пожелай успеха. Ведь критическая минута. На перекрестке жизни, так сказать».

Петров собирал со стола. «Какой там перекресток! Из цыгана казаком заделаешься. В Америку попадешь, меня выпишешь. Поселимся в каком-нибудь Колорадо или Эльдорадо и разбогатеем... Ведь сказали же казаки, что им нужен бас?»

«Обязательно. Приходи, говорят, непременно. Особенно ихний старший. Из гвардии наместника Кавказа. Настоящий Тарас Бульба, только что без оселедца. И фамилия к лицу — Убей-Батько. Лука Лукич Убей-Батько. Похоже, выпить не дурак».

«Держу пари, что возьмут. Дуракам счастье».

Волгин завязывал галстук перед зеркалом. «Вашими бы устами да мух ловить».

3.

Казаки репетировали в театре Трокадеро, в том самом где они прогремели на весь Париж, после триумфального турнэ по Югославии, Болгарии и Италии. Волгин попробовал несколько боковых дверей величественного здания, пока не нашел одну, которая открылась. Глухой гул голосов слышался откуда-то из недр. Он пошел на гул и наконец добрался до небольшой залы где казаки сидели около пианино и вдоль стен. Вместо расшитых красных черкесок, они были в походных черных.

Волгин остановился в дверях, видя, что малорослый но плотный казак посреди комнаты очевидно что-то объявлял: «...Секретарь говорит, что хозяин опять жаловался. И опять горняшки. Говорит, как же им постели убирать, если казаки весь день по постелям валяются? Говорит, Анна и Берта боятся в комнаты входить. Ведь я же честью просил — не замать горняшек...»

Его слова заглушились внезапной и громкой разноголосицей. Казаки кричали друг на друга или просто вообще. Насколько Игорь мог разобрать, каждый обвинял всех остальных, хотя «цей ишак и бабник Дуля» упоминался всего чаще. Лукич негодовал громовым басом: «Деревенщины! Соображать надо, где и когда бабу зажать!» Однако большинство повидимому держалось того мнения, что хозяин — тонконогая французская лягушка и сукин сын. Что его горняшки зазнаются, а толстуха Берта должна бы быть рада казацкому вниманию. И что вообще начхать на хозяинову голову потому что хор все равно скоро уезжает из Парижа.

Продолжая спорить, казаки начали выходить. Они не

обращали внимания на посетителя. Лукич подошел к нему. «Ну, что ты будешь делать с таким народом? В какой отель не приедем, то и обязательно скандал... Это Иван Иваныч, наш директор, объявление делал. Пойдем, я вас представлю ему и маэстро. Маэстро Степан Антоныч. Он вас и испытает».

Они подошли к пианино, где Иван Иванович и регент хора ожидали их. Игорь сразу узнал регента, хотя вблизи он был не таким, как казалось со сцены. Повидимому еще молодой человек, но его темные волосы были подернуты сединой. Впалые щеки придавали ему нездоровый вид. Игорь был поражен выражением его глубоких синих глаз: они были странно печальны даже когда он улыбнулся.

Иван Иванович окинул Игоря быстрым взглядом и заговорил весело: «Очень приятно. Наши хлопцы рассказали нам о вас. Так значит вы хотите к нам?»

«Да, если вы ничего не имеете против кацапов».

Иван Иванович рассмеялся. «Мы вас в казаки произведем... Ну, что же вы для нас споете?»

«Да вот Кудеяра он вчера пел», сказал Лукич. «Играй Кудеяра, Антоныч».

Маэстро сел за пианино, взял аккорд и взглянул на Игоря. «Ре-мажор хорошо?»

Игор кивнул. Маэстро проиграл конец припева и Игорь начал:

«Жили двенадцать разбойников,
Жил Кудеяр атаман.
Много разбойнички пролили
Крови честных христиан...»

Многие хористы остались послушать нового баса. Игорь видел, как они посматривали друг на друга и одобрительно кивали голвоами. Квартетчики из Щелкунчика оглядывались по сторонам с очевидным удовольствием, как будто спрашивая — ну что, не верили? Игорь особенно следил за Иваном Ивановичем рядом с пожилым казаком необычайной наружности. Седеющие и редеющие волосы над высоким лбом, тщательно зачесанные на средину головы. Седеющие усы под тонким орлиным носом, охватывающие прекрасно вылепленный рот и подбородок. Темные, почти черные, глаза смотрели открыто из под густых бровей. Это было лицо природного воина и потомка воинов. Он курил папиросу в длинном мундштуке и обменивался словом с Иваном Ивановичем и со своим соседом с другой стороны.

Этот сосед был единственный повидимому не заинте-

ресованный в происходящем. Он сидел скорчившись, упершись подбородком в руки скрещенные на крючке его палки. Его странно выпученные глаза вперились в Игоря неподвижным взглядом. Быстрая судорога пробегала иногда по его пожелтевшему лицу. Игорь старался на него не смотреть, но непреодолимая сила заставляла его взглядывать на скорчившуюся фигуру — и сейчас же отводить глаза от этого уставленного взгляда — мертвой рыбы. В средине третьего куплета песни о раскаявшемся грешнике, неприятный казак поднялся, сказал что-то Ивану Ивановичу и вышел, постукивая палкой об пол и слегка волоча левую ногу.

Когда Игорь окончил куплет, Маэстро перестал играть, поднялся и улыбнулся своей грустной улыбкой. «Ну, довольно. Извините на минутку». Он направился к Ивану Ивановичу. Лукич и еще несколько казаков пошли за ним. Собравшись в тесную группу, они разговаривали вполголоса. Игорь сел около пианино и закурил. По всем признакам, дело было в шляпе.

Он опять поднялся когда казаки закончили совещание и подошли к пианино. Иван Иванович обратился к усатому. «Разрешите представить, господин полковник. Поручик Волгин, Игорь Петрович... Вот познакомьтесь. Это полковник Лиманский, наш старший офицер».

Игорь вытянулся по привычке и пожал полковнику руку. Он познакомился еще с тремя казаками, один из них занимающий высокий пост хорового казначея.

«С удовольствием послушал вас», заметил полковник. Игорь поклонился.

«Отлично», сказал Иван Иванович, потирая руки. «Маэстро говорит, солистом вас сделает. Вот в этом самом Кудеяре и еще может в паре номеров... Ну, хорошо. А скажите пожалуйста, вы не влюблены?»...

«Да вы не смущайтесь, я это по долгу службы», продолжал он поощрительно, видя, что Волгин — редко лезший за словом в карман — стоял слегка опешивший неожиданным вопросом. «Обычно это тенора, а наша беда с басами. Либо пьют горькую, либо с какой юбкой свяжутся...

«Ну не все, разумеется», он спохватился на солидное покашливание полковника Лиманского. «А вот тот дядя чье место вы занимаете отличился во всех отношениях. Пока трезвый, душа человек, а как напьется — ну прямо хоть святых выноси. В Италии, в одном отеле чуть хозяина в окошко не выкинул. Хорошо, что итальянцы музыку любят, да хозяин попался добрый человек. Ну, конечно, дали ему контрамарки на концерт — ему и всему

семейству, душ десять. Утихомирили. Хорошо, говорит, раз уезжаете, то счастливого пути и аривидерчи. Только в других городах будьте поосторожнее».

Иван Иванович повидимому еще хотел что-то сказать о необъяснимых странностях басов, но Маэстро стал демонстративно собирать ноты, а полковник опять подкашлянул. Иван Иванович потер руки. «Между прочим, наши хлопцы понавели справки о вас в ресторане. Ничего кроме хорошего. Вы сами понимаете, нам надо осторожно кого в хор брать. Ведь мы собираемся в Америку, в мировое турнэ... Хлопцы говорят, вы понимаете по-английски».

«Немножко. По-французски тоже».

«У нас для французского секретарь есть. Однако он других языков не знает. И петь не может. То мы его оставим здесь. А с вами нам и не надо искать секретаря на Америку... Господа, мы подцепили образованного человека!»

«Да у нас уже есть один такой, образованный», заметил казначей.

«Да, конечно. Но это-же совсем другое дело. Сотник Коваль был ранен и контужен... Между прочим, это тот самый, что вышел когда вы пели. С некоторыми странностями человек. Он был не таким когда мы его взяли, но теперь похоже начинает сказываться. Ну, Бог даст опять поправится».

«Сотник Коваль никому не мешает, если его не трогать», сказал Маэстро.

«Вот именно, да. Вы с ним, так сказать, поостерегитесь, пока поближе не познакомитесь... Вы где сейчас живете?»

«У приятеля пока остановился. Недалеко от Площади Республики».

«Ну я не знаю где это, но это же страшная даль. Вам обязательно надо к нам переехать. Познакомитесь с хористами. Репетировать много придется. Черкеску примерять. У нас, имейте в виду, свой портной. Обязательно переезжайте. И место вам есть. Будете квартировать с Вафлей... Да вы не удивляйтесь. Его-то настоящее имя Семен Лапшин, однако мы его зовем Вафлей. В Италии, в одном ресторане подали нам вафлей. И эти самые вафли ему до того понравились, что с тех пор требовал их в каждом ресторане. То мы его и прозвали Вафлей. Тихий человек, серьезный — баритоном поет... Да чего же мы здесь стоим? Пойдемте зайдем в бистро, кофею выпьем или еще чего. Там и поговорим».

4.

Дела в Щелкунчике неожиданно поправились. Улыбка Monsieur Louis сделалась более непринужденной, а Ольга уже больше не жаловалась, что придется взять маленького Колю из киндергартена. Игорь Волгин хвастался за задним столом, что это все благодаря его чарам: как только публика узнала, что он здесь, так и повалила в Щелкунчик. Про себя, он слегка досадовал на такой оборот. Деятельность в ресторане закончила длинные беседы около музыкальной платформы — и вместе с тем его единственную возможность побыть с Надей. Конечно, он всегда мог зайти к Ольге, где Надя снимала Колину комнату. Кроме Петрова, Ольга и ее муж капитан Парский — Капитусь, как его все звали — были единственные в Париже, кого Игорь знал еще из России. Маленький Коля Парский был его крестник. Но все «монмартрцы» спали поздно. А потом надо было разучивать обширный репертуар хора и репетировать с Маэстро. А там уже скоро вечер и опять пора в ресторан.

Заблудшие американцы сделались завсегдатаями. Они шумели, смеялись, посылали шампанское казакам и приглашали Игоря и Надю за свой стол. Игорь скоро узнал, что блондинка разговаривающая с наибольшим авторитетом была из Техаса — Бетти Дэвис, проводившая медовый месяц в Париже с мужем Джимом. Из двух других молодых женщин, Джин занималась в какой-то декоративной студии, а Люсиль что-то учила в Сорбонне. Больше всех шумел толстяк Чарли, по каким-то делам в Париже. По каким именно — трудно было судить потому, что Чарли никогда не был вполне трезв. Их очевидное намерение было веселиться во что бы то ни стало. Они постоянно дразнили друг-дружку — особенно самого молчаливого из своей компании, которого они звали Ронни. Они предупредили Надю, что Ронни очень опасный тип — только-что сорвавшийся с цепи. Когда Надя, чье знание английского языка не простиралось дальше второй книги курса Берлица, спросила недоверчиво, как-же это возможно, они все засмеялись и уведомили, что она и сама может быть со временем узнаем. Игорь объяснил ей, что американцы намекают на брачные цепи и, что Ронни вероятно только-что развелся или разводится. Ронни только сдержанно улыбался на все шутки и наконец приглашал Надю на танец. Игорь заметил, что Ронни танцевал с Надей охотнее, чем с его собственными компаньонками.

Опытный глаз Игоря Волгина быстро различил, что

Ольга была права когда сказала ему, что молодая Берлинская вдова, которую она старалась выписать в Париж была «не из таких». А Ольга уж конечно знала. Они работали вместе, в одном госпитале на фронте — до и после короткого и трагического Надиного замужества. Да и без Ольги было легко видеть разницу между Надей и например Китти и Бобо. Надю окружал тот необыкновенный аромат, который некоторые женщины носят с собой — запах свежести и чистой воды.

И кроме того было чудо ее глаз. Когда она пела, пурпуровый луч падал на нее из фонаря под потолком. И ее глаза, уже не серые, сияли пурпуровым светом.

Капитусь Парский обычно заезжал к Щелкунчику около закрытия, на своем такси и отвозил Ольгу и Надю домой. Когда он был занят, дамы нанимали другое такси. Однажды в конце недели, когда Парский уже отворил дверь такси, Надя остановилась. «У меня что-то голова разболелась. Вероятно от дыма».

«Вам необходимо пройтись, подышать чистым воздухом», посоветовал Игорь с поспешной убедительностью.

«Вы меня проводите?»

«Странный вопрос», ответил Капитусь. «Спросите пьяницу, не хочет-ли выпить».

«Образное сравнение, но совершенно неуместное», заметил Игорь, беря Надю под-руку.

И вот они, наконец одни, направились вдоль бульвара Батиньоль. «Прежде всего, что это за таинственная вечеринка у нас завтра? Я спрашивала всех — никто не знает, или притворяются, что не знают».

«Я притворяться не умею, но и сказать не могу. Секрет».

«Но мне нужно же знать. Если чьи нибудь именины или рожденье, подарок-же нужно».

«Ваше присутствие лучший подарок».

«Ах, какие вы комплиментщики!» Надя сказала, убирая подбородок в меховой воротник. Ветер дул им навстречу, жалобно скрипя подвешенными вывесками магазинов. Фонари освещали только ряды черных оконных стекол и сходились вдали двумя точечными линиями. Только быстрые маленькие тени шмыгали иногда из под стен и в решетки на тротуаре — крысы, изобилующие в Париже и выходящие ночью кормиться отбросами города.

«Ненавижу крыс», сказала Надя с легкой дрожью. «Мыши еще не так. Если их не такая масса, как было у нас в одном госпитале. Мы завели пять кошек, но ничего не помогло. Кошки только разжирели и все время спали.

Но крысы — это отвращение!... Как я сегодня пела с головной болью?»

«Сирена, настоящая сирена. Точь-в-точь как в газетах прописано».

«Серьезно, Горка. Ведь я еще до сих пор не могу привыкнуть. Вот стою перед всем этим народом, и вдруг в панику. А что, думаю, если узнают, что это никакая не прекрасная цыганка, а просто беженка из Берлина? Когда Ольга сказала, что надо попробовать, я и слушать не хотела. Но она и Капитусь так напали, что невозможно заниматься. Говорят, легче петь чем тарелки носить...»

Игорь рассмеялся. «Истина доказанная горьким эмигрантским опытом. Но, между нами, в вас несомненно есть цыганская кровь. То же самое и у меня. Я тоже сначала сомневался, пока не открыл, что кому угодно можно петь цыганские песни. Смешай любовь, вино и верную гитару — и вот вам сногсшибательная песня. Возьми те же составные части, прибавь щепотку разбитого сердца — и слезы польются рекой».

Надя засмеялась в меховой воротник. «Какой ужасный цинизм!»

«Ничего подобного. Просто веселый пессимизм».

«Да неужели?»

«Это я сам додумался в свободное от занятий время. Кроме буржуазии и пролетариата, мужчин и женщин, курящих и некурящих, есть еще класс таких которые, думают, что все к лучшему. Они надеются на это лучшее будущее — кто в царстве небесном, кто в грядущем блаженном царстве земном — по всем вероятностям в республике. А пока что, они не видят ничего кроме греха, беспорядка... Одно безобразие! Это мрачные оптимисты. Они всегда всем недовольны и готовы пожертвовать настоящим для будущего. Как инквизиция поджаривала людей для спасения их душ... А другие наоборот. Они думают про себя — кто его знает, что случится — вероятно уж мир так устроен, что никак нельзя без неприятностей и жульничества. А пока что значит нужно взять от жизни все что можно... Вы к какому вероисповеданию принадлежите?»

Вместо ответа, Надя вскрикнула и прижалась к нему. Игорь оглянулся по сторонам. Улица была пуста.

«Крыса!» сказала Надя. «Большая... Прямо мне под ноги... Ну, уже прошло». Она сделала движение освободиться, но он продолжал держать ее. Ее широко открытые глаза смотрели на него с новым выражением — испуганного ребенка. Дрожащие губы пытались улыбаться. Он нагнулся и поцеловал эти дрожащие, холодные, пол-

ные губы. Потом он отпустил ее. Надя вздохнула, помедлила и пошла вперед. Игорь опять взял ее под руку. Она не отняла руки.

«Не сердитесь», сказал Игорь. «Невозможно было удержаться. У вас был такой беспомощный детский взгляд».

«Это был не совсем отеческий поцелуй».

«Разве? Как-же это я ошибся?»

Они повернули на улицу где жили Парские. У дверей, Надя протянула ему руку. «Спокойной ночи».

Он поцеловал ее руку выше перчатки. «До завтра... Как ваша голова?»

«О, я совершенно позабыла... С разными крысами и...»

«Продолжайте пожалуйста. На которую целебную крысу вы намекаете?»

Как они смотрели друг на друга, уголки ее рта задрожали в сдерживаемом смехе. Внезапно они оба расхохотались. «Ольга права. Вы невозможный человек!... Ну, еще раз, спокойной ночи. Увидимся на вечеринке... Неужели так и не скажете, что за секрет?»

«Никак не могу. Поклялся... Разве вы не любите сюрпризов?»

«Зависит от сюрприза... До завтра».

Когда дверь за ней закрылась, Игорь зажег папиросу, сдвинул шляпу еще больше набекрень и пошел к станции метро.

5.

Парские снимали квартиру на третьем этаже трехэтажного дома с лестницей, которую они называли «подъем на Арарат»'. Квартира состояла из «салона» с большой нишей закрытой занавеской и содержащей двуспальную кровать, крошечной кухонки, еще меньшей уборной, и другой маленькой комнатки где раньше спал Коля, а теперь Надя. По утверждению консьержки — старухи зловещего вида, обитавшей, где-то под лестницей — квартира этих русских была tres chic. Кроме мебели, которая полагалась в домах около бульвара Батиньоль, в салоне еще была кушетка покрытая пестрым ковром и два необычайно солидные стола декорированные еще более пышными турецкими шалями. Несколько шалей были живописно развешены по стенам и одна была брошена на поцарапанное пианино, по преданию оставленному одним из бывших квартирантов — учителем музыки — за неуплату ренты. Непосвященные никак бы не догадались, что два монументальных стола были ящики способ-

ные вместить все имущество Парских. Ковер и шали, купленные по-дешевке в Константинополе, пришлись очень кстати прикрыть дыры в кушетке и более заметные пятна и трещины на обоях.

Приглашение было к шести часам, без опоздания — не по Парижски рано, но по необходимости. Нужно было разойтись не позднее девяти: четырем дамам, дирижеру Васе и Игорю нужно было быть в Щелкунчике, а Капитусю и Петрову в свои такси. К семи часам, вечеринка достигла той блаженной стадии, когда цвета на турецких шалях разгорелись ярче и богаче и действительно оттеснили нищету комнаты и нищету жизни. Вася играл вальс «Невозвратное время». Игорь танцевал с Надей. Ольга была чем-то занята в кухоньке. Китти и Бобо беседовали на кушетке. Петров и Капитусь с бокалами около закусочного стола обсуждали достоинства и недостатки ночной езды по сравнению с дневной. Ольга окликнула их: «Вы, так называемые господа! Прекратите сейчас же эти ремесленные разговоры и пригласите дам. Послушать вас — точно вы родились шоферами».

«К сожалению нет», ответил Петров, помогая Китти подняться с кушетки. «Отец часто угрожал отдать меня в ученье к сапожнику за плохие успехи и поведение в школе. Вот жаль, что не отдал. По крайней мере был-бы с ремеслом в руках».

Китти погладила его по щеке. «Бедный поручик. Вам-бы надо на гитаре научиться играть... Слушайте, как-же это мы до сих пор не встретились? Горка о вас рассказывал. Оказывается вы герой... Почему вы так на меня смотрите?»

«Соблазнительные у вас глаза, Китти. Вы вся такая-же соблазнительная?»

«Вы очень любопытны».

«Очень. Раз мы уже встретились наконец, нам необходимо познакомиться поближе».

«Вы так думаете?»

«Уверен. Разрешите отвезти вас домой после закрытия».

«Но ведь вы можете быть заняты».

«Не буду занят. Хорошо?»

Китти подняла на него свои невинные голубые глаза. «Может быть... если не слишком поздно».

Парский танцевал с Бобо. «Этот вальс напоминает наши приемы в кадетском корпусе. Только там полковой оркестр всякие мазурки и краковяки наяривал. А зала такая, что батальонное учение можно производить».

«Не горюй, Капитусь!» отозвался Игорь. «И на нашей

улице будет праздник — как сказал гусь перед Рождеством».

«Пожалуйста, Игорь, не будем уж слишком веселыми пессимистами», сказала Надя. «Помните эти гимназические балы с гарнизонным оркестром?»

«Конечно. Ящики пива и корзинку с хлебом и колбасой музыкантам, чтобы лучше играли».

Она улыбнулась. «Откуда вы знаете?»

«Как-же не знать. Я распорядителем был».

Она опять улыбнулась и закрыла глаза, отдаваясь ритму вальса. Опять его охватило непреодолимое желание поцеловать полуоткрытые губы...

Когда Вася остановился играть, из кухоньки раздался хлопок откупоренной бутылки шампанского. Ольга вынесла поднос с бокалами заимствованными в Щелкунчике. «Вот наконец и сюрприз. Разбирайте бокалы и поздравьте Горку с днем рождения... Счастливо, Горка». Она поцеловала его. Все столпились около него, чокаясь бокалами. Китти и Бобо тоже поцеловали его с непритворным жаром. «То-то я сегодня стук слышала», сказала Бобо. «Не могла понять — где. А это оказывается Горке пятьдесят стукнуло!»

«Интеллектуальный возраст — пятнадцать лет!» прибавил Вася.

«Тост!» воскликнул Капитусь. «Просим новорожденного предложить тост!»

Игорь помахал рукой, требуя внимания. «По единодушному приглашению... Хотя я не оратор и слезы мешают мне говорить... Дни рождения несомненно приятны в одном отношении. Прекрасные дамы целуют новорожденного... Не все, конечно, но некоторые. Новорожденный же тоже не без дела. Он размышляет, подводит итоги и приходит к заключениям. И вот, после четверти столетия, я готов поделиться своим вкладом в науку. Не боясь возражений, я констатирую, что мир подчиняется теории невероятности...»

«Какие могут быть возражения», перебил Вася. «Посмотри на тебя — вот тебе и невероятность».

«Совершенно верно, Вася. Но не будем забегать вперед — как сказал буржуй, которого товарищи вели к стенке... По теории невероятности скорее всего случается то, что считается совершенно невероятным. Кто бы мог подумать, что наша матушка Россия вдруг тряхнет шароварами, подпояшется пулеметной лентой и раскудахтается на весь мир? А мы, ее любящие дети, сделаемся цыганами, шоферами, официантами и всяким прочим пролетариатом... Вот я праздную день рожденья, а на

самом деле, я уже пять лет как умер. Расстрелян за контрреволюционное выступление! Мой побег был, конечно, нелегальным, как и большинство моих поступков... Некоторые философы утверждают, что жить — это учиться как умереть по-хорошему. Другие приходят к заключению, что нужно умереть чтобы научиться жить. Неправда ли — мертвому что ни случится, все к лучшему!... Ольга часто говорит, что я лодка без руля и парусов и несомненно должен потонуть. Но вообразите себе пробку. Как ни бурно море, пробка и в ус не дует — болтается себе с волны на волну... И вот я предлагаю тост за всех пробок в житейском море!» Он опорожнил свой бокал.

«Ну и тост! Ну и новорожденный!» заметил Вася.

Бобо опять поцеловала его. «Может быть и глуп как пробка, но я тебя люблю».

«Это твой последний, Горка», сказала Ольга. «И я думаю, что нам всем лучше пройтись пешком до ресторана. Проветриться. А то Луи нас всех выгонит».

«Клянусь честью, я не согласен!» объявил Петров. «Будь я трижды проклят... Pardon... Я решительно отказываюсь! С какой стати? Армии поручик и кавалер орденов — гонять такси?... Развозить пьяниц по Парижу?... Капитан, с вашего разрешения я сегодня зашабашу».

«Поручик, я горжусь вами! Если бы не женщины и дети в моем обозе... Вася, играй Преображенский марш!» Под торжественную музыку, оба замаршировали к закусочному столу. Ольга поджала губы.

Игорь подошел к Наде. «Неприлично с вашей стороны не поцеловать новорожденного».

«Не люблю стоять в очередях. И при том, мертвых целуют только на похоронах».

«Правда. Но по сказке, поцелуй прекрасной царевны оживил царевича».

«Да неужели! В моей сказке это случилось как раз наоборот... Я на вас сердита. Все испортили своей идиотской речью! Мне так и казалось, что я опять на одной из наших вечеринок на Малой Бронной, около Патриарших прудов».

«Патриаршие пруды?» воскликнул Игорь. «Малая Бронная?»

«Да, конечно... Что с вами?»

«Патриаршие пруды», Игорь повторил медленно, как будто прислушиваясь к звуку. «Патриашшие пруды... Милая моя Наденька, ведь окно моей комнаты выходило на эти самые Патриаршие пруды. И в этой комнате я провел лучший год моей жизни».

Держась за руки, они смотрели друг на друга.

6.

Солнечный свет лился в комнату когда Игорь проснулся. Его первая мысль была, что он увидит Надю — одну и скоро. Вчера она обещала встретить его в саду Тюильри — где никто их не побеспокоит и они могут поговорить о Москве.

Он спустил ноги с кровати. Его сожитель, баритон Вафля, сидел за столом. Расположены перед ним на столе были: кусок французской булки, бутылка молока, колбаса и огурцы в мокрой газете. Хор снабжал только обедом и ужин, а по утрам каждый промышлял как хотел. Большинство казаков спали поздно и не интересовались завтраком.

Вафля откусил кусок булки, потом колбасы, потом огурца и запил все это молоком. Хрустенье огурца повидимому и разбудило Игоря. Взор Вафли переходил с листка бумаги, который он держал перед собой, на стену и опять на бумагу. «Вузэт жоли», пробормотал Вафля. «Вуузэт!» Игорь знал, что Вафля учил французский язык. Несмотря на некоторую медлительность, казак скоро увидел необходимость образования. Он составил список около пятидесяти слов, которые оказались необходимы по его опыту. Секретарь перевел их на французский, русскими буквами, и Вафля твердил их каждый день. Комната была пропитана запахом фиалкового одеколона. Вместе с некоторыми другими хористами, Вафля соблазнился чужеземной привычкой вытирать им лицо после бритья и вообще прыскаться иногда, для приятного запаха.

Услыша скрип кровати, Вафля оглянулся. «Вузет жоли! Вы знаете, що це значит?»

«Спасибо за комплимент. Это значит, я хорошенький». Вафля оскаблился. «Оце-ж! Значит я уже и по хранцюзьски могу. Вот вернусь до станицы — нарежу. И по итальяньски и по сербски... Вставайте, я хочу вас спросить. Приснилось мне будто я умер и гляжу на себя в гробу. Потом хлопцы пришли и спрашивают, ты уже умер, Вафля? А я и сам не знаю. А воны бачуть, Вставай, пора на концерт... А дальше позабыл... Ну що-ж вы скажете — к чему оно это?»

Захваченный с одной ногой на полу, а с другой наполовину всунутой в брюки, Игорь должен был схватиться за стенку кровати, чтобы не упасть, сдерживая смех. Вафля был закоренелый сновидец. Почти каждую ночь

он видел самые удивительные сны и утром совещался с засаленным сонником, который он купил в русской книжной лавочке в Белграде. Не найдя подходящего объяснения, он ходил из комнаты в комнату и рассказывал сны всем желающим слушать.

«Если гроб приснится — хорошая примета», наконец ответил Игорь, серьезно.

«Це правда. Но як-же насчет меня в гробу? В книжке ничого про это не сказано. Неважная книжка. Объясняет сны, которых я сроду не видывал. А я вижу много хороших, что пропадают без дела. Удивительно — дома я и вовсе не видел снов. А вот как приехали на Лемнос и за границу — то и пошли сниться. Почему-бы это так?... Я себе думаю, что дома мне не надо было снов. Дома я и так знал, что к чему. А за границей надо тоже остерегаться промежду иностранцях, которые так и наровят тебя обжулить. А сны — воны подают знаки, ежели кто понимает... Хочете закусить?»

«Нет, спасибо. Поздно ужинали в ресторане».

Вафля принялся убирать со стола. «Не ндравится мне этот сон!» объявил он внезапно. «Це не к добру, уж я знаю... Это насчет Маэстро!»

«При чем же тут Маэстро?» удивился Игорь. «Между прочим, почему его зовут Маэстро?»

«Итальянцы так его прописали на афишах, ну и мы теперь тоже. Оно деликатнее, чем просто регент. Ось Дуля был регентом в станичной церкви, так он же не маэстро. А Антоныч был помощником регента хора Наместника... Вот я вам и говорю, що треба понимать сны. Во сне я не знал, чи жив я чи ни. Зато теперь знаю. А Антоныч так и не знает. Уж лучше скажу вам, щоб вы знали, как с ним обходиться. Вы его видели какой он теперь. А вот поглядели бы на него раньше. Полный, кровь с молоком, и голос атаманский. Да простудился один раз в Сербии. Выпивши был на вечеринке с братушками. И с тех пор начал кашлять и сделался тоньше и сердитее. Здесь в Париже отвел его секретарь к хрянцюзському дохтору...» Он помедлил. «Ну мы Маэстро ничего не сказали».

«Какая нибудь неприятность?»

Вафля понизил голос. «Не говорите никому, что я сказал. Дохтор сказал, что это его легкие. Что хорошо бы его послать в швейцарскую санитарию». Вафля фыркнул презрительно. «Швейцарскую санитарию! Цей дохтор может и знает насчет дохторства, а уж насчет хоровых дел он дурак дураком. Санитария влетит в копейку, а как же хор будет петь без Маэстро? Дуля считается его

помощником, да рази Дуля може? Цей ишак только и думае, как бы пожрать да бабу зажать. И хиба ж Антоныч оставит хор коли мы собираемся ехать в Америку? Так Иван Иваныч и полковник испытали хлопцив и порешили, чтобы Антоныча не беспокоить и подождать, что буде. В Америке, говорят, еще и лучшие санитарии. Да окромя этого, хрянцюзський дохтор може бреше. Жулик, як уси иностраньцы... Смотрите же, не говорите Антонычу». Вафля положил остатки завтрака в комод, взглянул в зеркало и вышел.

Игорь подумал о странно прекрасных и глубоко грустных глазах Антоныча и о его лице — почти таком-же бесцветном, как у сотника Коваля... Может быть, французский доктор был и не совсем жулик...

Вдруг мысль о Ковале напомнила ему о Надином поручении. Вчера в ресторане Надя спросила не знал ли он в Москве студента-техника по имени Павел Коваль.

«Не помню такого. А вот в хоре есть один сотник Коваль».

«Сотник?» воскликнула Надя. «Мой Коваль был казак. Как его имя?»

Игорь подумал. «Кто его знает. Его имя вообще не произносится. Сотник, да и только. Странный тип. Я его видел только два раза. В первый раз на пробе, когда он бесцеремонно вышел пока я пел».

Надя рассмеялась. «Какое невежество!... Ну, вероятно не тот. Мой Коваль был гуляка и ухажер... вроде тебя».

«Боже сохрани! Если бы я был похож на сотника Коваля, я сейчас-же бы утопился в Сене».

«Лукич, как имя вашего сотника Коваля?» обратилась Надя к Лукину, только что вышедшему из-за занавески.

«Павел. Павел Коваль. А что такое?»

«Так это он!» она вскликнула в сильном возбуждении. «Лукич, я знала его в Москве!»

Лукич покачал головой. «Не он. Вы другого Коваля знали, а не этого».

«Да не может же быть двух сотников Павлов Ковалей!» настаивала Надя. «У него и голос был. Замечательный тенор. И на пианино играл... Но тогда почему-же я его не узнала на концерте? Я смотрела в бинокль — ни одного знакомого лица... Узнай, непременно узнай!»

Игорь обещал узнать, уже сожалея, что он упомянул имя Коваля. Как ни невероятно, он почему то знал почти наверняка, что сотник был Павел Коваль, которого Надя повидимому хорошо знала по Москве. И к этому знанию примешивалось странное и неприятное чув-

ство, что если так, то из этого никому ничего хорошего не выйдет...

И вот теперь опять та же мысль отравила радость ожидания встречи с Надей... Что если он, по глупой случайности, нажал какую-то кнопку и запустил машину неизвестного изделия и назначения — и вот машина уже вышла из контроля и тащит его за собой... Чорт побери теорию невероятности, подумал он, вспомнив свою вчерашнюю речь.

Он взглянул на часы. Нужно будет забежать к Маэстро и отпроситься с репетиции, по важному делу. Но прежде всего — исполнить это неприятное поручение и узнать наверняка.

Он прошел через весь коридор и постучался в последнюю дверь. Услышав короткое «Да», он открыл дверь. Коваль лежал на кровати с папиросой и русской газетой. Он отложил газету и сел в постели.

«Разрешите войти», сказал Игорь,затворяя дверь.

Коваль уставился на него стеклянными глазами. «Вы уже вошли, зачем же спрашивать? Чему обязан за такую честь?»

«Скажите, вы учились в Москве?»

Судорога пробежала по лицу Коваля. Уголки рта опустились, придавая ему еще более сардоническое выражение. «Допустим, учился — что из того? Если вы зашли возобновить светлые воспоминания — не трудитесь. Это мне совершенно не интересно».

«Я так и думал. Мне бы и в голову не пришло беспокоить вас такими пустяками...»

«К чорту с церемониями!», перебил Коваль с поднимающимся раздражением. «Что вам нужно?»

«Ну, хорошо. Скажите, вы знали в Москве курсистку Надю Кирину?»

Выстрел в упор не произвел бы большего эффекта. Сотник вскочил на ноги. «Надя Кирина!» он воскликнул. «Откуда вы знаете Надю Кирину?»

«Она здесь, в Париже. Шлет вам привет и очень хотела бы вас увидеть».

Поразительная перемена произошла в Ковале. Черты его лица смягчились. Горькая линия рта выпрямилась. Даже тот странный не-живой взгляд как будто-бы пропал из глаз. «Надя Кирина... Надя Кирина», повторил он, точно в трансе. Потом он опять уставился на Игоря. «Слушайте, вы не шутите?»

«Я бы не осмелился, Сотник. Надя поет в том же ресторане где и квартет. Вчера мы разговорились о Москве. Перебирали светлые воспоминания, по вашему выраже-

нию, и так случилось, что она упомянула ваше имя. Между прочим, я как раз собирался идти — ее встретить... Если хотите...»

«Замечательно!» Коваль перебил с невероятным оживлением, но вдруг остановился и продолжал торопливо: «Лучше не сейчас. Я не брит... Я зайду в ресторан... Нет, лучше не в ресторан. Вы знаете, где она живет?».

«Снимает комнату у моих знакомых. Вчера у нас там была вечеринка. Жаль, что я не знал...»

Коваль сделал неопределенный жест. «Ну, какие там вечеринки... Вы спросите ее...» Он опять остановился, повидимому не в состоянии продолжать. Он сел, расстегнул воротник, опять застегнул и встал. Судорога подергивала его рот. «Одну минуту», сказал он наконец, подошел к столу, порылся в выдвижном ящике, нашел листок бумаги, и написал несколько слов. Потом он опять порылся в ящике. «Нет конверта. Писать некому».

«Вы можете поолжиться на мою скромность, Сотник».

Коваль сложил записку несколько раз и подал ее Игорю. Их глаза встретились. «Как... как она?» спросил Коваль, с трудом выдавливая слова.

«Очень хорошо. Я не имел удовольствия знать ее в Москве, хотя оказывается, что мы были почти соседи. Невозможно чтобы она была более очаровательна тогда, чем теперь».

Коваль улыбнулся странной улыбкой, которая явилась как будто бы против воли и была ему совершенно не к лицу. «Да... нет, невозможно... Я буду очень благодарен».

«Рад стараться Сотник». Игорь положил записку в карман и вышел.

В коридоре он услышал Вафлин голос и увидел белые клубы дыма выходящие из одной двери. Он подбежал и взглянул в комнату. Клубы исходили из отдушины над дверью чулана. Вафля колотил в дверь.

Дверь отворилась. Лукич, голый и подпоясанный полотенцем, стоял в густом облаке мучной пыли, с папахой в одной руке и с палкой в другой. С густыми бровями и моржовыми усами запорошенными добела, старый казак представлял необычайное и грозное зрелище. Игорь и Вафля расхохотались.

Лукич взглянул на комнату, на открытую отдушину и обругал все вообще. Потом он повернулся к посетителям. «Чего рогочете как ишаки! Почему не поможете казаку убрать комнату? Вафля, бежи пошукай хлопцев, пока Берта и Анна не нагрянут... Да пошевеливайсь!»

В течение следующих минут комната была сценой лихорадочной деятельности, как с полдюжины казаков вытирали полотенцами мебель и стены. Лукич, не обращая внимания на свою наружность, вытряхивал одеяло в окно. Когда комната приняла нормальный вид, все сели и закурили.

«Удивительный сон мне приснился...» начал Вафля, но Лукич не дал ему окончить. «Сколько раз тебе говорить, чтобы не беспокоил казака по-глупостях! Правда, в Священном Писании сказано, что в прежнее время разные цари, пророки и другие-прочие важные персоны действительно видели сны, в которых им давались откровения. Но что-бы тебе дурню думать, что твои сны обозначают с точки зрения... Молчи, Вафля, пока я не сказал тебе чего нехорошего... Поди гоняй гусаков по метро!»

Под смех казаков, Вафля обложил их всех и вышел. Игорь последовал за ним. «Эй, Игорь Петрович», Лукич окликнул его. «Ну что разузнали насчет сотника?»

«Он самый и есть».

«Так вот интересно, с точки зрения. Вы смотрить, отобьет он у вас Надю».

Закрыв за собой дверь, Игорь все еще слышал громкий смех. Он пошел на другой конец коридора, к Маэстро. Антоныч сидел за столом, заваленным нотами. Он спросил, что там был за шум. Узнав в чем дело, он покачал головой. «Ну что ты будешь делать с таким народом! Чистят шапки мукой в Париже, точно в станице на задворках. Вы не можете себе представить, какие номера выкидывали по разным городам. В Италии, не помню, кажется в Милане, отвели нам шикарный отель. Двор с колоннами и всякими статуями и с фонтаном. А в фонтане золотые рыбки плавают. Разложили мешочки около фонтана и ждем комнат. Один дядя вынимает кружку из мешка и черпает прямо из фонтана. А другой пытался рыбку за хвост поймать. Хочу, говорит, побачить чи настоящая золотая, чи тильки так сдается.. Да вот вы сами узнаете, когда выедем из Парижа... А что, сотник оказался тот самый, что из Москвы?... Да вы не удивляйтесь. Тут что ни случись, сейчас же все и знают». Антоныч помолчал и посмотрел в окно. Игорь опять увидел, что он покачал головой. «Ну, Бог даст», продолжал Антоныч, несомненно в ответ на свои собственные мысли. Он взглянул на Игоря с быстрой улыбкой. «А вы-то, конечно, можете идти, если такое важное дело. Мне и кстати. Вот позанимаюсь немного, а после отдохну. Желаю успеха».

7.

Рассердив обычно добродушного Вафлю, Лукич намекал на инцидент окончательно укрепивший Вафлино недоверие ко всему иностранному. Это случилось на второй неделе в Париже, когда Вафля пошел навестить станичника, которого он встретил за сценой после первого концерта. Записка с адресом, по-русски и по-французски, была надежно засунута в шапку, на всякий случай, хотя в действительности адрес был совершенно не нужен. Станичник объяснил подробно, как к нему попасть. Выйдя со станции метро, нужно было повернуть налево, пройти два квартала и повернуть направо. Дом за номером шестьдесят-седьмым. Одно хорошо было за границей: иностранцы писали русскими цифрами! А станцию с чудным французским именем тоже было легко найти: шестая или седьмая от Вафлиной станции. Во всяком случае, ему нужно было выходить как только он увидит вывеску с гусаком клюющим кашку из банки.

В вагоне, Вафля сидел прямо, не обращая внимания на любопытные взгляды пассажиров. Он уже давно привык к иностранцам зевающим на казака. Две женщины рядом с ним возобновили свой разговор. Сквозь грохот поезда, Вафля слушал их быструю трескотню. «Ось, бисовы души бабы. Сыплють як пулемет! Удивительно, как они понимают друг дружку!» Для него это было совершенно непонятно, как и вообще все с тех пор, как он покинул Россию. В Югославии еще можно было кое-как объясняться. В Турции, Италии и теперь во Франции была пустая болтовня. Сначала было как-то чудно — слушать и ничего не понимать — а после понемногу привык и гулял по улицам иностранных городов, как глухой, полагаясь на глаза, а не на слух. Иногда попадались русские, привлеченные видом казацкой черкески. Разговор обычно сводился к трем вопросам: из каких мест в России, давно-ли в городе и чем занимаетесь?...

На четвертой остановке, его соседки сошли. Вафля проводил их глазами, когда неожиданный вид большого гуся заставил его вскочить. Немедленно поезд двинулся и гусь скрылся из вида. Вафлина голова заработала необычайно быстро... Никакого сомнения — это был гусак. Но станция была только четвертая — в этом он тоже был уверен. Клевал-ли гусак кашу, как станичник объяснял?... Первое, что Вафля увидел на следующей станции был тот-же самый гусь, в углу платформы. Вафля подошел к окну чтобы рассмотреть лучше. Действительно, гусак клевал что-то похожее на кашку в банке. Пока Вафля соображал,

что делать, автоматическая дверь вагона закрылась и поезд загремел по туннелю.

Теперь Вафля был серьезно встревожен. Должна быть какая-то ошибка! Либо шестая, либо седьмая остановка, станичник объяснял... Сколько он уже проехал?... Грохот поезда мешал ему собраться с мыслями... На следующей станции, вагон остановился как-раз против гуся и Вафля заметил, что на голове у гусака какой-то чепец подвязанный синими лентами. «Станичник не поминал о чепце», пронеслось у него в голове. «Це може не тот гусак, чи не та станция». Не дождавшись его решения, невидимая рука опять закрыла дверь и поезд тронулся.

Вафля решительно поднялся и остановился у самой двери. Он выйдет на следующей станции, какая-бы она ни была, и обдумает положение на досуге, без этого грохота. Иначе завезет бисова машина куда Макар телят не гонял!

Он без труда нашел гусака — между улыбающейся рыжеволосой красавицей и цирковой афишей с львами и тиграми. Птица, в своем дурацком чепце, скосила на него хитрый глаз. «Пате де фоие грас», [1]) медленно разобрал он надпись большими буквами, под гусаком. «Ось, глупая птица! Где-же бувають гусаки в чепцях!» И вдруг ему все стало ясно. Это-же афиша, как и все остальные! Станичник вероятно обратил на нее внимание и решил, что это хорошая заметка. А оказывается, что это целое стадо гусей, по всему Парижу... Чорт бы побрал дурня станичника! Чорт бы побрал метро, Париж, и все иностранное! А гусак — Щоб ты подавился, бисова душа анафемська!»...

«Зачем-же вы браните птицу?» спросил женский голос позади его. «Ведь она только рекламирует свою собственную печенку».

Оглянувшись, Вафля увидел даму смотревшую на него с тем знакомым выражением, которое он видел на русских лицах при встрече казака. Его раздражение сразу же прошло. Нет ничего приятнее, чем встретить при нужде кого-нибудь с кем можно поговорить. Он вынул адрес из шапки и объяснил положение. Когда дама перестала смеяться, она взглянула на адрес. «Да ведь это-же и есть ваша остановка! И адрес правильный: два квартала налево, а потом направо. Уж там найдете: весь дом полон русских».

---

[1]) Pate de Foie Gras — паштет из гусиной печенки.

8.

Весна, уже больше недели собиравшаяся в Париж, наконец прибыла. Она обогрела солнечным светом громаду стен Лувра. В теплом воздухе, голоса продавщиц фиалок на площади Карусели звенели громче и веселее. Нежный золотисто-зеленый пух одел деревья и кусты в саду Тюильри, а в голубой прозрачной дымке Авеню Елисейских Полей сходилось вдали к Триумфальной Арке.

Со своего места на скамейке в Тюильри, Игорь следил за всеми женщинами идущими со стороны станции метро. Наконец он узнал Надю и почти побежал ей навстречу. Они оба остановились в двух шагах друг от друга. В светло-сером костюме, почти такого-же цвета, как глаза — в шляпке тесно охватывающей ее голову — она стояла перед ним, как олицетворение весны.

«Скажите пожалуйста — вы тот самый господин, которого я должна была встретить?» спросила она серьезно.

«Нет, он не мог прийти и попросил меня занять его место».

«Какая жалость! Тот господин был очень разговорчив, а вы стоите, как пень».

«Но я зато красивее».

Она засмеялась, протягивая ему руку. «Это больше на него похоже. Здравствуй, Горка. Давай где-нибудь сядем».

Этот переход на «ты», хотя и ожидаемый, был удивительно волнующий. Вчера, когда открылось, что они были соседи по Москве, все решили, что они обязательно должны выпить на брудершафт. И они исполнили старинную церемонию. Пили через руку, обругали друг друга — «Ты, Надька, зазнаешься», «А ты, Горка, хулиган» — помирились: «Сирена! Нельзя не любить», «Герой нашего времени!» — и поцеловались долгим поцелуем, под аплодисменты всей компании.

«Ты узнал что-нибудь?» спросила Надя, когда они нашли свободную скамейку. Игорь совершенно забыл о Ковале. Для Коваля не было места в схеме включающей весенний день в Париже, сады Тюильри и Надю. Он молча подал ей сложенный листок. Надя торопливо развернула его. Ее руки дрожали пока она читала записку — вероятно несколько раз потому, что Игорь знал, что Ковалю не было времени написать много.

Надя опустила записку. Лицо ее было озарено той-же счастливой и вместе грустной улыбкой как вчера,

когда они вспоминали Партриаршие Пруды. «Да, это он... Боже, какое совпадение! Паша Коваль в Париже, в казачьем хоре!... После стольких лет...» Она говорила как-будто про-себя, потом повернулась к Игорю. «Обязательно приведи его к нам... Завтра-же».

«Я тоже приглашен?»

«Конечно, что за вопрос».

«Двое компания, а трое толпа».

Надя слегка покраснела. «Не глупи, Горка. Ольга и Капитусь дома. Кроме того, он еще пожалуй заблудится». Она опять задумалась. «Я часто вспоминала о нем. Он написал одно письмо с фронта, а потом — ничего. Я боялась, что убит, или в плену... Но как-же я его не узнала на концерте! Конечно, я никого особенно не искала. И наши места были на галерке... По твоим словам, он изменился. Сильно изменился?»

«Как-же я могу сказать! Повидимому, да. Казаки говорят, что он был ранен и контужен».

Надя закусила губу и отвернулась.

Игорь был рад увидеть, что маленькая старушка с веселым лицом приближалась к ним, распевая: «Violettes, violettes! Des jolies violettes!» Он поманил ее пальцем, чтобы поторопилась. Старушка остановилась у их скамейки.

«Des jolies violettes pour mademoiselle?.. Porte bonheur.»[1])

«Vraiment, Madame. Nous en avons bien besoin.» [2])

---

[1]) Чудные фиалки для дамы. На счастье.

[2]) И правда, Мадам, оно нам очень нужно.

Он купил букетик. Надя поднесла его к лицу, глубоко втянула запах и стала пришпиливать цветы на грудь.

«Знаешь что?» сказал Игорь. «Ты хамелеон! Глаза серые, а как взглянула на фиалки, так сейчас-же сделались синими. А в ресторане, когда поешь, они излучают пурпуровый свет. Я всегда считаю этих арабских гурий на стене — все-ли там. Или может быть одна сошла и играет на гитаре».

Она взглянула на него исподлобья, все еще занятая прикалыванием фиалок. «Пощади, Горка. Ведь я могу уколоться до крови под такие сногсшибательные комплименты. Ты на каком, говоришь, факультете учился?»

«На филологическом».

«Оно и видно. Потрясающе филологический комплимент!»

Она наконец приколола букетик, слегка пришлепнула его и подняла голову. «Спасибо за фиалки, Горка. Ран-

ней весною сбирают фиалки помня, что летом фиалок уж нет... Помнишь этот романс? Странно, почему летом нет фиалок? Я люблю фиалки... Нежные и скромные...»

«И без шипов», добавил Игорь, довольный, что фиалки повидимому помогли.

Надя смотрела вдоль Елисейских Полей. «Как хорош этот зеленый пух на деревьях! Они уже проснулись. У нас был сад и у меня была под окном ветка яблони. Я каждую весну смотрела, как она распускается. Почки такие маленькие и беспомощные, а храбрые. Не боятся мороза. Распускаются себе, надеясь, что все будет хорошо... Я и забыла, что ты исповедуешь пессимистическую ересь!»

«Храбрость неведения», ответил Игорь. «Почки не знают ни пессимизма, ни оптимизма и им нет выбора. Должны распускаться. Если замерзнут, тем хуже для них. А людям дан разум и способность выбирать между веселым пессимизмом и мрачным оптимизмом». Даже пока он говорил, он слышал, что его слова напышены и отчасти глуповаты по сравнению с задушевной простотой Надиных слов.

Надя все еще смотрела вдоль Елисейских Полей. «Ты думаешь, что у нас есть выбор? После всего, что случилось? Может быть мы тоже повинуемся какой-то непреодолимой силе. Какой-же выбор у человека попавшего в водопад? Только и остается надеяться, что как нибудь выкарабкается... Может быть это только мираж — что все со временем устроится — или по крайней мере не к самому худшему. Но без этого миража — куда-же деваться? Одно останется — ложись и умирай... А лучше как эти почки: понежиться под теплым солнцем — а если мороз ударит, съежиться и ждать пока солнце опять выглянет».

«Да ведь это-же мои собственные слова, переложенные на поэзию!» воскликнул Игорь.

Надя повернулась к нему. «Да? Ну, тем лучше... Вероятно я запуталась... Неподходящая погода для философских разговоров. В такой день хорошо-бы в Сокольники поехать».

«Еще много снега в Сокольниках. А вот, помнишь великопостную ярмарку на Красной Площади?»

Она оживилась. «Конечно! Ты тоже был там?»

«Как-же не быть! Помню, целый день живот болел от этого квасу...»

«И жаворонки с изюминками вместо глаз!»

«И халва! И мак!»

«И городецкие и вяземские пряники! И пышки!...»

Как они перебрасывались знакомыми словами, они и

не заметили, что чудо совершалось вокруг них. Лувр, цветочные клумбы Тюильри, великолепная панорама Елисейских полей — все исчезло в весеннем воздухе. Вместо этого стояли хмурые стены Кремля, омываемого с одной стороны Москвой-рекой в половодье, а с другой — бурливой рекой ярмарки, текущей между ним и пряничным фасадом Торговых рядов. Мимо замысловатых колоколен и куполов Василия Блаженного — мимо Лобного Места, откуда читались народу приказы царей московских, и где Великий Петр рубил собственной могучей рукой головы бунтовщиков стрельцов... — Мимо памятника нижегородскому мяснику и его княжескому пособнику, двум спасителям России в одно из ее смутных времен — когда звания и чины и прежние обиды были забыты на время общей и смертельной опасности... Шумная и пестрая толкучка горожан и приезжих из соседних деревень, шлепающих по слякоти... Звуки всевозможных дудок и свистулек. Разноцветные гроздья пузырей, колыхающиеся над толпой. Золотые главы старинных соборов за зубчатой стеной. И Иван Великий в бледной синеве неба северной весны.

Одна пара пробиралась через толпу. Они встретились совсем недавно, но уже хорошо знали друг друга. И у них было много общего: оба были молоды и оба жили недалеко от Патриарших Прудов. И еще одно — блаженное неведение будущего! Тяжелые пушки уже давно гремели на далеких границах. Горькая чаша уже была занесена над страной и чуткое ухо, близко к земле, уже могло различить не только эхо войны, но и еще более грозный гул нарастающего землетрясения. Никто на великопостной ярмарке не поверил бы, что это, может быть, последняя такая ярмарка и что скоро кремлевские стены — все повидавшие на своем веку — увидят еще новое, невиданное зрелище. Никто — конечно не эта пара, рука-в-руку проталкивающиеся вдоль ряда балаганов и палаток. Игорю Волгину, на втором курсе филологического факультета, не было никакой причины снова открывать давно известную теорию невероятности. А Надя Кирина не думала и не гадала в своей комнате на Малой Бронной, что ей суждено быть прекрасной цыганкой Монмартра. Так-то и лучше: в блаженстве неведения и солнце теплее и небо глубже и смех веселее...

Легкое облачко над Эйфелевой Башней заслонило теплоту низкого солнца. Надя вздрогнула и взглянула на часы. «Святители! Уже пятый час! Ольга подумает, что я заблудилась».

Игорь протер глаза. «Я едва вижу сквозь дым отечества».

«Горка, это даже страшно — эта власть прошлого! Все так живо... Так-же реально, как вот все, что вокруг нас. Часто даже более реально... Однажды в Берлине я достала книжку Чеховских пьес. Я прочла их в один присест. И когда я закрыла книжку, у меня было странное чувство — как будто-бы все вокруг меня было не настоящее, а настоящее было то, что я читала. Мне даже как-то жутко стало, пока я не заставила себя вернуться в Берлин... Игорь, это-же сумасшествие!»

«Если это сумасшествие, то всех нас русских за границей надо посадить в желтый дом... Мы со временем вернемся в нормальное состояние».

Надя ничего не ответила и начала надевать перчатки. Потом она продолжала задумчиво: «Помнишь Синюю Птицу в Художественном театре. Мы, как Тильтиль и Митиль, пошли в страну прошлого искать синюю птицу счастья».

«Может быть мы нашли? Ослепительно синяя птица!»

Она все еще продолжала надевать перчатки. «Да?... Но ведь птица полиняла и оказалась вовсе не синяя когда они принесли ее домой».

«Так они-же были еще дети. Они не знали как обращаться с синими птицами. Это очень деликатная порода. Ты, конечно не думаешь, что парижский климат не подходящ для синих птиц?»

Надя наконец застегнула последнюю пуговицу. «Кто их знает — синих птиц? Было-бы очень жаль, если-бы бедняжки зачахли и полиняли».

9.

Парских не было дома когда Надя вернулась. В своей комнате, она остановилась перед зеркалом. Медленно снимая перчатки, она смотрела, как девушка в зеркале повторяла каждое ее движение. «Надежда», обратилась она к девушке, «я боюсь ты попала в переплет».

Она отшпилила букетик незабудок и поднесла его к лицу. Девушка в зеркале сделала то же самое. Что-то в ее взгляде заставило Надю отвернуться. Она пошла в кухоньку, налила воды в стаканчик для фиалок и поставила его рядом с зеркалом. Потом переоделась в домашнее платье и остановилась посреди комнаты, решая поставить ли сейчас кипятить воду для чая, или подождать

пока Парские вернутся. Нужно было еще выгладить цыганскую кофту для ресторана, но сейчас за это не хотелось приниматься. Вообще не хотелось ничего делать. Она была отчасти рада побыть одной — подумать о случившемся. Хотя трудно было решить — с чего-же, именно начать...

Она достала записку Коваля и опять прочла ее, хотя уже знала ее наизусть. «Если вы помните Павла Коваля из Москвы, он вас очень хотел-бы увидеть». Это совершенно было не похоже на Пашу. Даже почерк как будто-бы другой... И это обращение на «вы» между тем, как они давно уже были на «ты», по студенческому обычаю!.. Игорь Волгин был странно несообщителен о перемене в Павле Ковале... И казаки только переглянулись когда она сказала, что вероятно знала их сотника Коваля по Москве...

Внезапная смутная тревога охватила ее...

Она взяла Мамину Шкатулку с туалетного столика и села на кровать. Вытерла пыль с невероятно лютого китайского дракона на крышке и нажала кнопку. Крышка открылась. Надя осторожно вынула полинялую синюю ленту, сложенную и завернутую в восковую бумагу, несколько стеклянных баночек с полузасохшими мазями и начала перебирать знакомую коллекцию всякой всячины, скопившейся год за годом. Золотая царская десятирублевка... билет берлинского унтергрунда... военный пфенниг с дырочкой... Она отложила в сторону пуговицу как-раз подходящую пришить к Ольгиной кофточке вместо оборвавшейся вчера в ресторане и совершенно пропавшей, несмотря на все поиски... Старые письма с марками всех европейских и многих заморских стран... Какие-то квитанции... Хлебная карточка... И масса пуговиц подходящих к всевозможным цыганским, украинским, великорусским и простым домашним кофточкам и жакетам. Наконец она нашла, что искала: корешок билета в Большой Театр. Она осмотрела его, положила обратно, и закурила папиросу.

Мамина Шкатулка, прозванная Драконихой непочтительными шутниками Малой Бронной, составляла единственную ощутимую связь с прошлым. Дракониха и гитара! Ее отец прислал шкатулку маме из Маньчжурии, в Японскую войну. Надя смутно помнила его — больше по фотографии и по маминым рассказам. Подполковник Кирин был убит под Мукденом. Но воспоминания о богато расписанной и лакированной шкатулке шли дальше чем остальные воспоминания далекого детства. Во первых потому, что дракон был такой зубастый и страшный.

Она помнила, как она боялась дотронуться до него — чтобы не откусил палец. Во вторых, шкатулка была с секретом! В ней была потайная полочка, выдвигавшаяся если повернуть шкатулку известным образом несколько раз. Только мама и Надя, а потом тетя Лиза, знали секрет. Теперь в шкатулке что-то испортилось и полочка уже выдвигалась без всякого секрета. Но она пришлась очень кстати когда Надю и тетю Лизу обыскивали при переходе через новые законные и незаконные границы. Слой золотых монет в вате, и что осталось от драгоценностей, были спрятаны там. Более мелкие вещи были совершенно незаметны в баночках с мазью.

Надя помнила, что шкатулка всегда стояла под большим венецианским зеркалом в маминой комнате. Когда маленькая Надя шалила, мама подводила ее к зеркалу и говорила, «Видишь эту нехорошую девочку? Не стыдно-ли тебе за нее?» Надя смотрела как глаза девочки в зеркале наполнялись слезами, пока она сама не разражалась плачем.

Со временем шкатулка досталась Наде. Мама умерла, когда Наде было шестнадцать лет. Тетя Лиза, старшая сестра мамы, вдовствующая баронесса фон-Остранд, взяла Надю жить с собой в Ригу. Надя помнила дядю Фрица, большого роста, похожего на Бисмарка, с громоподобным голосом и смехом. Мама говорила, что он вольнодумец, свсем не такой, как все бароны. Он встретил тетю Лизу на институтском балу, сразу-же влюбился и женился на ней против воли семьи. Тетя Лиза тоже была вольнодумная. Ходила иногда и в лютеранскую кирку, как полагается баронессе фон-Остранд, и в православную церковь — по старой памяти. Она скоро очаровала все баронское семейство и была принята как своя. Тетя Лиза была уже старушка, когда Надя жила с ней. Выезжала в открытом экипаже в хорошую погоду, но обыкновенно сидела в большом кресле у окна. Иногда жаловалась на недомоганье и часто принимала какой то очень душистый ликер из пузатой бутылки с иностранной этикеткой. Это всегда помогало, и Тетя Лиза кивала в своем кресле с тихой улыбкой, пока не засыпала.

«Смотрю я на тебя, Надя, и радуюсь», говорила она. «Вижу, что хоть и красавицей будешь, а с головой. Говорят, красавицам ума не надо. Но это неправда. Ум никому не повредит. Так вот и живи на здоровье. Учись, играй, наслаждайся жизнью. Но не забывай романс ты так хорошо поешь:

«Дитя, не тянися весною за розой.
Розу и летом сорвешь.

Ранней весною сбирают фиалки
Помня, что летом фиалок уж нет.»

«Не торопись, девушка. Все в свое время. Вот тут-то ум и нужен — решить, что взять сегодня, а‹что отложить до завтра... Но заметь еще, что человек предполагает, а Бог располагает. Бывает, что человек и с умом и все распланирует, а нет ему удачи. Значит не судьба. Я к тому говорю, что кроме ума надо счастье... Вот мне повезло в жизни. Не могу жаловаться. Надеюсь, что и тебе повезет. И ты надейся — и для себя и для других». Тут тетя Лиза улыбнулась. «Тебе это должно быть легко: ты и сама Надежда».

В следующие годы, знакомая девушка смотрела на нее из мнгоих зеркал разных размеров, рисунков и степеней кривизны. Кроме огромных зеркал тети Лизы, ни одно из них не могло сравниться с маминым венецианским зеркалом. Сначала немного потускневшее и поцарапаное —на Малой Бронной. Потом маленькое, в простой белой раме, из снабжаемых военными госпиталями. Девушка в зеркале была в белом, с красным крестом на груди. Затем длинный ряд зеркал — многие из них просто обломки — по дороге отступления, эвакуации и эмиграции. Дорога наконец приведшая Надю и тетю Лизу в Берлин...

Одна в своей комнате около Бульвара Батиньоль, Надя опять взяла корешок билета Большого театра. Ей не следовало-бы открывать Мамину Шкатулку. С годами Шкатулка приобрела магические свойства: раз открыв, ее невозможно было закрыть. Знакомые голоса звучали оттуда. Родные лица вставали — улыбались — плакали. Сцены — радостные — печальные — ужасные. Они все выступали из прошлого и опять уходили... Но на этот раз ушли не все... Этот билет — она нашла его давно под подкладкой старого кошелечка. Вероятно на одну из опер Паша Коваль приглашал ее. И вот Паша Коваль очутился в Париже!...

В московский период Надя в первый раз заметила самодовольную улыбку на лице девушки в зеркале: она была звездой своего кружка. И это в Москве — среди студентов со всех концов России, юнкеров военных училищ! Это тогда она познакомилась со студентом техником из Кубанских казаков. Он налетел на нее как вихрь и чуть не сбил с ног. Остроумный до дерзости, красивый, хороший танцор, очень недурной пианист с приятным лирическим тенором — он клялся, что застрелится, если она за него немедленно не выйдет замуж. Но оправив-

шись от первой неожиданности, она только смеялась и говорила, что теперь когда война, стреляться не в моде. После третьего предложения, он больше не являлся. Через месяц она получила от него письмо из южной военной школы, затем два с фронта. И с тех пор — ничего.

Почему она ему отказала? Оглядываясь назад, Надя знала: слишком много было других, тоже угрожавших застрелиться. И многие уходили на войну под предлогом разбитого сердца, но главным образом потому, что все-равно скоро призовут, а пока-что можно выбрать свой собственный вид службы и не угодить во «вшивую» пехоту.

Но может быть уход Паши Коваля произвел на нее больше впечатления, чем она сознавалась в то время. Может быть подействовал призыв помочь родине и ее страждущим защитникам. Во всяком случае, после учебного года, Надя тоже уехала на фронт. Она вероятно не отказала бы ему, если-бы они встретились опять в этом новом мире где старые и хорошо знакомые слова вдруг приобрели новый — и может быть более справедливый смысл. Жизнь оказалась не своя а хозяйская — принадлежащая или Богу или царю или отечеству и только выданную человеку для пользования по усмотрению хозяина. Как долг по векселю без указания срока платежа так, что заимодавец может явиться в любое время и потребовать долг. Или просто прийти и взять его без всякого предупреждения...

Добро и зло были сведены к общему наименьшему знаменателю. Сухие или грязные окопы и землянки. Спокойный участок или опасный. Достали кашевары мяса, или опять будут выдавать таранку в которой больше костей и соли, чем рыбы. Легкая рана — как раз достаточная чтобы отправили домой или такая, что изувечит на всю жизнь...

Цветущее покрывало и венец были сдернуты с любви — и любовь явилась как она есть — нагая и бесстыдная — один быстрый порыв страсти...

Сама смерть потеряла свой грозный облик, сделавшись ежедневным гостем и лишенная своих торжественных и устрашающих обрядов. Надмогильные слова — «Во блаженном успении, вечный покой подаждь Господи успшим рабам твоим православным воинам, на поле брани живот свой положившим за веру, царя и отечество, и сотвори им вечную память» — потеряли в беспрестанном повторении свой трогательный смысл и звучали как граммофонная пластинка с иголкой застрявшей на одной нарезке...

В такое время было-бы глупо рассуждать, как советовала тетя Лиза, что взять сегодня и что отложить до завтра. Все что можно брать от жизни нужно было взять сегодня потому, что завтра могло совсем не прийти... Так говорил между прочим Сережа Орлов, которого она слегка знала по Риге и которого она опять встретила штабс-капитаном. Старое знакомство помогло. Священник Сережиного полка повенчал их и полковой оркестр играл на свадьбе в школьном доме взятом под офицерское собрание. Через два месяца Сережина дивизия была переведена на другой участок и он был убит. Только любительская фотография осталась от Сережи. Она убрала ее в секретное отделение Шкатулки когда фотография начала бледнеть от света. Она редко вынимала ее — чтобы не плакать лишний раз. И вот теперь даже память о ее короткой любви побледнела, как Сережина фотография. Все это случилось так странно — пришло и ушло в буре войны, среди окровавленных, изувеченных, страдающих людей. Ее собственное маленькое горе была только капля в море, заливающем страну...

Революция грянула двумя громовыми ударами! Многие взглянули на небо и увидели там — как после библейского потопа — великолепную радугу нового завета. Символ того, что больше не будет насилия — что больше не будет угнетать человек человека — и мир придет всему миру. Но скоро красная полоса радуги расплылась и поглотила все остальные цвета, и вот красная радуга простерлась как багряный венец над страждущей страной. Один цвет у революции — цвет крови. Виновной и невинной. Жертвенной крови. Крови искупления...

Из столицы шли все новые приказы. Сначала, «Война до победного конца!» Потом, «Мир без аннексий и контрибуций, с самоопределением народов». Наконец, «Мир хижинам — война дворцам!» Но мира не было, ни хижинам ни дворцам. Пламя революции, раз выбившись наружу, пожирало все на своем пути, во исполнение нового пророчества:

«Это будет последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской.»

Одни видели новый мир за заревом пожара и возглашали, что твердая сталь закалится в огне революции и благородный металл выплавится от ненужного шлака. Другие кричали караул, прыскали святую и водопроводную воду на пламя или закрывали глаза и проклинали

день и час своего рождения. Некоторые видели исполнение более древнего и более жуткого пророчества: первые четыре из семи печатей были уже взломаны и четыре всадника Апокалипсиса уже были выпущены и носились по стране — последний из них, Смерть на бледном коне, завершающая работу своих предшественников...

Одна среди воспоминаний, Надя убирала свою коллекцию в Мамину Шкатулку. Вчерашние безделушки — сегодняшнее сокровище... Билет Берлинского унтергрунда. Она выбрасывала сотни их в Берлине. Но когда случайно нашла один в своей сумочке в Париже, она и не подумала выбросить его. Этот билет вероятно доставил ее на Поммернштрассе, где она жила — сначала с тетей Лизой, а потом одна. Поммернштрассе была последняя станция для тети Лизы. Она устала от жизни и не боялась уйти на покой. «Надя, моего мира уже больше нет. Ты может быть увидишь этот новый мир, о котором они говорят и поют. А я уж не увижу. Да, признаться, и не особенно интересуюсь. Это какой-то жестокий мир. Мой старый был уютнее. И я особенно не верила в старых богов и уж, конечно, не вижу никакого основания верить в новых... Жалею, что не могу тебе оставить ничего кроме того, что осталось в твоей шкатулке. Но у тебя есть другое богатство: ум и красота. Ведь я тебя хорошо знаю. Мы — одна семья, одна кровь. Ты, твоя мама и я, и наша мама — твоя бабушка — мы все одинаковые: с горячим сердцем, но себе цену знаем... Ну, дай тебе Бог, дитя...»

Без тети Лизы, Надя осталась одна в комнате на Поммернштрассе — с тремя чемоданами, Шкатулкой и гитарой. Гитара была последний подарок от мамы и последнее с чем Надя рассталась-бы. В ее изогнутом коробе под струнами ютилось эхо песен с Малой Бронной. Песен петых Паше Ковалю — Сереже — сестрам и раненым в госпитале — тете Лизе. Эхо прошлого, звучащее каждый раз как она брала гитару — в веселую или грустную минутку. Чаще в грустную.

Горевать было некогда. Нужно было что нибудь предпринимать: только несколько золотых, бриллиантовая брошка, и кольцо остались в Шкатулке. У тети Лизы была протекция и им помогал Красный Крест. А теперь в Красном Кресте сказали, что помогут в крайней необходимости, а пока что посоветовали искать какого-нибудь занятия. Они нашли ей несколько ангажементов сиделкой. Она принялась раскрашивать в русском стиле портсигары из карельской березы — популярное ремесло среди белых эмигрантов Берлина. Затем ее пригласили в украин-

ский хор, собиравшийся в Америку. Хор состоял из русских и Берлинских евреев и нескольких «белых» с особенно хорошими голосами. Разучивали церковные, украинские и еврейские песни — последние в соображении того, что богатым американским евреям будет приятно послушать родные напевы. После трех недель спевок и одного пробного концерта, хор неожиданно развалился. Между тем, дальний кузен, барон Оскар фон Остранд, посоветовал ей вложить все сбережения в американские доллары. И как раз в это время она списалась с Ольгой Парской, с которой она работала некоторое время на фронте. Ольга звала ее в Париж и приглашала остановиться у ней пока не устроится.

В то же самое время, сделалось совершенно ясно, что странные дела творились в Германии. Рисунок «райхсбанкнотов» все упрощался, а хвост нулей на них удлинялся. Даже нищие сделались миллионерами.

Вдобавок намерения кузена Оскара сделались вполне очевидны. Надя уже давно решила, что достаточно было одной баронессы фон Остранд из ее семьи. И Оскар, следуя духу времени, был совсем не такой, как дядя Фритц. «Шибер», знавший все ходы и выходы и цену всему, включая любовь. Надя посоветовалась с девушкой в зеркале и решила принять Ольгино приглашение. Ей всегда хотелось побывать в Париже. Она достала французскую визу, разменяла свои доллары на астрономическую сумму германских марок и обняла Ольгу в одно зимнее утро на Северном вокзале французской столицы.

Все случившееся после было совершенно невероятно. Стоять в пурпурном сиянии прожектора и петь под мамину гитару! Она, Надя Кирина, Прекрасная Цыганка Монмартра! И самое странное — публика повидимому этому верила и смотрела на нее как на какое-то существо из другого мира. Как на одну из этих арабских гурий на стене — по дразнящему комплименту Игоря... Да и внезапное появление самого Игоря!...

Когда зашевелилось в первый раз это знакомое волнующее чувство? Когда они встретились в прошлом на Патриарших Прудах? Или в ту первую ночь, когда он отвесил ей театральный поклон и продекламировал, «Привет вам, прекрасная незнакомка». И она прочла удивление и восхищение в его глазах. Даже и тогда ей казалось, что она уже знает его давно — по рассказам Ольги. Она никогда не забудет первого впечатления от его голоса — глубокого и сильного и в то же время мягкого и теплого. Особенно когда он пел старинную легенду о рас-

каявшемся злодее, положенную на простой и проникновенный церковный напев. На последнем куплете,

«Бросил своих он товарищей,
бросил разбои творить.
Сам Кудеяр в монастырь пошел
Богу и людям служить,»

дрожь пробежала по ее телу при словах «Богу и людям». И даже на лице его было новое вдохновенное выражение, чуждое обычному, слегка насмешливому.

С течением времени, он все больше и больше напоминал ей кого-то. Кого — она не могла припомнить пока они не заговорили о сотнике Ковале. И тогда она знала: Игорь был тот-же Паша Коваль — не по наружности, а по всей повадке — веселый, остроумный до дерзости и так-же привлекателен как и опасен неусмотрительным женщинам... И вот Паша тоже очутился в Париже. Завтра она увидит его...

Надя взяла букетик фиалок, опять поднесла их к лицу и глубоко вдохнула нежный запах. «Des jolies violettes. Porte bonheur... Nous en avons besoin.» Она отделила два цветка и пошла в кухоньку. Порылась в шкафу пока не нашла листок вощеной бумаги в пустой коробке конфект. Вернувшись в свою комнату, она положила цветки на бумагу, сложила ее несколько раз и положила на самое дно Шкатулки, под письмами. «Имей это в виду, Надежда», сказала она девушке в зеркале. «Nous en avons bien besoin.»

Ольга и Капитусь нашли Надю в кресле у окна, с папиросой. «А ,мы тоже решили прогуляться», сказала Ольга. «Замечательная погода. Прошлись до самого парка Монсо... Ну как, узнал Горка что нибудь?»

«Он самый и есть. Я до сих пор не могу прийти в себя. Горка его приведет завтра на чай. Ты ничего не имеешь против?»

«Конечно, нет. Но при чем же тут Горка?... Ну, мы его возьмем на другую прогулку».

«Ни на какую прогулку вы не пойдете. Мне нужна моральная поддержка».

«Ага, грехи молодости!» воскликнул Капитусь. «Между прочим, Горка уже объяснился тебе в любви?»

«Ты думаешь, он собирается?»

«Было-бы странно, если нет», ответила Ольга. «Насколько я знаю, я единственная за кем он не волочился. Да и то потому, что я его слишком хорошо знаю».

«Он меня боится», заметил Капитусь.

Ольга продолжала: «Надеюсь, что Горка втюрится в тебя. Да по настоящему. Ему нужна встряска».

«Но почему-же встряска? Наоборот, одно удовольствие. На его месте, я бы не зевал так долго».

«Осторожно, Капитусь, это весенний воздух на тебя подействовал». Надя пыталась пускать кольца дыма. «Ему, значит, встряска необходима?» спросила она, не обращаясь ни к кому в особенности.

«Бог знает», ответила Ольга. «Как он сам говорит, мертвому что ни случись — все хуже не будет».

10.

На другой день Игорь завязывал галстух перед зеркалом когда Коваль пришел за ним. Он повидимому только что вернулся от парикмахера: подстриженный, чисто выбритый, даже со следами пудры — только оттенявшими землистый цвет лица и стеклянный блеск глаз.

«Вы готовы?» спросил он, не обращая внимания на Вафлю, вскочившего с постели на которой он отдыхал.

«Одну минуту, Сотник. У нас времени много».

«Я знаю. Только для всякого случая... Я вас подожду внизу».

«Ось подчипурился наш сотник», сказал Вафля когда он ушел. «Як на свадьбу. Куды-ж вы идете?»

«Откровенно сказать, это вас не касается, друг Вафля». Игорь старался не вымещать на неповинном казаке невольную досаду поднимающуюся в нем. «Но, так и быть, скажу. Сотнику Ковалю, как и вам, однажды приснился сон. Такой замечательно хороший сон, что ему хочется увидеть его опять. Хорошие сны всем нужны, друг Вафля. Беда в том, что иногда они оказываются кошмарами».

Вафля оскаблился. «Да вы шуткуете. А я знаю куда вы идете. В гости к этой Наде. Хлопцы из ресторана рассказывали. Не могу понять, чего она в нем нашла. Хлопцы говорят, что он наверно был не такой в Москве. А вы как полагаете?»

«А я полагаю, что хлопцам делать нечего — вот они и чешут языки».

В Метро, Игорь и Сотник просидели всю дорогу в молчании. Игорь сознавал всю фальшь своего положения. Совершенно очевидно, ему незачем было ехать. Он знал, что он чувствовал бы на месте Коваля. Но с дру-

гой стороны, Надя уж конечно знала, что она делала. Она настаивала, чтобы он привез Коваля. Она утверждала, что Парские обязательно хотят его видеть. Игорь знал от Ольги, что это ве совсем так. Надина политика была очевидна. И он один знал, из всех участников в предстоящей драме, что Надя, сама этого не подозревая, выбрала лучший выход из непоправимого положения.

Уже на углу улицы, Игорь остановился. «Извините, Сотник, у меня вышли все папиросы. Вы теперь сами найдете. Вот четвертый вход, на третьем этаже, вторая дверь направо. Там карточка прибита. А я забегу в лавочку, здесь через улицу».

Коваль кивнул молча и пошел дальше. Игорь перешел на другую сторону, остановился перед витриной табачной лавки, с коллекцией античных трубок, зашел в лавку, купил папирос, поговорил о погоде со знакомой хозяйкой, и пошел неторопясь к квартире Парских.

Ольга открыла дверь на его звонок. «А мы уж думали, ты заблудился», сказала она непринужденно, в то же время поднимая глаза к потолку с выражением отчаяния: «Выручай, Горка!» продолжала она шопотом, пока он целовал ее руку.

Коваль и Капитусь сидели на кушетке и курили. «Лавочница задержала. Разговорчивая дама... Здорово, Капитусь. Сотник, я вижу, вы не заблудились... Надя дома?»

«Чай готовит», ответила Ольга.

«Пойду доложу, что явился».

Он пошел в кухоньку. Надя стояла прислонившись спиной к стене, с широко открытыми глазами, кусая губы и комкая платок. Она зашептала отрывисто: «Слава Богу, ты пришел... Игорь, это ужасно!... Я пришла сюда отдышаться... Я открываю дверь и стою, как вкопанная... А он улыбается так жалко и говорит. Что-же, Надя, не узнаете старых друзей? Горка, что-же мне теперь делать?»

Игорь перебирал посуду и чайные ложки, для шуму. Он достал из шкафа бутылку коньяку и налил немного в чашку. «Вот выпей и все пройдет... Тебе совершенно ничего не надо делать. Просто будь хозяйкой. Нельзя больше здесь оставаться... Выпей и иди».

Надя выпила в один глоток, сморщилась и потрясла головой. Они услышали Ольгин голос: «Надя говорит, вы хорошо на пианино играете. Может быть сыграли-бы что нибудь пока чай не готов».

«Молодец Ольга!» прошептал Игорь, нарочно уронив вилку.

Умелые руки пробежали по клавишам и вдруг мело-

дия родилась, поднялась и зазвучала страстным призывом. Надя быстро поднесла руки к лицу, сдерживая невольный крик, и стояла закрыв глаза.

Игорь взял ее за плечи. «Надя, что с тобой?»

«Романс... Рубинштейна... Боже мой!»

«Подожди здесь!» Он вышел в салон. На вопросительный взгляд Ольги, он кивнул в сторону кухоньки. Ольга быстро поднялась и пошла туда. Коваль продолжал играть. Игорь сел и закурил. Он только пожал плечами в ответ на вопросительный взгляд Парского.

Коваль играл удивительно хорошо для любителя, несмотря на немного расстроенное пианино. Он повторил Романс и теперь сидел смотря прямо перед собой.

«Здорово играете, Сотник», сказал Капитусь. «Я и не подозревал, что эта старая коробка может издавать такие звуки».

«Я не знал, что вы так хорошо играете», прибавил Игорь, прислушиваясь к тому, что делалось в кухонке.

Коваль закурил. «Да? Я слышал вы на гитаре играете. Удобный инструмент — всегда под рукой».

Ольга и Надя наконец вышли из кухоньки, неся подносы с чаем и закуской. Надя улыбнулась Ковалю, без всякого следа недавнего волнения. «Очень хорошо, Паша. Я рада, что вы практикуетесь».

«Да нет, какая уж там практика. Так иногда в театре после репетиции потренькаю немного».

«Ну как-же вам не стыдно! Ведь вы так хорошо играли».

Он взглянул на нее с выражением которое повидимому должно было изображать добродушную улыбку: «Как будто-бы не совсем хорошо».

Надя опустила глаза. Игорю показалось, что она слегка покраснела.

Ольга подвинула Ковалю тарелку с печеньем. «Вот попробуйте домашнее. Мы с Надей напекли. Да печки здесь не такие как у нас. Половина подгорела. Вы подгорелых-то не ешьте».

«Обожаю подгорелое печенье», Коваль ответил с легкостью, которая ему была совершенно не к лицу. «Даже не помню когда в последний раз пробовал домашнее. Да вероятно из посылок тети Лизы!... Между прочим, как тетя Лиза?»

«Умерла в Берлине... Тетя Лиза почему-то решила, что я в Москве голодала и посылала мне чуть не каждую неделю коробки со всякой всячиной».

«Подумать только, что я жил рядом и пропустил все эти пиры!» вмешался Игорь.

«И тебе не нужно было-бы тащиться пешком на Коровий Брод, как Паше, когда он пропустит последний трамвай».

Один за другим появлялись знакомые места и события, каждое привлекая за собой толпу других — родных и близких в памяти, но уже странно далеких и недоступных, как картины на экране... Землячеcкие вечеринки... маевки... сравнительные достоинства любимых оперных и драматических артистов... змеей извивающаяся бесконечная очередь студентов и курсисток в пятницу утром во дворе Художественного театра... ночные дежурства у Большого театра за дешевыми билетами на следующую неделю... «Меня однажды уговорили пойти», сказала Надя. «Мы встали в очередь как только публика вышла. Составили список по номерам. Потом стало холодно. Кто-то достал где-то дров и разложили костер прямо перед театром. А потом еще холоднее и мы пошли в одну из этих ночных чайных, полную извозчиков с огромными бородами, как святые на иконах, только гораздо толще от ватных поддевок, и красных, как раки, от жары. А утром оказалось масса очередей, и все со списками, под нумерами. Тут начались споры — чья очередь настоящая. Чуть не до драки. Полиция пришла...»

«Держу пари, капитан Петухов!» перебил Игорь. «Он по опыту выработал свою собственную систему. Он являлся обычно за полчаса до открытия кассы, выслушивал все споры, и немедленно отдавал приказ: «Конных городовых!» Городовые, уже наготове, немедленно очищали место. Он становился перед кассой и тыкал пальцем прямо перед собой: Вот здесь начинается очередь! — После некоторой суматохи оказывалась только одна законная очередь».

«Как-раз так и случилось», продолжала Надя. «Продежурив всю ночь, я очутилась за полверсты от кассы. Ни один из нас не достал хороших билетов и помню я проспала весь день».

«Зря беспокоились», сказал Коваль. «Одно слово Нади Кириной — и какой нибудь несчастный студентик душу чорту продаст, а билеты достанет».

«Скажите пожалуйста! Чародейка Малой Бронной!» воскликнул Капитусь. «Между прочим, Сотник, я давно интересовался — как Надя? Покоряла сердца направо и налево?»

Точной статистики не велось», Коваль ответил в том-же духе. «Но я знаю по крайней мере одного...»

«Одну минутку», перебила Надя и быстро вышла в свою комнату. Она сейчас-же вернулась со Шкатулкой.

«Да не может быть!» воскликнул Коваль с искренним удивлением. «Неужели достопочтенная Дракониха?» Он взял Шкатулку и осмотрел ее со всех сторон. Его лицо странно преобразилось, смягчилось в непривычной улыбке. «Она самая. И дракон такой-же голодный и лютый».

Он поставил Шкатулку на стол. «Как-же это она уцелела?»

«Это длинная история. Расскажу как-нибудь в другой раз». Надя открыла Шкатулку, порылась и достала оборванный театральный билет. «Вот у меня как-то сохранился... Не помню, когда и какая опера, и какой бедный студентик. Надеюсь, что ему не нужно было продавать душу».

Коваль взял билет и смотрел на него как зачарованный. Он достал свой бумажник, вынул оттуда другой корешок и положил его рядом с Надиным. Их номера были соседние и оба были оборваны по совершенно одинаковой линии. «Евгений Онегин с Собиновым и Неждановой!... Душу продавать не понадобилось, но помню пришлось пуститься на небольшое мошенничество... Нашел его уже в Крыму, под подкладкой бумажника, да так вот и сохранил. Почти единственное что вывез из России».

Они все молча смотрели на две коричневые полоски, когда-то сложенные вместе и оборванные в один прием. Наконец Капитусь сказал: «Ну, посмотрите пожалуйста. Два соседних билета в Большой — один поехал на юг, через Турцию — другой на север, через Берлин — и оба опять сошлись в Париже».

«А что это за червонцы?» спросил Игорь, доставая один из золотых. «Ах, миленький старорежимный двуглавый орел! Вымерший вид, а жаль — очень был подходящ для казенных пуговиц и монет...»

«Осторожно, Игорь!» воскликнула Надя. «Эта лента... Глупо, конечно, но в Берлине я отпорола ее от старой шляпы и там было масса пыли на внутренней стороне... И я ревела, как дура. Я думала, что это может быть пыль Москвы...» Ее голос задрожал и оборвался. В тишине было слышно как капала вода из крана в кухоньке.

Коваль закрыл Шкатулку и поднялся. «Грех копаться в свежих могилах. Нужно подождать пока они сделаются античными... Ну, я уже засиделся. Спасибо за чай и печенье, Ольга Николаевна... Капитан... Очень приятно снова встретиться, Надя. Надеюсь, не в последний раз».

«Конечно. Конечно нет, Паша. Нам-же о многом надо поговорить... Спасибо, что привел, Игорь».

«Рад стараться... Так я увижу вас всех вечером».

Когда Коваль и Игорь ушли, Надя села на кушетку и устало откинулась назад. Ольга начала убирать со стола. Капитусь остался стоять посреди комнаты. «Да, жалко беднягу», наконец сказал он. «Я думаю, что он догадался... Ну, мне нужно сходить в гараж. Карбюратор кажется пошаливает. Вернусь скоро». Он взял фуражку и вышел.

Надя вдруг заплакала. Ольга села рядом и обняла ее. Надя плакала тихими слезами. Опять было слышно как вода капала в кухоньке.

«Не могу понять, о чем Горка думал», сказала Ольга. «Ведь он должен был-бы предупредить... подготовить».

«Он предупреждал... Теперь я вижу, что он старался... Но разве я могла подозревать? Боже мой, какой ужас! Что война сделала с ним! Ольга, ведь ты не можешь себе представить, какая перемена...

«Это моя вина!» вскрикнула она, закрывая лицо руками. «Я... я виновата!»

«Бог с тобой, Наденька! Что ты говоришь? Как-же это твоя вина?»

«Моя, моя!... Если-бы я не была такая бездушная дура!... Поговорила-бы с ним вместо того чтобы смеяться... Может быть он не ушел бы тогда на войну... не был-бы так изувечен. Но я-же не знала, что у него так серьезно!... И этот Романс Рубинштейна... Ведь он играл его мне в тот вечер когда он сделал последнее предложение... Ольга, что-же мне теперь делать?»

11.

Вечер в Щелкунчике начался и проходил по заведенному порядку. Ресторан был больше половины полон. Заблудшие американцы нагрянули и доставляли сверхпрограммное развлечение остальным гостям. Казаки спели три песни и ушли за занавеску играть в трынку. Игорь и Надя сидели за задним столом. Надя пришла в ресторан расстроенная, говорила мало и бледно улыбалась. Никто не упоминал о Ковале. Игорь заранее предупредил казаков чтобы не расспрашивали Надю. Он не сказал ей, что он и Коваль промолчали всю дорогу в метро.

Шумный разговор за американским столом иногда долетал до них. Две компании за соседними столами наблюдали с интересом и исподтишка улыбались. Американцы не обращали ни на кого никакого внимания. «...Слушайте, народ, скажите откровенно, что вы думаете о Джимми как о проводнике заблудших?» спрашивала Бэтти.

«Он слепой вожак слепых!» объявил толстяк Чарли.

«Мы особенно интересуемся, как-же этого ресторана нет в твоей книжке?» продолжала Бэтти. «Там записаны всякие притоны, куда приличному человеку вообще не полагается ходить, а Щелкунчика нет. Ведь это просто счастливый случай, что мы его нашли. Подумать — что мы чуть не прозевали... Особенно Ронни».

Ронни улыбнулся и бросил быстрый взгляд в сторону Нади.

«Так ведь этот ресторан открылся после составления списка», оправдывался Джимми. «А мой путеводитель официальный. Составлен по рапортам всего полка и дружественных частей Американской Экспедиционной Армии. А эти дяди уж едва ли что пропустят».

«Возражение отставлено!» объявил Чарли. «Твой путеводитель так-же бесполезен, как карта Техаса в Нью Иорке. Я предлагаю омыть грехи Джимми в шампанском. Постойте я сделаю перекличку». Он поднялся с некоторым трудом и принялся считать: «...Три, четыре, пять... Кого нет? Я ясно помню, нас было шесть на последней перекличке».

«Ты себя пропустил, Чарли!»

«Да? Большое спасибо, Джин. Итак нас шестеро. По бутылке на мужчину, женщину и новобрачную пару, это как раз шесть бутылок».

«Принято единогласно!» заявила Бэтти. «Но в виду того, что мы уже порядочно очистились от всех прошлых и будущих грехов, мы пошлем три бутылки казакам, с нашими комплиментами».

«...Хороший народ, американцы», сказал Игорь Наде. «Веселятся себе как дети и в ус не дуют».

«Почему-же им не веселиться?» ответила Надя. «Война их только поцарапала. О революции они знают только по газетам да глядя на нас — эмигрантов. Им и горя мало».

«Но позволь, они же не виноваты в том, что с нами случилось».

«Я их не обвиняю. Даже рада, что хоть кто нибудь да веселится. Я только хочу сказать, что они не знают. Вот они жалуются, что заблудились в Париже и никак не могут выбраться домой. А вот что-бы они запели если-бы вдруг оказалось, что дома никого нет и идти вообще некуда? Они ведь об этом понятия не имеют».

Китти прошла мимо, неся поднос с тремя бутылками и бокалами для казаков. «...Рюмку, от силы две?» окликнул ее Игорь. «... и еще полбутылки!» ответила она, скрываясь за занавеской.

«Что это значит?» спросила Надя.

«Разве ты не слышала этот анекдот? Замечательный анекдот! Очень кстати... Вот был в одном уездном городе какой-то храмовой праздник. И прием у местного богатого купца. Духовенство, начальство всякое, благочинный приехал. Вот хозяйка видит, что дьякон стоит у закусочного стола и вилкой в каких-то грибках ковыряет. Она и спрашивает: А что-же вы, отец дьякон, не выпиваете? Чем вас попотчевать? Дьякон покосился на благочинного, который тут стоял недалеко, и возглашает так чтобы благочинному было слышно: «А я, извините, пью только легкие Кавказские вина». Хозяйка была не дура. «А какие-же вы например предпочитаете из легких Кавказских вин?» Благочинный между тем отошел. Дьякон и отвечает как можно тише: «А из легких вин предпочитаю коньяк!» «Ну и сколько-же вы можете выпить такого легкого Кавказского вина?» «Рюмку, от силы две. Но ежели в хорошей компании — а иногда и без оной — да чтобы матушка не узнала — да особливо чтобы по начальству доноса не было — то до бесконечности и еще полбутылки!»

Надя слабо улыбнулась. «Я боялась дьяконов. У них голоса такие страшные. Еще девочкой, я пела у Успенья на нашей улице. Дьякон там был отец Поликарп. И не особенно большой человек, а как возгласит многолетие, стекла в церкви дребезжат. Купцы нарочно приходили слушать как он Евангелие читает... Горка, неужели все это было?... Отец Поликарп и купцы... и вдруг Монмартр... Щелкунчик... Американцы...»

Китти вышла из-за занавески. Поволока ее голубых глаз сделалась еще более привлекательной. «Казаки говорят, кто хочешь шампанского — заходи», сказала она, мимоходом.

«Хочешь бокал шампанского?» спросил Игорь. Надя покачала головой.

«Чем дольше живу с казаками, тем больше удивляюсь», продолжал он. «Ты не можешь себе представить, какие номера выкидывают. Терентий — официальный хоровой историк. Ему полагается вести журнал и записывать все события, на память потомству. Но я боюсь, что он опускает наиболее пикантные детали. Удивительно, что они так хорошо поют! Большинство от сохи, как Кирюша. Больше половины даже ноты не разбирают. А поют! Просто чудо. Как греческий храм из булыжников».

Надя задумчиво кивнула. «Да, многие вытирали слезы на их концерте... И я тоже. Они вернули Россию... и все. Ты заметил, что они поют всего лучше простые народные песни? Это потому, что они оторваны от своей зем-

ли. И поют о ней... А булыжники не чувствуют — им и не о чем...»

«Пойдем подсядем к друзьям, американцам», сказал Игорь. «Ронни совершенно завял без тебя. Хорошо, что хоровой портной почти закончил мою черкеску. Вот подожди увидишь казака Волгина — Ронни уж никак не соперничать».

Надя улыбнулась той-же бледной улыбкой. «Не дури, Горка... Нет, не хочу никуда... Может быть после...»

Вдруг она схватила его руку. Ее глаза раскрылись широко в удивлении и испуге. Оглянувшись, Игорь увидел сотника Коваля в дверях. Коваль был в полной форме и белоснежной папахе. Он направился к одному из пустых столиков, Monsieur Louis пошел ему навстречу, с явным недоумением на лице.

«Игорь!» прошептала Надя, крепче сжимая его руку. Он быстро поднялся и перегнал Monsieur к сотникову столу. Коваль уже сел, положил папаху на стул и повесил палку на спинку стула. «Добрый вечер, Сотник. Признаться, не ожидали вас».

Коваль осмотрел неторопясь его синий жупан. «Какого полка форма? Вы что-же и здесь распорядителем?»

Игорь заметил с облегчением, что сотник был повидимому трезв. Он изобразил приятную улыбку, видя, что гости наблюдали за сценой с интересом. «Зачем вам здесь сидеть? Подсаживайтесь к нам. Между нами, здесь обдираловка. Специально для иностранцев».

Лицо Коваля подернулось судорогой. «Я здесь как гость и где хочу там и сижу. А насчет цен не беспокойтесь. Это уж мое дело».

«Ну, как хотите». Игорь улыбнулся еще приятнее и отошел с легким поклоном. «Il est comme il faut» [1]) он бросил, проходя мимо Monsieur Louis.

Сотник закурил и оглянулся по сторонам — на бородатых мужиков, китайцев, гурий. Его глаза остановились на Наде. Он улыбнулся и поклонился. Надя, как загипнотизированная, ответила легким кивком. Игорь и Ольга подошли вместе к ее столу.

«Я пытался привести его сюда, но он заявил, что он гость и будет сидеть где хочет».

«Только этого и не хватало», сказала Ольга. «Что он, с ума сошел? Может быть пьян?»

«Не похоже чтобы пьян».

«Ну я рада, что не мой стол».

---

[1]) Он в порядке.

Бобо прошла мимо по дороге в кухню. «Он потребовал только бутылку шампанского и два бокала... Твой Московский, Надя?»

Надя закусила губу, Monsieur Louis подошел к столу. «C'est a vous, Mademoiselle Nadya[1]) Я сейчас вас объявлю».

«Одну минуту, Monsieur Louis», быстро вмешался Игорь, видя, что Надя побледнела. «Mademoiselle попросила меня принести стакан воды».

«Ca va.»[2]) Monsieur Louis улыбнулся и отошел.

«Что случилось, Надя?»

Она дергала бахрому шали. «Горка, я не могу!.. Не могу петь!... Господи, зачем он пришел?»

«Нужно же петь, Надя».

«Не могу... хоть зареж...»

«Ольга, принеси пожалуйста воды... Лучше попроси бокал шампанского у казаков... Надя слушай. У меня идея. Мы споем вместе!... Две Гитары!... Я знаю, как ты ее поешь и мы нарежем!... Слушай — мы играем вступление, я начинаю а ты вступишь когда сможешь — первым или вторым голосом... Потом ты начинай, а я вступаю... Сенсацию произведем!»

Надя слушала как будто в трансе. «Ты думаешь...?»

«Конечно! Вот выпей для голоса». Он подал ей бокал шампанского, который принесла Ольга. «Ольга, мы споем Две Гитары вместе? Как ты думаешь?»

Ольгино лицо прояснилось. «Молодец, Горка! Конечно споете. Иди доставай гитары».

После того, как Monsieur Louis объявил о своем удовольствии представить La Belle Nadya, Надя и Игорь ступили вместе с луч прожектора. Игорь подмигнул американцам, смотревшим на него с некоторым удивлением. «La Belle Tzigaine хочет спеть известную цыганскую песню Две Гитары. Но в виду того, что у нее только две руки, она поручила вторую гитару мне!» Он повернулся к Наде. «Готова?... Давай!»

Гитары ударили и пошли вместе в капризном пичикато. Игорь начал:

«Две гитары, зазвенев...

«...Жалобно заныли», Надя вступила в такт, вторым голосом — слегка дрожащим, но верным. Игорь кивнул ободрительно — и их голоса в тесной гармонии сплелись с перебором гитар:

«...Этот памятный напев —
— Милый, это ты-ли?

[1]) Ваша очередь, М-ле Надя.

[2]) Хорошо!

Эх раз, еще раз,
Еще много, много раз.
. . . .»

В конце припева, Игорь взглянул на Надю и прочел «нет» в едва заметной дрожи ресниц. Он продолжал,

«Это ты. Я узнаю...»

«Ход твой в ре-миноре...» Надя вступила с чувством, обозначая fermato, по которому он догадался, что она овладела собой:

«...И мелодию твою
В частом переборе.
.. . .»

Опять их глаза встретились. Надя улыбнулась, повела гитарой и начала смело:

«У верблюда есть семья...»

«...И у кошки дети», Игорь вступил с юмористическим пафосом.

«...А у нас, душа моя,
Никого на свете...»

Один за другим куплеты следовали — легкомысленные до глупости, но красноречивые в интонации голоса, игре глаз и вариациях гитар. В конусе пурпурного света, Игорь и Надя стояли одни, забыв все остальное. Ей одной он пел и она отвечала ему теми-же словами. Гром аплодисментов был их наградой. Надя взяла его руку и они сделали общий поклон. Он слегка пожал ее руку и почувствовал ее ответное пожатие. «Mesdames et Messieurs», он объявил опять. «Две гитары благодарят вас за такой прием. Et maintenant, a la belle Nadya».[1])

Надя исполнила свой номер без всякого следа недавней паники. Она пела даже лучше, чем всегда — и с более глубоким чувством. Сидя около нее, для всякого случая, Игорь взглянул на Коваля. Навалившись на стол, Коваль уставился на Надю неподвижным стеклянным взглядом. Только иногда быстрая судорога пробегала по его лицу и оно отражало какой-то странный мучительный восторг. Игорь отвернулся. Он заметил, что он не один интересовался сотником. За Американским столом, Ронни тоже наблюдал за ним, пуская ленивые струйки дыма из папиросы. Вдруг он тоже отвернулся и взглянул на Игоря. Их глаза встретились в долгом взоре — немом, выразительном только в своей пристальности. Потом, как по сигналу, оба посмотрели в сторону.

---

[1]) А теперь — прекрасная Надя.

Надя окончила вторую песню под новый взрыв аплодисментов. Зала осветилась. Оркестр заиграл и танцующие пары столпились на открытой площадке между столами. Игорь взял Надину гитару. «Нарезала!» сказал он. Она нагнулась к нему так близко, что их губы почти встретились. «Мы нарезали!» Она повернулась и пошла, пробираясь между танцующими, к сотникову столу.

Игорь сел у заднего стола и закурил. Бобо прошла мимо с подносом. «Поздравляю с успехом, Горка... Эх раз, еще раз, еще много, много раз».

Когда танец окончился, он увидел, что Бэтти Дэвис посылала ему сигналы из-за американского стола. Он подошел. Чарли подставил ему стул и бокал шампанского. Все поздравляли его хором.

«Почему вы не додумались до этого раньше?»

«Соединяйтесь с Надей и приезжайте в Нью-Иорк».

«Замечательное название для рекламы: Две Гитары. Я так и вижу его в огненных словах на Бродвее».

«Некоторых две гитары мало интересуют», вставил Чарли, подмигивая. «Им и одной довольно. Так-ли, Ронни?»

Ронни только улыбнулся.

«Неужели Наде нужно занимать этого казака?» спросила Люсиль. «Откуда он взялся? Я бы боялась подойти к нему, а не то чтобы сидеть за одним столом».

«Она знала его по Москве, до революции», ответил Игорь, с некоторой резкостью. «Они только что встретились после этих лет. Он был ранен и контужен».

Его слова несколько охладили веселье американцев. Они молча смотрели на сотника. «Gee, that's tough» сказал наконец Джим.

«Poor devil», прибавила Люсиль.

«Почему-бы нам его не пригласить выпить с нами?» предложил Чарли. «Может быть развеселится».

«Едва-ли», ответил Игорь. «Кроме того, он не говорит ни по-французски, ни по-английски».

«Да ему, кажется, не нравится здесь», сказала Джин. «Он уже собирается уходить».

Бобо стояла у сотникова стола. Игорь видел, как сотник положил две кредитки на поднос. Судя по очаровательной улыбке Бобо, чаевые были щедры. Сотник поцеловал Надину руку, подобрал шапку и палку и заковылял к двери. Надя вернулась к своему месту, даже не взглянув на американский стол. Музыканты опять заиграли. «Игорь», сказала Люсиль. «Мне надоело танцевать с местными силами. Вдобавок Чарли никак не может, чтобы не наступить мне на ногу. Почему вы не пригласите

меня?»

Ольга улучила свободную минуту и подошла к Наде. «Что случилось?»

«Ольга, я такая мерзавка! Он хотел опять увидеться завтра. И я бахнула первое, что пришло в голову. Сказала, что завтра мы все собрались посмотреть Лувр и возьмем его, если хочет... Я знаю, что это бессовестно... Сердце кровью обливается на него глядя. Но я просто не могу! Мне нужно привыкнуть... Вы меня не выдадите?»

Ольга подумала. «Капитусь наверное не пойдет. А мне даже хорошо-бы сходить. Стыдно сказать, до сих пор не собрались в Лувр... И Горку, конечно, захватим для разговору... Почему-же он так скоро ушел? Бутылка почти полная».

«Он сказал, что хотел только послушать мое пение и выпить со мной бокал шампанского».

«Понравилось ему твое пение?»

«Говорит, что да. Но говорит, что не так, как в Москве... Ольга, я больше не могу... Скажи Луи, что у меня разболелась голова. А я пойду домой плакать».

12.

Войдя в Лувр с Площади Карусели, четверо посетителей оказались в небольшой приемной с лестницей ведущей вверх. Кроме служителя в синей форме, читавшего газету, приемная содержала маленького сфинкса на пьедестале и большой барельеф на стене, изображавший бородатых ассирийцев с бородатым ассирийским быком. Сотник быстро подошел к столу. «Quatre», сказал он служителю.

«Но позвольте, Сотник, вы-же наш гость», запротестовал Игорь.

«Сегодня вы мои гости», ответил сотник.

«Ну, хорошо. Un catalogue, s'il vous plait... [1])

---

[1]) Каталог, пожалуйста!

«Мы здесь и начнем», продолжал Игорь, перелистывая каталог. «Вот этот щенок сфинкс. Геродот говорит, что он был любимец любимой жены фараона Тут-и-тама. Но фараону наконец надоело водить его на прогулку каждое утро и вечер. Он продал щенка прохожим цыганам и сказал жене, что он упал в Нил и утонул. Фараониха, или фараонша, страшно огорчилась и приказала придворно-

му скульптору сделать статую своего любимца. Вот он и есть».

Ольга и Надя засмеялись с готовностью. Сотник сдержанно улыбнулся. Служитель, привыкший ко всякого рода посетителям, говорящим на непонятных языках, продолжал читать газету.

«Теперь обратите внимание на усталые, безнадежные лица этих ассирийцев. Клинопись объясняет, что они водят этого быка по всем ярмаркам с тех пор как он вдруг сделался похожим на своих хозяев и даже отпустил бороду».

Ольга и Надя опять засмеялись. «Удивительная эрудиция», заметил сотник. «В нашей гимназии такой истории не проходили».

«Слушай, Горка, мы сюда пришли не затем, чтобы слушать твое вранье», сказала Ольга. «Веди нас к Венере Милосской».

«И к Джиоконде», прибавила Надя.

«Следующая остановка — Венера Милосская», объявил Игорь. Они начали медленно подниматься по лестнице, чтобы не опередить сотника, переступавшего со ступеньки на ступеньку. Скоро они опять спустились к главному входу и остановились перед знаменитой статуей. В безгрешной красоте мраморного тела в изящном изгибе на фоне синего бархата, богиня стояла непринужденно, смотря пустыми глазами поверх посетителей.

«Венера Милосская!» сказала наконец Ольга с явным восхищением. «Я помню мы учили в гимназии о ней, как о символе красоты... И вот действительно... Даже и без рук — какая красота! Даже кажется, что ей совсем рук и не надо... Интересно все-же, что она делала с руками?»

«Очень просто», ответил Игорь. «Она очевидно придерживает свою тогу — или что там дамы носили в то время. Или наоборот совсем сбрасывает ее на пол. Может быть купаться собирается!... Я полагаю, что она скорее раздевается, чем одевается. Поза у ней такая раздевальная. Кроме того, я думаю, что и скульптору так было заказано жрецами. Имейте в виду, это ведь Афродита, богиня любви. Ей молились и жертвы приносили. А жрецам и выгодно. Вот придет такой богомолец, жертву принесет, потом еще взглянет на прекрасную богиню и подумает — а какова она если совсем разденется? Подумает-подумает, да лишнюю драхму или лепту на тарелку и положит...»

«Перестань, Горка! Как тебе не стыдно!» воскликнула Надя. «Ведь это-же одна красота... святая... чистая... вечная!»

«Все еще горячитесь вы, Надя, как и раньше в Москве», сказал Коваль, неожиданно. «Красота — конечно. Святая — это как кому. А вот насчет чистоты и вечности еще неизвестно. Даже и без подстрекательства жрецов, скульптор и сам знал, что больше пищи для воображения в полунаготе, чем в наготе... А вечность — какая-же может быть вечность?» Он показал палкой на статую. «Вот у ней руки отбиты. Вероятно ревностные христиане громили языческие капища. А жрецы и закопали ее в землю чтобы спасти от поругания. Так она там и пропала-бы, если-бы случайно не откопали почти две тысячи лет спустя. И сейчас, если стукнуть ее тяжелой кувалдой — разлетится вдребезги. И где-же тогда будет ваша вечная красота?»

«Так значит по-вашему нет настоящей, неразрушимой красоты?» спросила Ольга.

«Нет такой красоты!» ответил он решительно. «Есть только стремление к красоте. И оно вечно пока люди живы. Человек ищет красоту — каждый по своему вкусу. Некоторым дано создавать красоту, — поэтам, художникам. Другие видят ее в самых как будто бы простых вещах. А остальные перебиваются как придется — покупают ее, воруют или просто исподтишка заглядываются на чужую...» Он вдруг заговорил быстрее, отрывистее. «Но только пока человек знает... или надеется, что красота ему доступна — что у него есть доля в ней... Что как нибудь ему посчастливится поднять покрывало богини и увидеть всю ее красоту... Не как женщины, а как богини!... Женщин много, а богиня одна!... Нужна человеку такая надежда. Если потеряет — если узнает, что нет ему доли в красоте — он может возненавидеть ее — за недоступностью...» И себя возненавидеть — за бессилие добиться красоты...»

Он внезапно остановился, как будто опомнившись. «Ну, посмотрели и довольно. Пойдемте Джиоконду искать».

Они пошли по длинным галереям и обширным залам, обвешанным картинами мастеров и останавливались перед более красочными или особенно большими. Игорь больше не пытался острить и только иногда справлялся с каталогом. Ольга и Надя ахали и охали одинаково и перед огромными панелями полными святых, ангелов, античных героев — перед монументальными альковами многочисленных Людовиков Франции — и шпагой Наполеона под стеклянным колпаком. Игорь подозревал, что их громкое удивление скрывало боязнь повторения сцены перед Венерой Милосской. Однако Коваль молчал. Только

однажды, остановившись перед большой картиной, изображающей особенно полнотелую Венеру возлежащую на облаке и окруженную летающими купидонами, он заметил, «Вальяжная дама. Не то что облако — пружинный матрас продавит». Игорь видел, как Надя улыбнулась, повидимому хотела что-то сказать, но очевидно передумала и пошла дальше.

В Большой Галерее, Коваль внезапно остановился. «Что это?» спросил он, показывая на потемневшее от времени скорбное лицо Христа под терновым венком.

Игорь перелистал каталог. «Ecce Homo». Художник — Гвидо Рени. «Ecce Homo — Се человек! Слова Пилата осужденному Иисусу».

Они стояли молча и смотрели на картину. Наконец Надя сказала: «Какое яркое выражение страдания! Напоминает лицо Ивана Грозного на картине Репина в Третьяковской галлерее. Когда он держит умирающего сына... Только там страшное горе и отчаяние. А здесь немая, мученическая скорбь».

Коваль смотрел на картину, опершись обеими руками на палку. «Се человек», сказал он медленно и тихо. «А я думал, что Он Бог».

За его спиной Ольга и Надя переглянулись. Вдруг плечи Коваля затряслись в сдержанном смехе. Он остановился так же внезапно и повернулся к ним. «Вы извините меня... Я не на Него смеялся... больше на себя. Вот интересная история. Я не знал тогда, а копия этой картины висела у нас дома. Я уж не знаю, как она к нам попала. Для меня она была просто икона. Семья у нас была строгая и я с малых лет должен был обязательно молиться утром и вечером. И я помню, что с течением времени я начал беспокоиться о боженьке. Глядя на Его лицо, я боялся, что у Него свои неприятности и Ему не до наших молитв. Я боялся спросить отца, а спросил однажды маму. Она объяснила, что Спаситель страдает за грехи мира, но наши молитвы помогают ему. Мне стало жаль Его. Я стал за Него молиться. Но потом мне пришло в голову, что если сам Бог страдает — кому-же мне молиться за страдающего Бога?»

«Да вы были философ скороспелка, Сотник. Настоящий вундеркинд», заметил Игорь.

«Конечно, мне это тогда не так было ясно, как теперь. Но я беспокоился... Вот поэтому и помню». Он опять повернулся к картине. «Се человек!» продолжал он с внезапным чувством. «Да, это не лицо Бога, а страдающего человека. Сына человеческого, считающего себя сыном Божиим, страдающим за грехи мира. Он слишком много

на себя принял и вот ослабел под тяжестью... Его вера в себя пошатнулась в последней агонии. Видите упрек в его глазах?... Слышите его последние слова: Боже мой, почто мя оставил еси?... Оно и понятно — если существует такая вещь, как грех мира, это страшная тяжесть».

Опять Ольга и Надя переглянулись за его спиной. Надя дотронулась до его плеча: «Пожалуйста, Паша. Я думаю, что вы неправы. Художник вероятно был верующий человек — он едва ли вложил бы в картину что вы там видите. И насколько я помню, последние слова Спасителя были «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Вот видите, Он верил, что Он сын Божий. Ведь это было-бы просто ужасно если-бы Его вера пошатнулась. На кресте-то! Но его поддерживала любовь. Он учил, что нет ничего выше любви... И что у людей есть надежда на спасение по Его невинной жертве. За это одно Он достоин называться сыном Божиим».

Коваль смотрел на нее с улыбкой которая была-бы юмористической на другом лице, но которая придавала ему еще более саркастическое выражение. «Браво, Надя! Вам-бы проповеди составлять».

Надя вспыхнула. «Вы смеетесь надо мной!»

«Боже сохрани. Я завидую вам».

«Лучше пойдемте к Джиоконде», вмешался Игорь. «Она как-раз за этой занавеской. Вон там сторож посматривает на нас подозрительно. Думает собираемся стянуть картину».

Они пошли к зеленому бархатному занавесу подвешенному от одной стены к другой. Ольга взяла Игоря за рукав и отстала на несколько шагов. «Горка, это ужасно», прошептала она. «Если-бы знала, ни за что бы не согласилась. И Надю отговорила-бы. Какой глупый фарс! Я уверена он догадался, что все это подстроено... что мы сговорились».

Игорь молча пожал плечами.

Отгороженная двумя бархатными занавесками, Мона Лиза, скрестив руки на животе, сдержанно и благосклонно улыбалась посетителям.

«Какой восторг!» воскликнула Надя когда они сели на кушетку перед картиной. «Наконец-то настоящая Джиоконда! Я видела ее на всевозможных рекламах — и на одеколоне, и на пудре, и даже на мыле...»

«Там ей и место — на мыле», Игорь перебил ее. «Мелкобуржуазная картина! Никогда не мог понять почему ею так увлекаются. Я лично уверен, что если-бы ее кражу не пропагандировали в газетах по всему миру, ею бы

никто и не интересовался. Да и кражу вероятно подстроили для рекламы... А с точки зрения, как Лукич говорит, что в ней? Я где-то читал, что ее знаменитая улыбка — просто геометрический фокус. Дуга проходящая через внешние углы глаз».

Надя рассмеялась. «Что на тебя вдруг нашло, Горка?»

«Я должен согласиться», неожиданно сказал Коваль. «Я тоже не вижу в ней ничего особенного. Конечно, нам Леонардо Да-Винчи не судить, как художника, но уж если говорить о выразительности, этой Лизе далеко до Ecce Homo. Между прочим, Надя, вот вы сказали, что просто из-за Его невинной жертвы Сын Человеческий достоин быть Сыном Божиим. В таком случае, нельзя-ли и нам предъявить требование на божественность?...

«Да нет, я еще не сошел с ума», продолжал он, видя как Надины глаза широко раскрылись. «Но я много об этом думал, от нечего делать. И вот странно, что вы как раз то же самое сказали... Мы все здесь — вы и я и все наше поколение — мы выплачиваем долг. Может быть не за грехи мира, но во всяком случае за чьи-то грехи! Мы сами-то попали, как кур во щи. Мы никаких преступлений не совершили... Может быть не успели, но это не важно. Важно то, что мы не виновны... А расплачиваться все равно приходится... И имейте в виду — по вашему, Христос все время верил, что Он сын Божий. А мы-то наверняка знаем, что мы просто люди. По вашему, у Него была и вера и надежда и любовь... и поддерживали Его. Ну а если вера пропала.. и надеяться не на что... как же тогда? Возможно-ли вынести такую тяжесть?»

Опять он заговорил быстрее, отрывистее. Его руки судорожно сжимались и разжимались на крючке трости. «Я спрашивал себя, а вот теперь спрошу и вас. Разве наша жертва меньше и хуже чем чья-бы то ни было? Разве мы виноваты?»

Никто не ответил. Потом Ольга сказала: «Но позвольте, Сотник, как-же можно сравнивать нас с Христом? Ведь Он добровольно принял все страсти, а нам просто уж так пришлось».

Коваль посмотрел на нее с кривой улыбкой. «Ах, Ольга Николаевна, не отнимайте от нас последнего утешения. Не забывайте, что большинство из нас пошли добровольно, без принуждения. И готовы были идти до конца... И многие дошли до конца. Так, что наша заявка на божественность может быть уж не так нахальна... Мы тоже верили за что умирали... Надеялись, что наша жертва не напрасна». Он помолчал. «А впрочем вы пожалуй правы — нам требовать не приходится. А если бы и тре-

бовали, кому нас слушать?»

Ольга поднялась. «Ну вы как хотите, а у меня в глазах рябит от всех этих красок. Я подожду вас в саду».

Коваль тоже поднялся. «Может быть мы уже на все нагляделись», сказал он. По молчаливому согласию, они пошли к выходу, уже больше не обращая внимания ни на какие картины.

«Вам не нужно нас провожать», сказала Ольга, когда они вышли. «Еще белый день. И сами дорогу найдем».

«В таком случае я пройдусь пешком для здоровья», объявил Игорь, благодарный Ольге за такой выход из положения.

«Вы ничего не имеете если я провожу вас до метро?» спросил Коваль.

«Конечно, конечно», заторопилась Надя. «До вечера, Горка».

Игорь подождал пока они не завернули за угол, потом пошел к той же скамейке на которой они сидели с Надей. Закурив, он опять смотрел вдоль Авеню Елисейских Полей... Зеленый пух на деревьях погустел за два дня... Удивительно, сколько перемен одно случайное упоминание может произвести в два дня! Не будь, Коваля, он вероятно сидел бы здесь с Надей... Но досада смешивалась с назойливой мыслью, — преследовавшей его и в Лувре и теперь — как комар жужжащий у самого уха: почему горькие слова Коваля были так странно знакомы?

И когда ответ пришел, его очевидность заставила его усмехнуться. Объяснение было, конечно, в этом всеобъемлющем вопросе. Разве мы виноваты? Как в фокусе увеличительного стекла, самые сокровенные чувства тысяч Русских изгоев — включая некоторого Игоря Волгина — сошлись здесь в жгучей точке...

Игорь поднялся и пошел в направлении гостиницы, выбрав длинную дорогу.

Войдя в переднюю, он услышал раскат хохота со второго этажа, где помещались казаки. Он повернулся, вышел, и пошел обратно к набережной.

13.

Казаки смеялись не без причины. В этот самый день, Дуля уговорил секретаря пойти с ним в город и купил себе штатский костюм цвета кофейной гущи в светлую полоску, желтые полуботинки, рубашку и малиновый галстук с синими крапинками. На шляпу у него не хватило денег и он решил, что ее не надо по случаю насту-

пающей теплой погоды. Из всего хора, штатские костюмы были только у секретаря и Волгина. Теперь половина хора сгрудились в Дулиной комнате посреди которой стоял он сам в новом костюме, с красным лицом от тугого воротника, без галстуха, испытывая участь всех пионеров.

«А где-же галстух, Дуля?»

«Да не могу завязать бисова галстуха. Секретарь показывал, а я позабыл. Вот придет Волгин — покажет».

«Тесноват немного», сказал Кирюша, оглядывая Дулю с видом знатока.

«Це его пузо впереди выпирае. Оттого и кажется, что везде тесно».

«А ну нагнись, Дуля. Держу пари, по швам лопне».

Дуля нагнулся. Костюм не лопнул.

«А ну пройдись, Дуля», приказал Лукич. «Пройдись — погляжу на дурного казака одетого под обезьяну».

Казаки загоготали, а Дулино лицо сделалось еще краснее. Лукич продолжал важно: «Жалостно мне смотреть на тебя, с точки зрения. Пропадешь, при конце концов пропадешь. Изведешь все деньги на длинные штаны, галстухи и все такое прочее. Имей в виду, что модные люди носят специальные костюмы и для утра и для вечера и для разных оказий. И может для такой оказии куда сам царь пешком ходил...

«Вот подивись на себя», продолжал он, видя как Дуля украдкой взглянул в зеркало. «Был ты казак, а теперь ты что? Одно недоразумение. Простой факт, с точки зрения. На улицу выйдешь — лошади на тебя засмеются».

«Чего-же им на меня смеяться? Такой же как и все. Это вот в черкеске как выйдешь, то все и лупят глаза — що воно за чучело. Черкеска, она была форма на станице и в полку. А здесь ее носить только на сцене да отворять двери по кабакам».

«Счастье ихнее, что мне не случилось пройти мимо, выпивши. Я-бы вытряхнул их из казачьей формы, которую они например позорят», ответил Лукич, строго.

«Раскудахтался ты со своей формой», сказал Сашка, один из хоровых танцоров. «Я вот тоже чуть не купил себе цивильный костюм. Мими жалуется. Говорит, что как ни приду к ней, уже вся улица и знает. Обязательно, говорит, купи цивильное. Но раз мы все-равно скоро уезжаем — чорт с ней. Не буду тратить деньги!»

«Так вот и я-же купил цивильное не зря», подхватил Дуля, ободренный. «В Париже-то еще ничего, а по провинциях ни одна баба не пойдет с казаком в черкеске...»

«Дуля, ты ишак, с точки зрения! Бабы на черкеску

липнут, как мухи на мед. А ежели которая не пойдет с тобой в черкеске, будь уверен она на тебя и не взглянет в этом обезьяньем мундире».

«Ну это еще посмотрим», ответил Дуля, снимая пиджак.

Разговор перешел на баб вообще, затем текущие любовные связи были освещены в подробностях. Сашки и его Мими — вдовы с другой стороны улицы. Князя — другого танцора, из Грузии — и французской дамы средних лет, присылавшей за ним автомобиль. И недавнюю авантюру Вафли с женщиной подцепившей его в ресторане, где хор ужинал.

«А что вы думаете о нашем сотнике?» спросил Терентий. «Я не поверил когда Китти сказала, что он пришел. Посмотрел из-за занавески — да, действительно! Хорошо, что он не досидел до нашего номера».

«Ты что-же думаешь он тебя пришел слушать?» спросил Дуля: «Это он за Надей страдает. Китти говорит, что у них шуры-муры были в Москве, когда он на сатану еще не был похож».

«Он, видать, нарезать хотел перед ней», сказал казак, занимавший высокий пост хорового казначея. «Он явился ко мне вчерась и потребовал двести авансом. Ну, я спорить не стал. Думал, что может до доктора хочет идти или еще что».

«Ну, там что в Москве было то прошло. А теперь уж наш гитарист там работает».

«Кавалер, с точки зрения! Нельзя упустить такую кралю».

«Однако и ему там не лафа. Этот американский гаврик Ронни сильно за нее заволновался. Похоже, богатый мужик».

«Да нет, похоже, что Волгин забрался туда раньше. Они так себя и называют — две гитары. Держу пари, они друг дружке подыгрывают...»

Вдруг тишина воцарилась в комнате, как казаки — один за другим — взглянули на открытую дверь. Сотник Коваль стоял там — растрепанный, беспоясый, с расстегнутым воротником. Он оперся на палку одной рукой, а другой держался за косяк. Несмотря на эту двойную поддержку, он покачивался из стороны в сторону, медленно обводя казаков немигающими стеклянными глазами. Лицо его сложилось в гримасу презрения. Он ступил в комнату, чуть не упал, и ухватился за спинку Дулиной кровати.

«Вы сволочь!» прошипел он. «Вы не казаки, а старые бляди, болтающие от нечего делать!» Опять судоро-

га пробежала по его лицу. Рот скривился. Держась одной рукой за кровать, он пригрозил казакам палкой и начал обкладывать их отборной и живописной руганью... Он остановился внезапно и стоял закрыв глаза, качая головой, как будто-бы отгоняя непреодолимую усталость. «...Ба!... Разговаривать с такой шпаной». Он опять оглянул казаков. «Закрывайте двери в другой раз, когда языки чешутся... А если услышу которого сплетничать опять про... не хочу и называть ее среди такой сволочи...» Он снова обвел казаков страшно неподвижными глазами и поднял палку. «Убью сукиного сына!»

Он повернулся, вышел и захлопнул дверь за собой так, что гул пошел по коридору. В наступившей тишине было слышно удаляющееся постукивание его палки по полу.

«Ну и нарезался», сказал один из казаков после некоторого молчания.

«Дня два еще погуляет, пока весь свой аванц не пропьет».

Казначей только развел руками.

«А крепко осерчал он на нас», прибавил Кирюша.

Лукич почесал подбородок, небритый со вчерашнего вечера. «Что осерчал, то точно-так и без сомнения... А только не на нас — и это точно-так и без сомнения. Тут дело тонкое — соображать надо».

Пройдясь по набережной, Игорь вернулся в гостиницу и поднялся по лестнице. На верхней площадке, он столкнулся лицом к лицу с Ковалем. Оба остановились. Опершись на палку и покачиваясь, сотник уставился неподвижным взором на Игоря. «А, Ромео!... Я забыл поблагодарить за приятное времяпровождение... Надеюсь, что я не совсем его испортил... Это совершенно верно — Джиоконда ерунда, а вот Венера Милосская совсем другое дело. Я Венере симпатизирую. Трудно быть красивой без рук... я знаю... А она все-равно красива... Правда Волгин?» Он ухватился за отворот Игорева пиджака и продолжал, обдавая его спиртными парами: «Будь осторожен, Волгин... очень осторожно... понимаешь? Не то, большие неприятности могут выйти».

Он отступил назад, прислонился к стене и смотрел на Игоря со странным выражением — насмешки, горечи и мученичества.

«Ессе Homo», пробормотал он. «Се человек!»

Придерживаясь за стену, он заковылял к своей комнате.

14.

Когда у Игоря не было репетиции с хором, а Наде не нужно было стирать и гладить, они уговаривались накануне где и когда они встретятся. В плохую погоду они разучивали свой собственный репертуар в Щелкунчике. В ясные дни посещали все исторические места Парижа.

В этот день, выйдя из церкви Мадлен — храма Богини Разума во время революции — они прошлись по бульвару до Оперы и сели за столик на тротуаре у одного из кафе. Игорь заказал кофе для Нади и аперитиф для себя.

Смотря на желтый фасад, знаменитого здания, Надя спросила: «Ты не думал когда нибудь поступить в оперу?»

«Программы продавать?»

«Перестань дурить. Я хочу сказать, что если-бы ты брал уроки, может быть пел-бы в более приличных местах, чем кабаки».

Он покачал головой. «Опера не подходящее место для уважающего себя баса. Ты посмотри какие роли им дают — мефистофелей, разных подозрительных типов, с которыми порядочный человек не захочет связываться. Либо они просто разбойники и жулики, как Спорафучиле и Дон Базилио, либо странные, полусумасшедшие господа, как Дон Кихот или Борис Годунов. Куда-же романтически настроенному басу в оперу? Все любовные арии даются тенорам. Как-будто басы вообще любовью не интересуются? А вот, между прочим, в хоре басы больше чем тенора попадают в любовный переплет. Иван Иваныч, директор, строго допрашивал меня, что дескать не влюблен-ли».

«Да не может быть! Ну и что-же ты ему сказал?»

«Сказал, что избегаю как огня».

Надя взглянула на него исподлобья. «Врет, как бас... Я должна признаться, у меня слабость к басам... как к голосу», поправилась она в ответ на поклон Игоря. «Действительно, почему-бы басам не петь о любви? Настоящая любовь — простое и глубокое чувство, и не обязательно его выражать в руладах. Правда, князь Гремин поет Онегину о своей любви к Татьяне. Признаться, мне Гремин всегда казался смешноват... Отелло тоже влюблен в Дездемону. Но он страшный ревнивец и тиран. В самом деле, на всех басах какая-то странная и трагическая печать».

«Ну, хорошо, какая-же странная и трагическая печать лежит вот на этом басе?»

Надя посмотрела на него долгим взглядом над чаш-

кой кофе, которую она держала в руке. «Я не гадалка. Да может быть ты и вообще не настоящий бас. Может быть ты должен бы петь легким баритоном».

«Вроде Евгения Онегина? Онегины вышли из моды. Которые уцелели давно выехали за границу — продают шампанское и принимают на комиссию семейные и царские драгоценности...»

«Я знаю!» воскликнула Надя. «Фигаро! Севильский цырульник и бойкий веселый пессимист!» Они оба засмеялись.

«Madame, я смеюсь, но это смех сквозь слезы», сказал Игорь. «Я удручен, что вы такого низкого мнения о веселых пессимистах. Но они-же в некотором роде философы! Вот например в такую погоду и в такой компании нужно впитывать в себя, как в губку, приятные впечатления, чтобы было что вспомнить в дождливый день. Или как белка — собирать орехи летом, чтобы было чем питаться зимой».

«...Помня, что летом фиалок уж нет?» процитировала Надя в ответ. Ее улыбка пропала. Она смотрела прямо перед собой. «Горка, как голос у Паши Коваля?» спросила она неожиданно.

Опять Игорю показалось, что день потемнел — как всегда, когда тень Коваля вставала между ними. Надя упомянула его имя в первый раз после посещения Лувра. Ольга сказала Игорю, что сотник заходил еще раз. Чтобы не мешать ей, Надя сидела с ним в своей комнате. Игорь помнил, что в тот вечер, в Щелкунчике, Надя была грустна и молчалива. Она, конечно, не знала, что после Лувра сотник пьянствовал два дня — по точному расчету казаков.

«Горка, ты оглох? Отвечай мне», повторила Надя.

«Я не знаю. Он ведь соло не поет. Казаки говорят, что голос еще остался, но не такой как раньше... Позволь, при чем-же тут сотник Коваль?»

«Совершенно не при чем. А вот мы тут разболтались о голосах... Я вспомнила о билетах на Евгения Онегина... У него был чудный голос. Да и сам он... Горка, я помню тебе не понравилось, что я сравнила тебя с ним. А между прочим, это тебе комплимент! Таких как он и в Москве было не много!... Как ты думаешь — твой веселый пессимизм поможет ему? Я уверена, у него есть светлые воспоминания, но может-ли он на них жить? Насытит-ли голодного память о вчерашнем обеде?»

Игорь пожал плечами.

«Да нечего ежиться. Ты отвечай по делу», настаивала Надя.

«Очевидно у него какая-то поддержка есть...»

«Ну так значит какая-то надежда! Я не знаю. Он ничего не сказал, а я побоялась спросить. Мы разговаривали больше о Москве, об общих знакомых... Может быть после как нибудь спрошу... Он теперь такой нервный... Я чувствую, что я должна ему помочь... хочу помочь... но что-же я могу сделать? Горка, это ужасно! Что ты там ни говори, что одни мрачные оптимисты надеются на что-то, нельзя жить без надежды! Недаром говорят, что надежда и беда, как брат и сестра».

«Но беда всегда бежит впереди!... Слушай, Надя, ты хочешь чтобы я был серьезен. Вот философия эгоизма: зачем прибавлять к горю и горевать о том чему нельзя помочь? Не лучше-ли прибавить, так сказать, к общей сумме счастья, используя каждый час?»

«Счастье...» повторила Надя, как печальное эхо. «Синяя птица счастья... Похоже, что наша синяя птица полиняла раньше, чем мы ее поймали. Способны-ли мы к счастью? Разве нам забыть, что мы видели и испытали? Подумай, кто счастлив из нашей компании? Ольга и Капитусь? Они только и живут своим Колей. И то, каждый раз когда они возвращаются из киндергартена, Ольга плачет. А Капитусь ходит мрачный и вечером надирается. Однажды Ольга сказала мне: не заводи детей, Надя. Не заводи пока не разбогатеешь. Больше горя с ними, чем радости, в нашем положении... Ну еще кто? Твой поручик Петров? Ты его лучше знаешь, но я знаю довольно: коньяком счастья не заливают!... Бобо и Китти? Они практикуют твою систему — и ты знаешь чем они кончат... Ты сам — апостол своей веры — я уж не хочу тебя допрашивать. Но имей в виду, счастливым не нужно выдумывать рецепты счастья! Вот в том и беда наша, что приходится изобретать счастье — выдумывать его головой — вместо того, чтобы просто чувствовать сердцем. Наше сердце, вся душа наша, изломана, сожжена до золы... Откуда же прийти счастью?»

Он взял ее руку, лежащую на столе. «Наше счастье не придет к нам само по себе. Но мы его найдем!... Вот ты спрашиваешь, а как-же о Ковале? Ну, хорошо, мне тоже жаль беднягу, но что-же я могу сделать? Во-первых, я подозреваю, что он вообще-бы от меня ничего не принял. А во-вторых, я ведь тоже мог-бы очутиться в его положении! И если-бы так... я не знаю. Вероятно старался-бы взять что-нибудь из жизни... А если уж ничего не осталось...» Он опять пожал плечами. «В таком случае, всегда можно выйти из положения».

Она смотрела на него широко открытыми глазами. «Игорь, это жестоко!» прошептала она.

«Наоборот, очень логично. Зачем тянуть волынку? И кроме того, мы и так все живем не на свое время, а на казенное... Сверх программы».

Он поласкал ее руку. «Вот видишь к чему серьезные разговоры приводят. Грех в такую погоду».

Она медленно покачала головой. «Неправ ты, Горка. Неужели ты не видишь, что твоя философия только для сильных и только вот в такой чудный день? Я не знаю, и ты не знаешь, как бы ты заговорил на его месте».

«Надеюсь, что до этого не доживу».

Надя усмехнулась невесело. «Вот видишь, врешь ты что веселый пессимист. Ты тоже на что-то надеешься, как и прочие мрачные оптимисты».

* * *

Легкий ветерок Марсового поля внизу дул сильными порывами на вершине Эйфелевой башни. Игорь и Надя смотрели на огромную карту Парижа в темной рамке лесов на далеком синем горизонте.

«Горка, это восторг!» воскликнула Надя, держась за его рукав одной рукой и поддерживая шляпу другой. «Как на аэроплане! Однажды на фронте авиационный отряд стоял недалеко от госпиталя и летчики приглашали нас прокатиться».

«Какая неосторожность! — Летчики ветреный народ».

«Не ветреннее чем некоторые другие». Она поднялась на цыпочки. «Поддержи, может увижу Москву за этими лесами... В которую сторону северо-восток?... Нет, ничего не вижу. Далеко Москва».

Их внимание привлек тонкий белый червячек медленно ползущий по горизонту — струя пара и дыма из паровоза поезда. Они следили за ним молча. «Может быть кто-нибудь едет в Москву на этом поезде», сказала Надя. «Всего два-три дня... Как странно — так близко и так далеко...»

Глубокая нота печали заставила его повернуться. Надя продолжала смотреть на северо-восток. Он взял ее за подбородок и повернул ее лицо к себе. Их глаза встретились. «Зачем все смотреть назад, Надя? Вот мы здесь на верхушке мира. Только небо да облака выше нас...

«Помнишь, проезжала когда нибудь на позде по степи?» закончил он неожиданно.

«Да... Почему?»

«Помнишь как кажется что поезд кружится около

какой-то точки на горизонте?»

«Да, я всегда удивлялась почему это так».

«Очень простое физическое объяснение. Но не в этом дело. Вот те которые едут на этом поезде видят, что они кружатся вокруг этой башни. Для них весь мир вращается вокруг этой башни. А мы здесь, в центре мира. Все сходится на нас, как в фокусе, и опять отражается как наша радость и наша печаль. Не лучше-ли быть фокусом счастья, чем тоски? Прошлое не в наших руках. Что было, то было. Но что есть и что будет — это наше... Посмотри — весь мир наш... Мы выше всего... Как боги...»

Он остановился. Другая сцена встала перед ним — и другая претензия на божественность, предъявленная искалеченным человеком. По перемене на Надином лице, он угадал и ее мысль. Его руки опустились.

Не глядя на него, Надя сказала: «Пойдем спустимся на землю, Горка. Ветрено здесь на небесах».

* * *

День когда они собрались посмотреть Собор Богоматери, был особенно хорош. Поднимаясь по каменным ступенькам паперти, Игорь сказал, «Notre Dame de Paris. В переводе на нижегородский, Наши дамы из Парижа».

Надя сдержала смех. «Перестань, Горка. Ведь это-же церковь».

После ослепительного солнца и уличного шума, храм был темен и холоден. Свечи мерцали у алтаря. Узкие готические окна на южной стороне сияли радужными цветами. Шаги гулко раздавались в вышине под сводом. Игорь и Надя обошли ряды сидений к боковой двери и поднялись по винтовой лестнице на балкон.

Два рукава Сены обнимающие остров врезались чистыми синими лентами в лабиринт закопченых крыш с торчащими трубами. Насколько хватал глаз, Париж простирался в легкой весенней дымке. Стройное очертание Sacre Coeur de Montmartre с золотым куполом витало над ним как мираж.

Примостившись на узорном карнизе, знаменитые химеры окаменели в вечном созерцании. «Какие страшные», заметила Надя, оглядывая их. «Понасажали таких чудовищ на Божий храм. Не как у нас. Помню однажды на пасхальной неделе пошли мы на колокольню у Успения. Я там в церкви пела, гимназисткой. И кроме колоколов да голубей ничего там не было. Один маленький образок висел».

«Может быть наши архиереи были построже, чем

здешние и не разрешали вольностей», ответил Игорь. «А может быть архитектору надоели эти тощие святые и папы, расставленные там внизу, а здесь он и развернулся... Вот этот с козлиной бородой — Философ. Мрачно-оптимистический тип... А это Монахиня, очевидно замечталась не о святом...

«А вот Стриг», он показал на тупоносого крылатого зверя-птицу, подпирающего морду человеческими руками, прикусив конец языка тонкими насмешливыми губами. «Обрати внимание на мину. Очень выразительная... Deja vu... Я, дескать, все это видел, и не раз... Люди там внизу бегают как муравьи туда и сюда... всякие планы хозяйственно обсуждают... А мне-то отсюда виднее... к какой категории кто принадлежит и куда им дорога... Нет ничего новго под солнцем... Сначала, признаться, надоело, а теперь привык. И даже отчасти забавно... Да ты тоже замечталась, как эта Монахиня!»

Надя продолжала смотреть на крылатое чудовище. «...Да, извини, Горка. Удивительное выражение — совсем человеческое. Но какое-то бездушно-подлое... Как будто он знает или подозревает что-то нехорошее и ему это очень приятно». Она вздрогнула и отвернулась. «И смотреть не хочу!»

Она облокотилась на перила. Игорь зажег две папиросы и протянул одну ей. Они курили молча, смотря на панораму. Сизые нити дыма вились около и исчезали. «Подумай, сколько истории видели эти Химеры», сказала Надя. «Крестоносцы может быть отправлялись отсюда после молебна... Короли Франции были коронованы здесь... Наполеон, тоже... Уличные бои во время революции, как и у нас... Коммуна появилась и исчезла, не как у нас... Миллионы людей прошли внизу... Родились, радовались и страдали каждый по своему, и умирали. И ничего от них не осталось. Мы только учим, что такой то король царствовал в такое-то время, с кем воевал и какие законы издавал — хорошие или плохие... И вот о нашем времени будут учить — что была война, революция... А о нас, простых смертных... как и чем мы жили — никто не узнает... Люди будут так же ходить, там внизу, по своим делам... А может быть об этом и не надо учить. Вероятно люди чувствовали одинаково во все времена и при всех режимах...»

«Контр-революционные твои слова», заметил Игорь. «Против диалектики».

«Против чего?»

«Сразу видно, что ты не передовая пролетарка. По диалектике провалилась. А ведь из-за этой самой диалек-

тики мы и сидим здесь. Немцы выдумали ее вместе с обезьяной. Был такой философ Гегель и он решил, что все на свете это переход от чего-то к чему-то другому. От тезиса к антитезису через синтезис. Правда, некоторые античные греки тоже подозревали это, но Гегель все разместил по рубрикам. Аккуратный был немец. А потом Карл Маркс заинтересовался этим делом и подшил ему практическую подкладку. Что вот, дескать, люди поступали и поступают и думают не сами по себе, а по классам — рабочие думают одно, хозяева другое. Тоже самое богатые и бедные, пролетарии и буржуи, простой народ и высшие классы. Ну а если, например, отменить все классы и поставить всех в один класс — особенно в пролетарский, — то все будут думать одинаково, не будет никакого беспорядка и воцарится мир».

Надя взглянула на него. «Откуда ты все это знаешь?»

«Позвольте, сударыня, я-же студент второго курса Московского Университета...»

«Да, да, знаю», перебила Надя. «...Ночей не спал, никуда не ходил, все диалектические книги читал. Но причем-же тут мы? И какое отношение имеет к нам Гегель с его диалектикой?»

«Очень большое отношение. Когда наш собственный Владимир Ильич Ленин вернулся домой, он посмотрел и сразу-же решил, что да действительно это самое подходящее время заменить тезис антитезисом. А если нет, то нужно устроить, чтобы так случилось. Ну а остальное всем известно. Синтезис разразился по всей стране, потому, что не все согласились с Ильичем. Вот таким манером мы и оказались в Париже».

Надя смотрела вдаль над крышами Парижа. «Очень интересно», ответила она после долгой паузы. «Теперь мне все ясно. Что случилось в России не что-то ужасное, а вполне нормальное — так как должно и быть, по новой библии. В начале был тезис, а потом он устарел и его нужно было заменить антитезисом. Затем антитезис тоже устарел, сделался тезисом и опять его нужно было заменять новым антитезисом. И всегда через посредство синтезиса, во время которого убивали народ, сжигали города, все во славу грядущего антитезиса... В таком случае, мы, недорезанные буржуи, в переводе на философский язык какие-то диалектические выродки. Хотя и вытащены из тезиса, но застрявшие так или иначе в синтезисе, не доехав до антитезиса».

«Браво!» воскликнул Игорь. «Очень тонкий анализ! Из тебя может быть современем выйдет настоящая диалектическая дама».

«Нет, уж ты меня пожалуйста в эту компанию не включай», возразила она с досадой. «Я не хочу думать как все. И мне совершенно не интересно кто что думает, если только они меня оставят в покое. И я совсем не уверена, хорошо-ли это, чтобы у всех были одинаковые убеждения. О чем-же тогда будем разговаривать? Муравьи вероятно думают одинаково — для общего блага. Что-же мы — «стремиться сделаться расой каких-то диалектических муравьев? И для этого неопределенного — убивать тысячи людей и причинять неслыханные страдания? Что об этом думают Гегель и Маркс?»

«Да они как будто-бы в такие мелкие детали не входят. А может быть я до этого не дочитал».

«Ну а ты сам что думаешь?»

«Странный вопрос. Я ведь тоже погряз в синтезе, вместе с тобой. Однако Гегель вероятно не имел в виду таких типов, как я. Хотя из тезиса вышиблен, а к антитезису не пристал, оказывается, что и синтезис вовсе не плохое место... В приятной компании, а иногда и без оной.»

Надя быстро взглянула на него. «Пойдем домой, Горка». Она опять оглянулась на Стрига. «Теперь я знаю, почему он мне не нравится. Выражение уж слишком диалектическое. Тебе компания. Хочешь сидеть здесь с ним, в вечном синтезе?»

«Да, если ты согласна сидеть на соседнем карнизе».

«Боже сохрани!» воскликнула Надя. «Две новые Химеры — Тезис и Антитезис!» Они оба засмеялись, заставив оглянуться группу посетителей, только что поднявшихся на балкон.

Легкий ветерок подхватил их веселый смех, смешал оба в один, обвил вокруг серых башен Собора Богоматери и рассеял в весеннем воздухе.

Позади них, Стриг тоже посмеивался беззвучным и безрадостным смехом. Высунув дразнящий кончик острого языка, он наблюдал за ними внизу и продолжал посмеиваться после того, как они исчезли в лабиринте домов.

15.

На хоровой спевке, ровно месяц после возвращения Игоря в Париж, Иван Иваныч объявил с драматической внезапностью, что хор через день отправляется в турнэ по Франции, а потом в Америку и возможно вокруг света. Он объяснил, что агент почему-то раньше не предупредил. Казаки объяснениями совершенно не интересова-

лись. Главное дело — они наконец действительно выбирались из Парижа. Игорь знал через сожителя Вафлю, что в хоре неспокойно. Разговоры об отъезде велись уже давно, но никто ничего толком не знал. Иван Иваныч, как всегда, был полон обещаний, но на прямые вопросы отвечал неопределенно и утверждал, что ведутся важные переговоры. Казаки подозревали, что директор просто наводит тень. Что он и сам ничего не знает, а ждет пока секретарь скажет ему в чем дело. А секретарю торопиться некуда. Он Парижский житель и чем дольше хор оставался в Париже, тем ему и лучше.

Не то чтобы казакам Париж не нравился! Но хор дал «прощальный» концерт почти месяц тому назад и с тех пор, пел только два раза — на большом приеме в богатом доме и в водевиле. Несколько дней тому назад Иван Иваныч приказал казначею пока-что убавить выдачу вдвое. На готовом столе и квартире, у бережливых было достаточно на мелкие расходы, но безалаберное большинство очутилось в стесненном положении и обкладывало дирекцию за нераспорядительность и скупость. Очень немногие ворчали на короткий срок. День и две ночи было довольно времени проститься с друзьями и подругами. А те, так или иначе попавшие в несколько одновременных любовных афер, были даже рады выйти из положения и начать все сначала, в новых местах.

В тот-же день хоровой портной наконец позвал Игоря для окончательной примерки черкески и остальных принадлежностей казачьей формы. Приемочная комиссия в составе Ивана Иваныча, Лукича и нескольких любопытных казаков осмотрела его со всех сторон и единодушно одобрила. «Прямо гвардеец, как которая взглянет с точки зрения, так штанишки и промочит», по образному выражению Лукича.

«Ни одна не устоит», согласился Иван Иваныч. «Пожалуйста будьте осторожны там в ресторане. Чтобы вина не пролить на новую черкеску или соусу какого».

Никто не сомневался, что он нарежет в Щелкунчике в казачьей форме. Он сам много раз хвастался этим. Но сегодня, как вечер приближался, он знал, что его последнее выступление будет в старом цыганском жупане.

Он ушел из гостиницы вскоре после темноты, задолго перед тем, как квартет должен был отправиться в ресторан. Он пошел бесцельно по знакомой улице, пока она не окончилась на перекрестке. Он повернул к реке, до которой оказалось три квартала. Дойдя до набережной, он сел на скамейку и наблюдал за огненными змеями отражений фонарей в черной воде. Женщина прошла

мимо, медленной профессиональной поступью. Она оглянулась и улыбнулась. Он встал и пошел за ней.

«Bon soir, ma petite. Хочешь выпить со мной?»

«Mais oui».

Они дошли молча до ближайшего бистро, подсели к прилавку. Игорь заказал два аператива. Он уже спрашивал себя, зачем он сделал такую глупость. Он даже не разглядел лица своей компаньонки, да и совершенно не интересовался. В досаде на себя — зная почему он здесь, но не желая сознаться — он быстро осушил свой стакан и поднялся. Женщина взглянула на него — уже не молодая, покрашенная:« Alors?»

«Alors, pas ce soir... Bonne nuit». [1])

Пройдя два квартала, он увидел другое бистро. Трактирщик оказался разговорчивый. Они обсуди :и погоду и согласились, что лето уже недалеко. Узнав, что Monsieur один из казаков квартирующих невдалеке, хозяин угостил его и они выпили за храбрых рыцарей степей...

* * *

«Слышали новости?» спросила Бобо когда Ольга и Надя пришли в ресторан.

«Какие новости?» спросила Ольга.

«Разве Горка не сказал? Казаки уезжают послезавтра».

«Да?... Вот это действительно новости. Мы не видели Горку со вчерашнего вечера. Где он?»

«Еще не явился», ответил Вася.

«Да он ничего не знал», сказал Терентий. «Никто ничего не знал. Иван Иваныч сегодня объявил как снег на голову».

Ольга помолчала, потом пошла за занавеску. Надя последовала за ней. За ее спиной, Китти и Бобо переглянулись.

«Куда это Волгин пропал?» удивился Дуля. «Я за ним зашел, а Вафля говорит уже давно нет».

«Может показаться боится», заметила Бобо.

«Держу пари он сегодня надерется», прибавил Вася. «Если уже не надрался».

Лукич, который уже сделал первый прощальный визит и был поэтому в благодушном настроении, положил тяжелую руку на Васино плечо. «А ты, Вася, колиежели скрипач, то ты и скрипи на своей скрипке. А Игоря Петровича не замай. Потому, как он теперича всту-

[1]) Ну, не сегодня... Спокойной ночи.

пил в казачество и мой кунак... Да вот и он сам — как новая копейка».

Игорь прошел мимо с коротким «Здорово, халтурщики».

Когда он вернулся, переодевшись, Ольга, Бобо и Китти производили последний осмотр своих станций. Надя сидела с казаками. Она взглянула на него. Их глаза встретились и ему показалось, что он прочел немой вопрос в серых глазах. Опять его охватило это давно забытое чувство гимназиста, ожидающего в приемной инспекторского кабинета куда он был вызван для объяснения некоторых происшествий. Это чувство, неловкое и досадное, было с ним с самого объявления новостей. Оно прошло после посещения бистро и вот опять вернулось под вопрошающим взглядом серых глаз... Он первый отвел глаза и сел около Нади.

«Куда, Горка?» спросила она.

«Куда-то на север... Лилль, кажется... И дальше, в Эльзас-Лотарингию. Точно не знаем».

«Точно и не интересуемся, с точки зрения», заявил Лукич. «Казаку все одно — где шапку повесит, там и дома... Поехал казак на чужбину далеко на добром своем на коне вороном... Игорь Петрович, что же ты черкеску не обновил?... Дамочек не обрадуешь?»

«Черкеска готова наконец?» спросила Надя.

«Сегодня примерили... Орел, с точки зрения! Гвардеец... Не то что в этом жупане, как цыган на ярмарке».

Надя повернулась к Игорю. «Как же ты, Горка? Я ведь сгораю от нетерпения! Мне-же нужно решить кем ты мне болфше нравишься: цыганом или казаком...»

Стук в дверь перебил ее. Оркестр заиграл фокстрот. Дверь отворилась и заблудшие американцы ввалились веселой толпой.

«Hello, everybody!» приветствовал Чарли. «Подогрейте борщ и застрелите ворону или две. Мы умираем с голоду!»

На этот раз Игорь был рад приходу американцев.

* * *

Около полуночи Щелкунчик был почти полон. Monsieur Louis окидывал зал хозяйским глазом и производил в уме привычную арифметическую операцию умножения числа пустых шампанских бутылок на сто франков для приблизительной оценки вечернего дохода. Кроме того у него сегодня была другая важная проблема. Внезапный отъезд казаков не оставлял никого кроме Нади в

его программе. Конечно, как предусмотрительный человек, он уже давно сделал необходимые приготовления. У него был под рукой список подходящих артистических номеров: два цыганских хора, три лирических и один драматический тенор, с полдюжины экзотических танцоров, виртуоз гармонист и индейский маг и фокусник — все настоящие русские, кроме индейского мага, который был из армян. Как ни неприятно потерять казаков, он зато получит почти бесплатно новую программу по крайней мере на две недели по общепринятому простому способу — пробовать новых артистов несколько вечеров, только за ужин... Что же касается этого Волгина, Monsieur Louis справедливо рассуждал, что Две Гитары, несмотря на шумный успех, связаны с некоторыми неудобствами. С Волгиным под боком, доступ к Прекрасной Цыганке был закрыт... Для всех, включая Monsieur Louis. Он подозревал, что один из его американских гостей был неравнодушен к ней... Во всяком случае, одной гитары было совершенно достаточно...

Он приятно улыбнулся, проходя мимо американского стола. Узнав об отъезде казаков, американцы немедленно решили, что это необходимо отпраздновать. Они послали шампанского квартету и угощали Надю и Волгина за собственным столом. Полный bonhomme рассказывал что-то смешное. Все смеялись. Monsieur Louis вполне одобрял американский смех. Им сто франков ничего не стоило...

Чарли нагнулся к Игорю как будто сообщая секрет. «...А вы знаете, Игорь, что Христофор Колумб был пророк? Yes, sir! К концу путешествия он забрался на мачту, посмотрев в трубку и закричал, «Now hear this! Dry land ahoy!»[1]) Он первый засмеялся своей шутке. «Но, между нами, Христофор не знал дела. Вот приедете в Нью Иорк, я вам покажу уютные оазисы текущие живой водой».

«Обязательно приезжайте в Техас», вмешалась Бэтти. «У наших там большой ранч. Лошади пасутся. Казаки могут ездить весь день с ковбоями».

«Гостеприимный народ техасцы», согласился Чарли. «Но имейте в виду, будьте осторожны насчет скота. В Техасе если кто застрелит человека, особенно негра, то только нужно сказать, что действовал в самозащиту и тебя отпустят с предупреждением, чтобы был вперед поосторожнее. А вот если застрелишь быка, то тут-же и повесят. Уж такие там порядки».

---

[1]) Намек на «сухой режим».

«Не верьте этому янки вралю», протестовала Бэтти среди общего смеха. «Будете в Техасе, обязательно заходите к нашим. Я им напишу».

«Как далеко от Нью Иорка до Техаса?» спросила Надя с другого конца стола, где она сидела с Ронни.

«Никто точно не знает», ответил Чарли. «Мало кто едет из Нью Иорка в Техас. Все едут из Техаса в Нью Иорк. Вот спросите Бэтти».

Бэтти поджала губы. «Слишком много dummyanks' загромождают Техас. А вы, Чарли Армстронг, лучше не показывайтесь, или вас там осмолят, окатают в перьях и вынесут на колу». Все опять засмеялись.

«Далеко от Нью Иорка до Техаса, Надя», сказал Джим. «Но у самого Нью Иорка есть такое местечко, Уголок Техаса, принадлежащее Бэтти и Джиму Дэвис. Все присутствующие, пожалуйста. Даже Чарли».

«Вот подождите когда этот хор наггрянет на Бродвэй», сказал Джин. «Жаль, что вы, две гитары, расходитесь. Какой был-бы сенсационный номер. Казаки попадают в цыганский табор и поют и танцуют с цыганками! Почему и вам не поехать в Нью Иорк, Надя? Бродвэй может быть и не так романтичен, как Монмартр, но там тоже можно развлечься. Да и денег больше».

Игорь заметил, что Надя не отказалась, как обычно, от второго бокала шампанского. Он не слышал, что ей говорил Ронни. Но он видел его красивое лицо с тонко подстриженными усиками очень близко к ее лицу и знал по ее улыбке и блеску глаз, что ей было не неприятно... И он не покрывал рукой свой бокал когда Чарли подносил бутылку.

«Может быть и приеду», ответила Надя весело, «Ронни говорит, что он меня похитит».

«Atta boy, Ronny!» одобрил Чарли. «Это еще более сенсационный номер! Бедный американец похищает прекрасную цыганку и запирает ее в свою мансарду на тридцать первом этаже небольшого домика, принадлежащего его отцу. Страшная бедность! Всего три комнаты и четыре спальни. А крантики в ванных даже не золотые, а только позолоченные... Пианино нет, а лишь одна гитара...» Он откашлялся и вдруг запел пронзительным тенором,

«Two guitars I cannot handle,
I'll take just one...

«...Постойте, постойте!» он замахал руками, видя, что остальные заткнули уши и смеялись. «Либо слова либо музыка не та. Игорь, как оно там?»

Игорь видел только Надины глаза, искрящиеся от смеха. Жар ударил ему в голову. Но Monsieur Louis остановился у его стула и положил руку ему на плечо. «C'est a vous et Mademoiselle Nadya».

Игорь смотрел на Надю. Она кивнула и поднялась. Он вспомнил, что нужно принести гитары.

«Две Гитары!» воскликнула, Люсиль. «Хотим Две Гитары! Покажите Чарли как надо петь!»

«И покажем», ответила Надя. «Лукич, хлопцы, помогайте. Вы знаете этот припев?»

Лукич вытер ладонью усы после глотка шампанского и поднялся. «Наденька, уж ты только скажи, а мы все исполним. Выходь, хлопцы». Казаки выстроились позади Игоря и Нади. Огни потемнели. Прожектор упал на живописную группу. Гости зааплодировали.

Подстраивая гитару, Надя смотрела на Игоря с новой улыбкой — лукавой и вызывающей... Слегка насмешливой, как ему показалось. «В последний раз, Горка?... Пой как никогда... Не фальши!»

На вызов ее слов, теплота шампанского вдруг вспыхнула горячим пламенем. В пурпурном свете он опять увидел Надю как в первый раз — Прекрасную Цыганку Монмартра... Какой ее номер?... Почему он ее пропустил?...

«Готов, Горка?»

Он кивнул и гитары пошли в пичикато вступления. Не ожидая его, Надя повела гитарой и начала первый куплет. Она не перешла, как делала всегда, на второй голос. Заставила его вторить:

«Две гитары, зазвенев,
жалобно заныли.
Этот памятный напев —
— милый, это ты-ли?»

Казаки дружно подхватили,

«Эх, раз! Еще раз!
Еще много, много раз!

. . . .

Нет ни законов ни канонов к цыганской песне. Каждый поет как хочет. По настроению. По обстоятельствам. Только чувство певца и ход гитары . Полузатемненная интонация — пауза — замедленный ход гитары — и легкомысленная частушка звучит призывом, иронией, смехом сквозь слезы...

«...Хорошо на горке жить,
трудно подниматься.
Хорошо дружка любить,
трудно расставаться.»

Но почему-же расставаться? Как раз когда Прекрасная Цыганка оказалась курсисткой, которая жила на Малой Бронной около Патриарших Прудов — которая берегла пыль Москвы на ленте старой шляпы и билет в Большой театр... Вот они обе стоят перед ним, обе любимые, желанные...

Надя тряхнула головой, смело повела гитарой и начала куплет, который они оба знали, но никогда не пели:

«Подруга верная была,
ему изменила.
Изменила один раз,
а потом решила...»

Лукич ухнул. «Ай-да, Надя, молодец?» Казаки, смеясь, прихлопывали в ладоши: «Эх, раз! Еще раз! Еще много, много раз!...»

«Перестань, Надя!» Игорь едва сдерживал свой крик. Вместо этого он вторил ей и улыбался по привычке в ослепительный луч прожектора.

Но может быть Надя услышала его. Она взглянула и подала знак, что следующий куплет последний. И когда гитары замедлили ход, ему показалось на секунду, что он опять увидел это трогательное беспомощное выражение, как в ту первую ночь с крысой...

«Две гитары, зазвенев,
песню оборвали.
Ах, зачем они играли?
Зачем замолчали?...»

Аплодисменты еще продолжались когда входная дверь хлопнула и оглушительный рев гармоники наполнил темную залу. Когда зала посветлела, обнаружилось, что это танцоры Сашка и Князь на очередном визите. Сашка исполнил замысловатые па под свою музыку, а Князь, с бумажным мешком подмышкой, из которого выглядывали острия сценических кинжалов, стоял рядом и отбивал такт. «Бонжур с абажуром!» кричал Сашка. «Встречай знаменитых танцоров! Муа жуе, муа дансэ! Сам играю, сам пляшу!... Становись, станичники! Тащи доску, Кирюша!... Даешь Наурскую, Вася!»

Он распоряжался не обращая внимания ни на хозяина ни на гостей. Пока Кирюша принес и положил на пол деревянную крышку от ящика из кухни, Сашка, поставил гармонику на пустой стол и стоял, засучивая рукава черкески. Князь разложил кинжалы на краю стола. Оркестр ударил быстрый темп лезгинки. Сашка ухнул и пошел вокруг доски. Он подобрал два кинжала в распро-

стертые руки и встал a pointe, как балерина. Гости зааплодировали. Сохраняя позу, Сашка заправил кинжалы крестообразно сзади за воротник, подобрал еще два кинжала и засунул их за пояс. Два последние кинжала он закусил зубами, рукоятками по обе стороны лица Наконец он выхватил собственный кинжал, откинул голову назад и поставил его острием между нижней губой и десной, лежа на щеке. Так ощетинившись кинжалами, он кружился «на пуантах», представляя необычайное и грозное зрелище. Громкие крики одобрения заглушили лезгинку.

По давнишнему уговору, Monsieur Louis положил на доску «приманку», десятифранковую бумажку. Если заработок был хороший, танцоры возвращали приманку, ругая хозяина по-русски за скаредность. Сашка обошел еще круг, остановился лицом к доске, тряхнул головой. Кинжал завертелся блестящей мельницей и задрожал, вонзившись в доску, приколов бумажку. Одна из гостей громко ахнула. Еще две десятифранковых и одна двадцатифранковая прилетели с соседних столов. Князь разгладил их на доске. Опять Сашка прицелился, промахнулся два раза, затем пришпилил кредитки. Он сорвал шапку и поклонился во все стороны. Его рыжие волосы стояли как перья.

Пока Сашка подбирал деньги, Князь подобрал кинжалы. После совещания за американским столом, Джим вышел и положил на доску три зеленых бумажки.

«Доллары?» спросил Дуля, уставившись на бумажки.

«Должно быть доллары», ответил Кирюша. «Я таких французских денег не бачил».

«Лафа этим халтурщикам», проворчал Лукич. «Им и в Париже Америка».

«А хитрый народ, американцы», заметил Терентий. «Французские деньги большие, как афиши. А Американские маленькие. Вот они и думают — промахнется Князь».

С кинжалами за воротником и за поясом, Князь носился вокруг доски в настоящей Кавказской лезгинке. Широкие рукава черкески развевались как крылья. С острым кавказским профилем, он был похож на огромную хищную птицу, готовую ринуться на добычу. Шесть раз он быстро кивнул головой — и шесть кинжалов выстроились в ряд на доске — три из них пришпилив американские доллары.

«Хацо!» закричал Князь. «Лукич, ты старый ишак! Держу пари, не станцуеш как я!»

«Ты кого-же это называешь старым ишаком — ты, кукурузный князь? Убирай свой товар с полу. Эй, рас-

ступись, которые! Казак сейчас покажет настоящий танец... Раздувай гармонь, Сашка. «Скину кожух на полицю».

«Ось, ховайтесь уси», сказал Кирюша. «Лукич разгулялся».

Лукич стоял подбоченившись пока Сашка не растянул гармонику и испустил оглушительную трель. Он топнул три раза в такт, поправил папаху и пошел впляс. Оставаясь на месте, он месил ногами, выписывая удивительные кренделя. Ухал, подпрыгивал, шлепал себя руками по всему телу. Заложив руку за ухо, пошел по кругу в новых и неописуемых фигурах — с легкостью поразительной для его лет и грузного сложения. И все время он хранил серьезное, даже строгое лицо. Только увидев Надю прихлопывающую среди казаков, он оскаблился и поманил ее корявым пальцем. «А ну выходи, Наденька, потанцуй с казаком. Что за прибыль танцевать одному!»

Надя стояла в нерешительности — но только на секунду. В следующий момент она уже стояла в кругу с платком в поднятой руке и грациозно поддерживая юбку другой. Сашка растянул гармонику во всю длину и пустил трель, которая разнеслась-бы по всей степи. Крики одобрения раздались со всех столов.

Танец Лукича с Надей был совершенно неподражаем — нечто вроде кадрили с вариациями вдохновленными шампанским. Изображая ухажора, он обхаживал ее, притопывая, ухарски покачивая головой в огромной папахе и припевая, «Разлюбила цыгана, полюбила казака! Ай-да Надя, ай-да Надя, полюбила казака». Она отвечала кокетливой улыбкой, поводя плечами. Отступала, помахивая платком под его самым носом, пока он наступал подбоченившись и выпучив богатырскую грудь. Потом она наступала, постукивая каблучками, а он пятился, раздувая моржовые усы. Рука-под-руку, они кружились в одну сторону, хлопали и кружились в другую. Надина юбка раздувалась, как красный парашют. «Ай-да Наденька! Молодец, козявочка! Ублажила казака!» приговаривал Лукич, пускаясь вприсядку под изступленный рев задыхающейся гармоники, крики и аплодисменты.

Monsieur Louis, сначала слегка раздосадованный таким грубым перерывом программы, благосклонно улыбался. Это как раз то, что нравится публике: неожиданная импровизация — если, конечно, хорошо разыгранная... Ces Russes, ils sont superbes en leur folie. [1])

---

[1]) Эти русские! Они великолепны в своем сумасшествии!

16.

На другой день около того времени когда он встречал Надю Игорь вышел из станции метро и пошел к квартире Парских. Его голова еще болела после вчерашней пирушки. Спать было почти невозможно из-за казаков возвращавшихся под утро и бродивших из комнаты в комнату, рассказывая кто где был и что делал. Хозяин, слегка опечаленный неожиданным отъездом доходных хотя и шумных гостей, предусмотрительно не показывался.

Первая мысль Игоря была — он должен увидеть Надю. Почему, зачем и что он ей скажет — он не хотел думать. Одно было ясно: он должен ее увидеть до отъезда. Должен потому, что она вызывающе дразнила его вчера — петь как никогда... Потому, что пела этот рискованный куплет... Пила шампанское с Ронни в интимном tete-a-tete... И особенно после той сцены, которая казалась незначительной вчера, а сегодня досадовала и мучила хуже головной боли... Когда Капитусь заехал в ресторан, Надя сказала смеясь, «Я совсем надралась... Голова кружится». Он знал, что следующий шаг его: предложить проводить ее чтобы проветрить голову от ресторанных миазм. Предупреждая ее прямое приглашение, он ответил только «Выспишься, все пройдет».

Не доходя до знакомой улицы, Игорь увидел Надю и Коваля выходящих из-за угла и повернувших по направлению к парку Монсо. Они шли медленно, Надя очевидно стараясь идти в ногу с прихрамывающим Ковалем. Игорь наблюдал за ними пока они не скрылись в толпе на тротуаре, затем сам повернул за угол к Парским.

Ольга открыла дверь. Она была в знакомом «коммунальном» турецком халате, служившем при необходимости и Капитусю и Наде. Без румян, она выглядела бледной и усталой.

«А, это ты», она приветствовала его без особого энтузиазма. «Опоздал. Надя только-что вышла с Сотником».

«Я их видел. Они меня не заметили».

«Она решила прогуляться. Больше чтобы меня не беспокоить. Капитусь в гараже... Хочешь чаю?»

«Нет ли чего медицинского? Голова разбухла на два номера шляпы».

«Значит немного оселась!» Ольга пошла в кухоньку и вернулась с рюмкой коньяку. «Коваль пришел проститься. Говорит, уезжает сегодня ночью, а не завтра утром».

«Кто то ошибся... Халтурная организация... Попрошу тебя подобрать мой кафтан. Может еще пригодится».

«Куда же он тебе в Америке? Лукич говорит черкеска тебе прямо к лицу».

«Может быть и не доеду до Америки».

«Да?... Почему нет?»

«Как говорят друзья американцы, никогда не знаешь в которую сторону кошка прыгнет».

«Да неужели?... Значит кошки везде одинаковые?... И коты тоже!»

Их глаза встретились. Ольга продолжала решительно: «Горка, нечего нам волынку тянуть! Что случилось? Казалось бы ты должен быть доволен таким прибавлением к своей коллекции!»

Очевидный сарказм ее слов был как пощечина. «Ольга, мы старые друзья, но всему есть предел!»

«Да, всему есть предел! Игорь Волгин, была бы я мужчиной, котлетку бы сделала из твоей морды за то что ты сделал с Надей! Шутка шуткой, но она не из таких. Я предупреждала тебя... Чего ты на меня глаза пялишь?»

«Ольга, о чем ты говоришь?»

«Нечего комедию ломать! Ты думаешь я слепая дура? Не догадалась, что ваши свидания не просто экскурсии по историческим местам?... Но я не знала, что зашло так далеко... до вчерашней ночи. Я ведь слышала как вы пели... А этот сенсационный танец с Лукичем — ты что же думаешь Надя исполнила его по желанию публики?... И еще кое-что знаю, чего тебе и в голову не придет. Потому, что ты ничем кроме себя не интересуешься...?

Выражение его лица остановило ее возрастающий гнев. «Горка, что случилось?... Ведь это я не из любопытства. Мы все друзья... Если что нибудь надо сделать...»

«Ничего не надо делать. Ничего не случилось. Совершенно ничего! Невероятно, но факт...

«Даю слово», он закончил, видя недоверие на ее лице. «Ты знаешь я не стал бы тебе врать в таком деле... Да и зачем?»

«Горка, да ведь это же невозможно! Что то должно было случиться... Ты конечно не знаешь, но вчера — или вернее сегодня утром — она вернулась сама не своя. Ничего не сказала, конечно, но я-то вижу... Ты ей сказал что-нибудь?»

«Ничего не сказал».

Она повторила медленно, «Ничего не сказал... Чем же ты думал? Неужели не сообразил, что не сказав ничего, ты сказал больше чем нужно? Господи, какие дураки мужчины!... И какие дуры мы, бабы, что связываемся!»

Игорь поднялся. «Раз начали, так закончим!... Да, что то случилось... Что именно — может ты объяснишь...

Мне необходимо с кем нибудь поговорить и я не знаю лучшего специалиста чем ты». Он шагал взад и вперед, ероша волосы. «Конечно, ты права насчет коллекции... Посуди сама — разве возможно было удержаться... Но вдруг что-то случилось... На той вечеринке... Когда я узнал, что она училась в Москве... жила на Малой Бронной, недалеко от меня... И с тех пор вообще ни о чем не думал... Просто был счастлив, как теленок... До вчерашнего дня, когда Иван Иваныч объявил об отъезде... Я ничего не сказал Наде потому, что не знал что сказать... Все случилось как-то неожиданно, глупо!»

Он говорил быстро, в возрастающем волнении. Ольга тоже встала. Он остановился перед ней и взял ее за руки. «Выручай, Ольга!... Это и есть любовь? А если так, что же дальше? Я не хочу уезжать и боюсь остаться... Не за себя боюсь — понимаешь?»

«Ради Бога, Горка! Ты мне руки переломаешь!»

Он отпустил ее, почти упал в кресло и закрыл лицо руками. Ольга смотрела на него с неподдельным изумлением. «Горка, ты ли это? Вот уж никогда бы не поверила! Впрочем поздравляю — вкус у тебя хороший. Не знаю Надю поздравлять-ли. Вот уж действительно подцепила молодца... Ну, что же теперь будем делать?»

Он сел прямо, пригладил волосы, закурил и заговорил в обычном легком тоне. «Прежде всего необходимо выяснить полагается ли мертвым душам влюбляться?»

Ольга топнула в новом приступе гнева. «Горка, иногда просто хочется тебя задушить! Неужели тебе еще не надоело играть в живые трупы? Мы все вышли живыми чудом и не хвастаемся. Но тебе похоже роль понравилась — романтическая фигура не от мира сего... Какая идиотская фантазия! Как же можно жить воображая себя мертвым!»

«Интересный психологический вопрос, не правдали?» Он опять поднялся и стоял перед ней с новым и странным выражением. «Ольга, я вероятно слегка зарапортовался насчет мертвых душ. Но имей в виду, есть такие... Да, действительно, мы все уцелели чудом. Но ты войди в мое положение. Как и большинство, я бывал под всяким огнем — и пулеметным и артиллерийским. Но ведь весь этот товар только летел в мою сторону, а не предназначался специально для меня. Всегда был какой-то статистический шанс... А вот когда два гаврика с красными повязками на рукаве ведут тебя на место уготованное сидеванам, [1]) тут уж статистика не действует... И вот

[1]) Ci-devant, бывший, покойный.

идешь... Улица знакомая и дома знакомые... Смотришь на них, а они чужие... Вернее ты чужой, больше не принадлежишь... Неописуемое чувство. Человек смотрит на себя и видит сидевана... Ты не подумай, что напрашиваюсь на жалость — вот дескать какой несчастненький... Дело прошлое. А теперь все переварилось — и далеко не неприятно. Вроде такой халтурной нирваны. Зачем беспокоиться? Бери что поближе да подоступнее, а там видно будет... Теперь скажи откровенно — имеют-ли такие сидеваны право на любовь?»

Вместо ответа Ольга обняла и поцеловала его. «Ты, дубина стоеросовая! Нельзя и сердиться на тебя, когда ты так смотришь... Нечего тебе об этом распространяться — я и сама знаю. Иногда придет в голову ни с того ни с сего: зачем все это?... Капитусь тоже, когда подвыпьет, ходит мрачный и твердит, Мы живем на казенное время. И действительно ли живем, или только так думаем?... Ужасно, что война и революция сделали с нами! И вы, мужчины, искалечены еще больше чем мы, женщины... Но нужно как-то изворачиваться. Нельзя же просто ноги вытянуть и ждать пока не решим живы мы или мертвы... Вот нам надо Колю ростить... Может если бы и у тебя кто нибудь был...»

«Ведь мы не сразу в Америку...» перебил он, угадывая, что она скажет. Она перебила его в свою очередь, тоже угадывая его мысль, «Не знаю, Горка... Может быть ты и прав... Подумай, реши... Но имей в виду, ты не один решаешь. Уедешь — можешь упустить шанс, который дается только раз в жизни! Я тебе скажу, если сам уже не догадался, если Надя согласится взять тебя, лучшей тебе и не найти».

Он усмехнулся. «Ты что же — стараешься отговорить меня от единственного порядочного поступка за эти годы?... Мне пора. Спасибо за все. Скажи Наде... Реши сама что сказать. Поцелуй Капитуся за меня». Он поцеловал ее руку. Она обняла его. «...Горка!» окликнула она когда он был уже в дверях. Он оглянулся. «Горка, ведь ты не знал, что Нади не будет дома. Значит хотел что-то ей сказать... Что если ты ее встретишь на лестнице?»

«Хитрый вопрос! Все может случиться. Удивительные вещи могут случиться. Угадай сама».

Стих Второй.

17.

Официальный глашатай небольшого Эльзасского городка, прыткий старичек в полинялой форменной фуражке неопределенного цвета, маршировал вдоль Rue de la Victoire, с барабаном подвешенным через плечо. Дойдя до памятника героям войны посреди Place de la Victoire, он остановился, поправил барабан, исполнил длинный и трескучий бой и объявил высоким надтреснутым голосом — всем кому это касается — что знаменитый русский казачий хор выступит сегодня в театре Одеон в своих песнях и танцах, по общедоступным ценам. Он это объявил три раза, как полагается по закону, и замаршировал дальше. Вскоре барабанный бой послышался несколько кварталов дальше.

Глашатай, почтенный анахронизм, не сообщал горожанам ничего нового. Афиши на всех заборах давно уже объявляли небывалое событие. Кроме того, все уже видели и самих казаков в их экзотических костюмах, прогуливающихся по-одиночке и парами — хитрая стратегия придуманная Иваном Иванычем еще в Сербии.

Кирюша, второй тенор, вышел из единственной гостинницы в городе, обычно пустовавшей, но теперь целиком занятой казаками. Он зажмурился от солнца, потом его вечно-удивленные брови над круглыми глазами поднялись еще выше. Добрый воздух в Эльзасе! Куда лучше чем в Париже! В виду того, что рекламный наряд не предписывал кому и куда идти, Кирюша пошел прямо и скоро дошел до памятника героям. Бронзовый солдат на пьедестале очевидно шел в штыковую атаку. Кирюша обошел вокруг памятника и остановился против надписи большими буквами. Он разбирал по-складам: DOLCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI. Кирюша понял только одно слово, patria, которое он знал с Италии, и решил, что вот родина почтила своих защитников. Он пробежал глазами по длинному списку иностранных имен под надписью... Много и во Франции народу побили! Полковник

рассказывал, что за эти самые места французы и немцы бились споконь века... Кирюше пришло в голову, что хорошо-бы поставить вот такой-же памятник в станице — всем станичникам сложившим головы в эту и все прежние войны!... Казак на коне, с саблей... Однако он сейчасже увидел все трудности сопряженные с таким предприятием. Новая власть едва-ли разрешит памятники защитникам старого режима. Да наверное им там дома не до памятников! Говорят колокола на медь переливают. Вот французы, хотя и потерпели, а войну выйграли. Вот и празднуют и памятники ставят. А русские, хотя и потерпели не меньше всех, ничего не выиграли, а стали промеж-собой воевать! Глядя на французский памятник, Кирюше стало обидно — почему-же русские такие невезучие? Он отвернулся от памятника и пошел дальше. Скоро он дошел до последнего дома, где улица продолжалась большой дорогой. Он пошел обратно и квартала через два свернул в другую улицу, прохладную в тени лип, с травой пробивающейся между аспидных плит. Прошел мимо кладбища с маленькими трехцветными флажками на многих могилах — вероятно тех, чьи имена он видел на памятнике. Скоро и эта улица окончилась — в аллее вишневых деревьев с зреющими ягодами. За деревьями раскинулись холмистые поля Эльзаса разбитые на прямоугольники пашен и лугов с беленькими фермами там и здесь. Стадо коров паслось на зеленом склоне. Позвякивание их колокольчиков не нарушало а оттеняло тишину в которой кудрявые облака шли по чистому синему небу.

Кирюша закрыл глаза и вздохнул полной грудью. Когда он взглянул опять, его сердце остановилось, потом забилось быстрее. Эта куща вишень у пруда внизу — точь-в-точь, как дома за станицей! Даже коровы пьют из пруда, как дома! Кирюша улыбнулся — но с такой-же внезапностью сердце сжалось и заболело. То, да не то! Нет холмов около станицы, — одна степь, куда глаза глядят... Степь да небо, да снежные шапки Кавказа видные в ясный день...

Он опустился по тропинке к пруду. В тени вишень он снял черкеску и сапоги и растянулся на животе, положив голову на скрещенные руки. Почти физическая боль охватила его... Чтобы два места были так похожи и так далеки одно от другого! И земля и трава пахли так-же, как дома... Анисья встречала его здесь до того, как они поженились... И хата на другом конце станицы... Он видел родную хату во всех знакомых подробностях. Батько, упрямый казак, верно хвастается, что он и сам управит-

ся с хозяйством, пока сын не вернется из-за границы. В такую погоду он возьмет волов и внука — Кирюшиного сына — и погонит в степь. А он, Кирюша, валяется здесь на брюхе!...

Легкая жизнь с хором не казалась странной в Париже, где люди бродят по улицам день и ночь, без особенного дела. В этих маленьких городках среди тучных полей, безделье было не отдых от работы, а вечное пустое времяпровождение. Два часа концерта — не работа. Иногда Маэстро Антоныч, рассердившись на какую-нибудь ошибку, назначал спевку. В остальное время, казаки спали до одурения, приводя в отчаяние горничных, которым нужно было убирать комнаты. Гуляли по городу, заходили в кофейные играть на биллиарде или играли дома в трынку. Или вообще ничего не делали в ожидании обеда или ужина. За столом Дуля обычно объявлял: «Хороший нашел змеятник. Дивчата, ум-м!» У Дули была удивительная способность находить местные увеселительные дома, которые казаки живописно называли змеятниками, сейчас-же после прибытия в город. Тем более удивительная, что Дулин запас французских слов был не больше, чем у Вафли...

Шорох заставил Кирюшу поднять голову. Волгин стоял над ним, тоже одетый для рекламного наряду. Кирюша ожидал, что Волгин будет смеяться над ним, растянувшимся здесь босым. Вместе с большинством казаков, он считал нового хориста хорошим малым. Компанейский и ученостью не задается! Кирюша однако подозревал, что со всей ученостью Волгину не отличить овсов от пшеницы.

«Разбудил вас, Кирюша?» спросил Волгин. Он снял черкеску, сел и стал снимать чувяки и ноговицы. «Давно уж не ступал на траву босыми ногами...»

«И я тоже», ответил Кирюша, довольный, что Волгин не смеется над ним. Волгин достал портсигар, протянул его Кирюше. Они оба закурили. Струйки дыма вились между листьями.

«Подходящая жизнь в хоре», заметил Волгин.

«Да, легкая жизнь», согласился Кирюша.

Они лежали молча. Игорь услышал, что Кирюша подпевал что-то про себя. Он узнал Зозулю из хорового репертуара. Он пристроился и они запели вполголоса:

«Ой повий, повий, буйнесенький витре, понад морем.
Вынеси нас из кайданив з неволи в чистое поле.
Тай понеси на Вкраину.

А на Вкраини там солнечко сяде,
Казацво гуляе, гуляе и нас выглядае...»

«Некому теноровое соло петь», сказал Кирюша. «Хороший дух здесь, как в степи в эту пору. Да и облака идут с востоку, с нашей стороны. Может витер подхватил там и принес сюда».

«Далеко отсюда до наших степей», сказал Игорь.

«Далеко. Гор по пути тоже много. Горы витра не пропустят».

Опять они лежали молча, докуривая папиросы. «Какие вести из станицы?» спросил Игорь.

«Так вот такое дело — нет писем! Два письма написал, а ответа нет. Не знаю, что и думать... Може случилось что. Газеты пишут, что всех сгоняют в разные колхозы. Держу пари, батько упрется як пень, а до колхозу не пойдет... У вас остался кто дома?»

«Отец и мать. Не знаю, как они там и писать боюсь. Я попал в восстание в нашем городе. Две недели держались. Половина города сгорела. В нашей квартире полстены снарядом вышибло».

Кирюша бросил окурок и теперь жевал травинку. «Да, у каждого свое. Чудно как подумаешь. Сначала с немцем бились, а опосля промеж собой. Атаманы и старики объясняли надо опять идти, землю защищать от красных... Вот и довоевались. Землю раззорили, народу поубивали, а мы по заграницах болтаемся, как дерьмо в проруби». Он сорвал другую травинку. «Хлопцы все еще разговаривают, дивлятся як-же все оно случилось. Аж до самой Тулы дошли, до Москвы рукой подать. До дому все собирались... А вдруг отступать начали, да так до самой Турции и отступили. Едва ноги вынесли. Кто говорит, генералы промежду собой не поладили. И которые богатые помещики хотели все обратно повернуть... Правда, земля в России неважнецкая. Не такая, как у нас. И живут не так богато, а есть деревни и вовсе бедные, не как наши станицы. Говорят, рабочие по городам тоже неважно жили... Может им революция и нужна, а нам ни к чему. ...Вот царя ссадили с престола, свободу объявили и сразу промежду собой передрались. Все за свободу, а друг дружку бьют... Я не знаю... Народу тоже много давать свободы нельзя. Каждый думает по своему и хочет делать по своему и обязательно будет драка... Я помню в одном месте разбили винный склад. И казаки и солдаты перепились и чуть друг дружку не перестреляли... Вот и опьянел народ от свободы... А без хозяина нельзя. Треба порядок установить...»

Кирюша помолчал, жуя травинку. «...А я соби думаю, не лучше-ли было-бы всем согласиться на революцию и не драться. Хуже-бы чем сейчас не было-бы... По крайности были-бы дома. А вы як думаете?»

Игорь знал, что бесполезно говорить о диалектике с казаком у которого одна думка была о станице, родной хате, семье и хозяйстве. Кто в жизни не слышал о Гегеле, а о Карле Марксе знал только как о Карле-Марле — вроде сказочного колдуна напустившего злой наговор на Россию. И никакие штуки по этому поводу не были уместны. Кирюше очевидно было не до шуток. Поэтому Игорь ответил просто: «Мы исполнили свой долг, Кирюша. Мы воевали не из корысти, и не из-за власти, а думали, что так надо. Если мы ошиблись, нам это в грех не поставится».

«Так вот уже и поставилось», сказал Кирюша — так же просто, без обиды. «Они там дома, а мы здесь».

Опять они лежали молча, следя за плывущими облаками. «...А мы не думали, что вы уедете с нами из Парижа», Кирюша неожиданно перешел на другую тему. «Так и порешили, что останетесь из-за этой Нади. Иван Иваныч и Маэстро сильно беспокоились. Иван Иваныч все говорил. Вот не везет с басами. Уже для всякого случая сговорился с прежним басом, которого уволили... Я не знаю... Ежели-бы холостой был и язык знал, как вы, может остался-бы в Париже из-за такой, как Надя. Всем взяла, и говорить нечего. Не такая, как те две шлюхи Бобо и Китти».

Игорь промолчал, надеясь, что Кирюша не будет дальше распространяться о достоинствах Нади. Он знал, что молодой казак говорил не в обиду, а по простоте. За два года совместной жизни, хористы узнали все обстоятельства каждого и свободно обсуждали самые интимные подробности своих и чужих любовных похождений.

«Ось бачь — сотник Коваль!» вдруг сказал Кирюша. Оглянувшись, Игорь увидел сотника медленно ковыляющего вдоль вишневой аллеи. Вопреки приказу, он был без черкески, с кабардинкой на голове вместо белой папахи. Иногда он взмахивал палкой и ударял что-то на дороге — вероятно камешек. Дойдя до конца аллеи, он остановился, сняв шапку стоял неподвижно — темный силуэт на фоне голубого неба, в рамке зеленых листьев. Коваль был один, как всегда. Полковник и Маэстро были единственные с кем он был в хороших отношениях. На остальных он большей частью не обращал внимания. Как и все в хоре, Игорь знал, что Коваль часто пьянствовал — всегда после концерта, но не буянил и скоро шел спать.

С Игорем он не разговаривал без крайней необходимости — был преувеличенно вежлив когда выпивши — и презрительно ухмылялся в тех редких случаях, когда они встречались и он был пьян...

Коваль начал осторожно спускаться по тропинке к пруду. Внезапно он повернулся, с трудом поднялся к дороге и заковылял к городу.

«Держу пари он увидел нас и утек як бис от ладана», сказал Кирюша. «Пропащий человек. Вот так и держим, больше из жалости. Голос, правда, еще остался — да не такой, как раньше. Я стою рядом с ним — слышу... А похоже был кавалер, коли Надя гуляла с ним в Москве... Много людей поискалечили. Я себе думаю, что лучше уж сразу убитому быть, чем так...»

Игорь опять промолчал. Ни Кирюша ни кто другой из хора не подозревал, что они возможно должны были-бы благодарить сотника Коваля за то, что новый бас Волгин не остался в Париже. А бас Волгин, со своей стороны удивлялся: как же это случилось, что совершенно чужой человек, полукалека — физический и повидимому душевный — вдруг вошел в его жизнь. Незванный и нежеланный гость от которого никак нельзя отделаться. Игорь вспоминал все случаи, когда одного слова, намека, даже взгляда было довольно, чтобы Коваль встал между ним и Надей — и признанье, часто полушуточное, но всегда очевидное — оставалось невысказанным. И в тот решительный час, если-бы Надя не ушла на прогулку с Ковалем...

...Белые копны облаков плыли в голубой вышине. Их неторопливый ход всегда напоминал Лермонтовский стих:

«...Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.»

Гимназический учитель русского языка, Нил Григорьевич, объяснял, что красочность этих строк была достигнута метафорическим оборотом речи. Что кроме метафоры есть еще синекдоха и метонимия. Игорь пытался вспомнить — прилагается ли которая-нибудь из них к следующей строфе:

«Час разлуки, час свиданья
Им ни радость ни печаль.
Им в грядущем нет желанья,
Им прошедшего не жаль.»

Гимназист Игорь Волгин, зубривший эти стихи, не видел в них ничего кроме урока к завтрашнему дню. Их полный смысл открылся после, когда белогвардеец поручик Волгин улучал несколько часов прилечь в тени и глядеть вот в такое-же голубое небо Украйны — пока не засыпал от усталости. Когда тот-же Игорь Волгин, теперь артист и цыганский певец, халтурил с бродячими труппами и уходил гулять за город где всегда была какая-нибудь роща или парк... Облака везде были все те-же. Неторопливые. Бесстрастные. Такие-же самые облака плыли над дымящимися кварталами его города в такой-же летний день, когда белогвардейское восстание было подавлено и революционное правосудие было коротко и безапелляционно — расстрел! Он никогда не забудет как случайно взглянул на эти облака — и мысль неопровержимая в своей простоте и холодной логике промелькнула в голове: через полчаса его уже не будет, а облака все также будут плыть в этом синем небе...

Таково было послание летних облаков и Лермонтовского стиха, которое они вдохновили: Великое Равнодушие царит в мире. И тот кто стремится к далекой цели, и тот кто протягивает руку только к ближайшему — облака бросают свою тень на обоих и нет одному предпочтения перед другим...

Много облаков проплыло над ним с тех пор. И унесло с собой безмолвный холод небытия, который уже спускался на него в тот летний день. В безмолвии этих облаков в голубом небе Эльзаса был призыв к забвению, к отчуждению от всего... Без сожаления о прошлом... о разбитой жизни... разбитой семье... разбитой родине... Как эти облака, родные лица выплывали из тумана памяти, и уходили опять... Последний долгий взгляд мамы... Быстрый жест отца, смахивающего слезу... Светлый образ Нади в пурпурном свете прожектора... Он собирался вернуться в Париж каждый день в первые две недели после отъезда. Но не вернулся и не написал Наде. К тому времени Ольга уже конечно сказала ей все... И нехорошо оставить казаков, которые взяли его на слово и которым он был нужен... Нужно их предупредить. Иван Иваныч опять будет жаловаться: Беда с басами..,

Как дни шли один за другим, образ Нади оставался светлым... как чудный сон...

Да, это был сон! Ему приснилось, что он опять студент в Москве, где он встретил курсистку Надю Кирину. Он влюбился в нее. Это было необыкновенное чувство, подобного которому он не испытывал ни раньше ни после... Потом проснулся — к хору, Щелкунчику, комна-

те Петрова с неприкрытой нищетой, квартире Парских с нищетой прикрашенной турецкими шалями. К сознанию, что он один из тысяч русских в рассеянии. Не как эти облака, они живут в прошлом и в будущем. Надеясь на что-то неизвестное, которое обязательно должно случиться. Настоящее не считается. Его нужно только как нибудь прожить. В нем не было ни смысла ни цели. И смысл и цель остались там, в России. А без них ничего не оставалось кроме как быть как эти облака... Китти и Бобо выражали это своими собственными словами, с удивительным единодушием, как будто сговорившись, когда он провожал одну или другую домой из монмартрских кабаков. Отдыхая с папиросой между двух порывов страсти, обе были очень разговорчивы. «...Горка, ты свой человек, знаешь что к чему. С тобой и поговорить можно... Корявая наша бабья жизнь. Болтаешься день за днем и все ни к чему. К пьянству гонит. Замуж пора-бы, хозяйство вести, детишек нянчить... Да какие-же женихи на Монмартре? Одна халтура... Ну, может еще посчастливится. А пока одно удовольствие — поваляться вот так с хорошеньким парнишкой...»

«...Как оно там, Игорь Петрович, есть какие шанцы, что скоро звертаемся до дому?» он услышал Кирюшин голос.

«Кто его знает, Кирюша... Пока-что не видать».

«Вы-же хранцюзськие газеты читаете. Що воны пишут?»

«Больше про свое пишут. Некоторые думают, что советам не удержаться. Другие — что так и останутся. Никто ни черта не знает».

Кирюша промолчал, потом спросил, «Что-же, пропадать нам на чужой стороне?»

«Зачем пропадать? Как-нибудь проживем».

«Да рази це жизнь?» Кирюша воскликнул с сердцем. «Кочуем с места на место, как некрещеные цыгане! Народ глаза пялит точно ты двухголовый теленок... Иду раз по улице — мальченок играет. На меня взглянул, закричал, до дому побежал. Женщина вышла, на меня так строго взглянула. Может думала обидел я мальчонка... Ежелибы в России, остановился-бы, поговорил, мальчонку копейку-бы дал на канфетку. Мальченок похоже с моим одногодник... А здесь что? Вот в такой день надо-бы по хозяйству работать, а я здесь на брюхе валяюсь... Что вы знаете, вот цей пруд и вишни точ-в-точ как у нас в станице... Жена у меня там... сын. К своим хочу... поговорить... послухать що воны кажут...»

Он остановился. Уголком глаза Игорь видел как Кирюша отвернулся, достал платок. Высморкавшись несколько раз, он опять повернулся и лег на спину. «...Одна подмога — концерт. Чудно, как оно делается легче после концерта».

«Да», согласился Игорь.

«Так нельзя-же петь всю жизнь», продолжал Кирюша. «Уже и мест не хватит куда ехать... В Америку собираемся. Еще дальше от дома... Ездим, ездим, а рассказать некому...»

Он сорвал новую травинку. «...Вот бывало дома послухаешь про заграницу и подумаешь как оно там в загранице? А вот теперь и сам по заграницам езжу. И язык не наш и порядки не наши. А народ живет как дома. Я соби думаю, вот возьми такого хранцюза або итальянца, привези в Россию, научи по-русски, и будет он себе ходить по своим делам, как и все. И не отличишь. Как Дуля в своем цивильном... Никто и внимания не обращает».

Он дожевал и выплюнул травинку. «...Я спрашивал полковника. Говорит надеется вернуться, а только я вижу, что и он точно не знает... Ну, коли-ежели образованные люди не знают... Вот письмо получить-бы. Нет письма.»

После долгого молчания Кирюша приподнялся и взглянул на солнце. «Ужинать скоро, а там и на концерт собираться. Лучше пойдемте до гостинницы».

Они сели и стали обуваться.

18.

Четырнадцатое июля, день Бастилии, застал хор в курортном городке в предгорьях Юры. Было объявлено, что два концерта будут даны на открытом воздухе, с эстрады Jardin de Casino. А пока-что, казаки возбуждали любопытство праздничной толпы на небольшой ярмарке на Площади Победы и смотрели на парад ветеранов войны и местного спортивного общества. Играла музыка, дома были увешаны национальными флагами и разноцветные пузыри взвивались над толпой.

После парада Игорь медленно пробрался в парк. Он нашел свободную скамейку под тенистым деревом в дальнем углу. Перед ним расстилалась зелень всех оттенков — от золотистой на залитых солнцем лужках до темной в густой тени. Группы горожан двигались по дорожкам, яркими цветными пятнами, скучиваясь около скамеек и на лугу . Маленькая рыжая собаченка металась задрав хвост от одной группы к другой.

Музыка на Площади Победы играла что-то знакомое. Прислушавшись, Игорь узнал Рондо из Корневильских Колоколов — песню авантюриста Генри:

«...Немки, Испанки и Итальянки
И Англичанки — словом весь мир
Любовь дарили, счастье сулили,
Боготворили как свой кумир.»

Он подсвистывал бравурный напев. И вдруг его охватило — в первый раз после Парижа — то чудесное и редкое чувство, случайная награда его бродячей жизни. Всеобъемлющая радость жизни — когда тело внезапно становится легким, готовым воспрянуть в сознании силы, полной свободы, независимости ни от кого и от ничего... Завтра все эти мещане вернутся в свои лавочки, конторы, кухни. А он пойдет дальше, куда придется, но все вперед к новому, неизвестному...

Его внимание было привлечено белой папахой и красной черкеской поблескивающей на солнце золотым позументом. Он скоро узнал Дулины солидные контуры. Кроме того он видел, что Дуля держался на небольшом расстоянии позади двух девиц. Очевидно Дуля сочетал полезное с приятным. Несмотря на свое предпочтение к земятникам, Дуля никогда не пропускал случая воспользоваться как он называл «свободной любовью».

Барышни, брюнетка и блондинка, повидимому не подозревали преследования. Проходя мимо Игоря, обе скромно опустили головы с равнодушным видом, который женщины иногда принимают по своим собственным соображениям. Пройдя несколько шагов, брюнетка оглянулась. Игорь приложил руку к папахе. Брюнетка быстро отвернулась. Обе девицы заняли свободную скамейку неподалеку.

«Подходящие козявочки», сказал Дуля, плюхнувшись рядом с ним. «Ну, пошли?»

Игорь колебался. Брюнетка была недурна, но Дулина политика была тоже ясна: ему нужен был переводчик... «Идите пока один. Я подожду здесь немного».

«Побойтесь Бога, Игорь Петрович! Чего-же ждать? Поглядите, оне вон там сидят, волнуются. Держу пари, оне как узнали, что казаки в городе, то сейчас-же и причипурились. Держу пари, что им местные силы надоели и им охота казаков попробовать».

Игорь решил, что от Дули отделаться никак нельзя, когда он увидел что-то, что делало Дулино предложение совершенно невыполнимым. Маэстро Антоныч, Полков-

ник и сотник Коваль вошли в парк и медленно приближались к его скамейке. Встреча с Ковалем была не особенно приятна в любых обстоятельствах, а тем более в компании с Дулей и двумя француженками. Его отношения с Ковалем не улучшились с течением времени. Как будто-бы по молчаливому согласию, они избегали друг друга. Теперь Игорь хотел уйти из парка, но уже было поздно.

«Да идемте-же, Игорь Петрович», настаивал Дуля. «Не интеллигентно заставлять их ждать. Да вон там и начальство идет».

«Я собирался домой».

«Так какой-же вы к чорту секретарь!» вспылил Дуля. «Как собака на сене — ни себе ни людям!... Ну, я и сам справлюсь!» Он поправил высокий воротник бешмета и поднялся. Игорь наблюдал с интересом как он остановился перед девицами, козырнул и подсел к блондинке. Оживленно жестикулируя, он очевидно извлекал все что можно из своего знания французского языка — только немного превосходившего Вафлины пятьдесят слов. Брюнетка повернулась и улыбнулась Игорю.

«Хорошее место выбрали, Игорь Петрович», сказал Полковник. Игорь подвинулся чтобы дать им место. «Посидим пока до обеда. Что-же это вы оставили Дулю одного с двумя барышнями?»

«Да он, похоже, и сам разворачивается», ответил Игорь.

«Удивительное дело», продолжал Полковник. «Ни один из этих орлов не знает никакого языка, а как в каком городе остановимся больше чем на один день, то половина уже заведут амуры».

«Лукич говорит, что против черкески никакая не устоит», сказал Игорь.

Маэстро откашлялся и вытер рот платком. «Одно сказать насчет этого турнэ по Франции: мы не разбогатеем, но хлопцам жизнь хорошая. Да и воздух лучше, чем в Париже».

«Прекрасные места», согласился Полковник. «Как у нас в предгорьях. Дороги здесь, правда, лучше. А вот гарбузов не вижу чтобы ростили».

«Хорошие гарбузы на нашей стороне», подтвердил Маэстро. «Вот сейчас запустить-бы зубы в такой».

Полковник достал из кармана замшевый мешочек и вынул массивные часы. Стрелки показывали четверть второго. «Четверть двенадцатого. Вот посидим да и пойдем обедать».

Полковниковы часы, кроме аккуратности, были заме-

чательны во многих других отношениях. Александр Третий пожаловал их отцу Полковника. Они были из червонного золота, с царским портретом на циферблате, императорским вензелем на одной крышке и двуглавым орлом на другой. В эмиграции Полковнику приходилось часто переставлять часы по различным местным временам. По его мнению, это было вредно для механизма. Наконец он додумался поставить часы на Петроградское время. Тогда ему оставалось только запомнить разницу между его часами и вокзальными того города куда он приехал.

«Идут без починки. В Париже решил отдать их почистить. Так можете себе представить, часовщик — еврей из Могилева — не хотел денег брать. Говорит, это одно удовольствие работать на таких прекрасных часах. Таких, говорит, уже больше не делают».

«Да, конечно, не с царским портретом», неожиданно сказал Коваль. «Если они там вообще какие часы делают, то вероятно с портретом Ленина или Карла Маркса. Ленин-то конечно бородой не щеголяет, а вот у Маркса пушистая, почище царской. Весь циферблат займет... Я вот смотрю на этих буржуев. Революцию празднуют! Держу пари, если-бы эта революция случилась сейчас, они разбежались-бы кто куда и кричали почему полиция не прекратит беспорядки».

«Да, два-три грузовика наших матросов показали-бы им революцию», согласился Маэстро. «Интересно, будут-ли праздновать нашу революцию через сто лет».

«Мы ее и сами отпраздновали», сказал Полковник с некоторой сухостью. «Всю красную материю извели на знамена. Помните, как эшелоны отправлялись на фронт с музыкой, торжественными речами, с красными знаменами возглашающими, «Война до победного конца» и «Слава революционному солдату». А на фронт одни знамена прибывали в пустых вагонах, а солдаты революции все по домам разбежались. Мы праздновали, а большевики нам могилу копали. И теперь они собственную революцию празднуют, а нам на чужом пиру похмелье».

«Как ни крути, революцию лучше праздновать, чем устраивать» сказал Игорь. «Нам нужно было-бы родиться или на пятьдесят лет раньше, когда революция сидела еще в подполье, или на пятьдесят лет позже, когда она вероятно утихомирится. А мы попали как-раз во время — к чорту на рога».

После небольшого перерыва музыка теперь играла «Каменный Остров». За тоскливым голосом труб слышался прибой волн, шелест хвойных ветвей, тишина севе-

ра. И зов прошлого, неотвратимый и непреодолимый...

«...Каменный Остров», медленно промолвил Полковник. «Хорошее было место... Море... рестораны... белые ночи...»

«Белые ночи отменены при красном режиме, Полковник. Их переименовали в пролетарские ночи», сказал Коваль.

Полковник усмехнулся в длинный ус. «Возможно». Он опять посмотрел на часы и поднялся. Остальные поднялись за ним. Они не успели сделать и двух шагов как Дулин голос остановил их. Дуля подбежал и ухватил Игоря за рукав. «Куда-же вы, Игорь Петрович? Дивчата тарахтят что-то. Спрашивают. А я ни черта не понимаю. А Жанета, черненькая, сильно на вас заволновалась. Пойдемте узнайте чего они там спрашивают».

Полковник и Маэстро смотрели на Игоря, готовые рассмеяться. Коваль смотрел в сторону с деланным равнодушием. «Обязательно идите», сказал Полковник. «Несомненно барышни хотят сообщить ему что-то очень важное».

Отчасти довольный избавиться от Коваля, Игорь кивнул и последовал за Дулей. Остановившись перед скамейкой, он козырнул, «Mesdemoiselles, bon jour. Mademoiselle Jeanette, очень приятно познакомиться».

Брюнетка открыла глаза в преувеличенном удивлении. «Monsieur знает мое имя? Monsieur несомненно кудесник, n'est-ce-pas?»

Monsieur согласился, что при подходящих обстоятельствах он способен предсказать прошедшее, настоящее и будущее. Особенно будущее. Брюнетка, довольная ответом, с готовностью засмеялась. Вблизи она оказалась еще лучше. Тонкие черты, смелые светлые глаза... напоминающие Надины в последний вечер в Щелкунчике.

«...Мы старались сказать вашему другу, что ваши костюмы замечательно красивы, но уж страшно заметны. Завтра весь город узнает, что мы гуляли с казаками».

«Eh, bien, по счастливой случайности, мой приятель только что купил штатский костюм».

«Ah, c'est joli, ca [1])... У вас тоже есть штатский костюм?»

«Только для особо приятных оказий, как эта. Если сегодня вечером вы будете в павильоне, я вам достану контрамарки на концерт. А после концерта мы с приятелем быстро превратимся в порядочных и незаметных граждан и опять встретим вас в павильоне».

---

[1]) Ах, это очень мило.

Она смотрела на него с лукавой улыбкой. «Вы предсказываете все эти события?»

«Не все, а только часть. Остальное, если хотите, расскажу после. Ca va?»

Она молча кивнула головой.

«Alors, мы вас не будем больше подвергать городским сплетням. Дуля, идемте обедать. Дело в шляпе. Я расскажу по дороге... A ce soir, [2]) Mesdemoiselles. В павильоне».

«A ce soir, Messieurs».

Павильон был еще полон когда Игорь и Дуля вернулись, быстро переодевшись в гостиннице. Игорь заметил по глазам Жанэты, что она была довольна превращением Monsieur Igor замечательно хорошо пел».

«По специальному вдохновению».

Блондинка Yvette тоже улыбалась, но не с таким энтузиазмом. В помятом костюме, только что из чемодана, и уже с пятном на отвороте, Дуля был похож на приказчика из бакалейной.

Они нашли столик и заказали пива. Как и все иностранцы, Жанэт и Ивэт очень интересовались казаками. Откуда они и куда едут? Правда-ли, что в России всегда холодно? Правда-ли, что медведи ходят по улицам? А как казачки — красивые или нет?

На шаблонные вопросы у Игоря были давно заученные ответы... В России иногда бывает тепло так, что можно гулять в одной шубе вместо двух... Да, действительно, у многих русских семейств есть ручные медведи и они бегают по улицам остриженные под пуделей... А казачки все очень хорошенькие. И Жанэт и Ивэт легко могут сойти за казачек...

Обе девушки смеялись. Дуля поддерживая постоянную улыбку и иногда вставлял, «вуй, вуй, комса... Вот угораздило-же вас, Игорь Петрович!... Мне бы хоть половину вашего знать по-французски». Игорь скоро разузнал, что Жанэт и Ивэт были портнихи в местном Salon des Modes. Жанэт жаловалась, что в городе скучно. Что ей хотелось-бы уехать в Париж, но папа был против этого.

Игорь предложил пройтись по парку. «Идите с Иветтой вперед, Дуля. И старайтесь изо всей силы». Пройдя несколько шагов, Игорь и Жанэт повернули на боковую дорожку. Жанэт не протеставала. Они шли медленно в туннеле листьев. Яркий конец папиросы освещал только струйки дыма теряющиеся в темноте. Прижимая

---

[2]) До вечера.

локоть Жанэт ближе к себе; Игорь опять чувствовал ту знакомую волну всплеснувшую его под звуки вальса Рондо из Корнэвильских Колоколов...

«Как странно», сказала Жанэт. «Я знаю этот парк вдоль и поперек. А вот ночью он кажется совсем другой. Даже таинственный».

«Таинство ночи. Она раскидывает свое покрывало над миром. Чтобы таких как мы не беспокоило то, что они не хотят видеть. Чтобы видеть только то, что мы хотим».

«Вы поэт... Что-же вам например хочется видеть?»

Он обнял ее. «Очень мало. И очень много. Одну тебя».

В темноте он слышал ее короткий, нервный смех. Повидимому хорошо знакомая с парком, она направляла его, пропуская одни дорожки и сворачивая в другие, пока они наконец различили скамейку едва видимую в дрожащих нитях света от далекого фонаря. Они сели. Игорь дал щелчок окурку: он описал дугу, ударился о сучек и упал дождем искр. Они горели в траве, как гнездо светлячков. Когда исчезла последняя светлая точка, Игорь приподнял лицо Жанэт и поцеловал ее. Она вздохнула и положила голову ему на грудь.

«Jeanette», прошептал он.

Она взглянула и он был поражен сходством ее глаз с Надиными, как они сияли в темноте. «Cheri», прошептала в ответ и обвила его шею. Их губы соединились в долгом поцелуе. Он чувствовал как ее горячее тело трепетало под легким летним платьем. Когда ее поцелуи сделались нестерпимы, он поднял ее и понес в густую мглу за скамейкой. «No... No!...» она протестовала слабо, но ее руки обвивались крепче вокруг его шеи...

Игорь насвистывал Вальс Рондо, возвращаясь в гостинницу. Он проводил Жанэт до угла ее улицы, где она отпустила его с коротким крепким поцелуем. Почти все окна гостинницы были еще освещены. Пианино было слышно в тихой и пустой улице. Войдя в приемную, он остановился. Кто-то играл в столовой... И играл Романс Рубинштейна! Дверь в столовую была полуоткрыта. Он видел, что столовая темна. Он стоял и слушал. Зов страждущей любви звучал полными и страстными аккордами, после красноречивого вступления:

«Во тьме глаза твои блистают предо мною...»

Дверь в контору отворилась. Вышел хозяин гостинницы в халате из под которого были видны его голые

ноги. Хозяин был очевидно сердит. Игорь приветствовал его любезным «Bon soir Monsieur».

«А, Monsieur говорит по-французски! Будьте любезны, скажите ce bonhomme la, чтобы он перестал колотить пианино в такую пору!»

«Казакам это не мешает, Monsieur».

«Но у меня-же есть и другие гости, Monsieur. Да и мне тоже нужен отдых. Voyons, я ничего не имею против, если он сыграет один раз... два раза... три раза! Но играть одну и ту-же вещь опять и опять... и опять! Monsieur, c'est de trop!» [1])

«Entendu. Я посмотрю, что можно сделать». Игорь заглянул в столовую. Коваль сидел в полосе света от уличного фонаря, пересекающую комнату от высокого окна до пианино у противоположной стены. Его длинная, причудливая тень медленно качалась из стороны в сторону.

Игорь кашлянул. Коваль повернулся. Их глаза встретились. Рот Коваля искривился в саркастической улыбке. «А Ромео... Успешно перевели Дулины любовные излияния?... Какого чорта вам здесь надо?... Пронюхиваете?»

«Уже поздно играть, Сотник. Хозяин жалуется».

«Который час?»

«Половина первого».

Коваль поднял свою палку и бутылку, которую Игорь раньше не заметил, прошел мимо него и вверх по лестнице. Игорь последовал за ним, не желая обогнать его. Из нескольких комнат раздавались казачьи голоса, хорошо слышные через открытые отдушины над дверями. Низкий голос Лукича гудел по коридору.

Проходя мимо одной двери, Игорь услышал Дулин голос: «...Да глупая девчонка попалась. Целоваться — целовалась, а как дошло до дела — говорит пора домой идти. Ну, что ты поделаешь, когда без языка!»

«Дурень ты, с точки зрения! Я-же тебе ишаку говорил. Вот тебе и цивильный костюм! Черкеска, она на каком хошь языке заговорит... Ну, а как Волгин управился?»

Игорю показалось, что Коваль замешкался у своей двери. Он сам быстро открыл и закрыл свою.

19.

После второй прибавки супу, Дуля крякнул, вытер

---

[1]) Это уж слишком!

рот и откинулся назад. «Воззрите на чинов казачьего хора», возгласил он. «Они не сеют и не жнут и не собирают в житницы, а Отец Небесный питает их на халтуру».

Его оптимистическая проповедь не произвела должного впечатления на остальных за длинным обеденным столом. «Ты лучше впихивай как можно больше в пузо», ответил Терентий. «Завтра может нечего будет жрать».

Однако Дуля не унывал в уверенности, что сейчас подадут жаркое. «Ничего, выпутаемся. Вот подождите, Иван Иваныч и секретарь вернутся».

Танцор Сашка выругался: «Иван Иваныч пущай пойдет к чортовой матери да и секретаря с собой захватит его вранье переводить! Я себе думаю вернуться в Париж. Не доедем мы до Америки!»

Если-бы хозяин, добросовестно служивший за столом вместе с женой, понимал по-русски, его рвение значительно бы охладилось. Он сообразил-бы из разговоров, что французское турнэ знаменитого казачьего хора повидимому окончилось — совершенно непредвиденно — в этот необычный дождливый сезон августа. Уже несколько дней не было никаких инструкций от их агента. И уже третий день они застряли в этом городе, не зная, что делать. Их директор и секретарь уехали рано утром в соседний курорт, в надежде устроить там концерт по собственной инициативе. Телеграмма была послана агенту в Париж. Хозяин был-бы особенно заинтересован узнать, что ввиду непредвиденно больших расходов на переезды, в хоровой казне могло оказаться недостаточно средств покрыть его счет и купить билеты на поездку куда-бы то ни было... Действительно — хорошо, что хозяин не понимал по-русски.

Игорю казалось, что хозяин мог-бы быть порасторопнее... Ему хотелось вернуться в свою комнату и не слушать в десятый раз свободно высказываемые мнения о том, как и почему они попали в такой переплет. Вдобавок ко всему, так случилось, что Коваль сидел как раз против него, между Полковником и Маэстро. Отношения между ним и Ковалем приняли странный оборот. Коваль все еще не разговаривал с ним иначе как по необходимости. А когда разговаривал, то с каким-то досадным пренебрежением. Когда выпивши, он уставлялся на Игоря неподвижными глазами, в открытом и презрительном вызове. Что всего хуже, Игорь чувствовал непривычную беспомощность перед этим калекой. Как будто-бы он в чем-то виноват. Как будто-бы Коваль знал что-то о нем, что он сам лучше хотел-бы держать про себя. Сознание было неопределенное и Игорь не хотел думать о нем. Но

оно продолжалось и усиливалось со временем...

В то же время, еще более странное любопытство росло в Игоре к этому человеку о котором Надя говорила, что он был так похож на него, Игоря, в Москве. Игорь вспоминал многие случаи когда слова Коваля звучали удивительно знакомо: его собственные мысли высказанные горьким и едким языком. В первый раз это случилось во время того незабвенного посещения Лувра.

Теперь за столом он искоса наблюдал за Ковалем, быстро переводя взгляд на Маэстро или Полковника, как только казалось, что Коваль взглянет на него. Маэстро Антоныч как будто похудел и побледнел после Парижа. Может быть это так казалось в сером свете дождливого дня. Антоныч ковырял вилкой в тарелке и ел мало. Полковник, по другую сторону Коваля, сидел молча, иногда поводя усами при особенно громком взрыве казацкого негодования. Сотник Коваль хранил угрюмую мину. Не дожидаясь сладкого, он встал с коротким «Извините» и вышел.

«У сотника пропал аппетит», заметил кто-то.

«Злой, як сатана. Выпить не на что».

Антоныч постучал вилкой по тарелке. «Я-бы попросил прекратить это лаянье за столом. Неудивительно, что сотник ушел».

«Да как-же не лаяться, Антоныч! Что будем делать ежели Иван Иваныч вернется с пустыми руками?»

«Ну, там увидим... Вы что — забыли Сербию? Сколько раз думали — что будем делать завтра? А вот добрались до Парижа. Во всяком случае, руганью делу не поможешь».

Обед закончился в тяжелой тишине.

Наконец в своей комнате, Игорь лег на узкую железную кровать и зажег папиросу. После двух дождливых дней, комната была знакома во всех унылых деталях... Швейцарский пейзаж на стене, ярко раскрашенный и засиженный мухами... Умывальник с тазом и кувшином... Пузатый комод с туманным зеркалом... Его гитарный футляр прислонившийся в углу... Два чемодана разукрашенные наклейками разных гостиниц и железных дорог и не распакованные вполне с самого Парижа. Все это в мутном свете окна запыленного изнутри и омываемого дождем снаружи. Как последний штрих, запах иодоформа наполнял комнату. Игорь знал, что запах исходил из верхнего ящика комода. Один из предыдущих квартирантов очевидно нуждался в этом полезном лекарстве.

Запах иодоформа всегда напоминал комнату в

Амстердаме, которую он снимал рядом с театром. Гильда, хозяйская дочь, заходила к нему послушать гитару и, если дома никого не было, оставалась дольше, чем полагается... Другие запахи напоминали другие комнаты — от раздушенных будуаров до пропитанных ядреной вонью клопов — аппетитным ароматом жареного лука из кухни внизу — и свежестью мыльной воды, возлюбленной немецких хозяек.

Ветер усилился, брызгая дождь в стучащее окно. В такую погоду в Париже он пил-бы чай у Парских или разучивал новые песни с Надей...

Он стряхнул пепел папиросы на пол и дунул на него — по привычке выработанной в комнатах без пепельниц... Жаль, что он на этот раз не квартирован с Вафлей! Вафлин фиалковый одеколон несомненно убил-бы иодоформ. С другой стороны, Вафля тоже вероятно лежал-бы и надоедал ему идиотскими рассуждениями о снах... В Париже Вафля будил его хрустеньем малосольных огурцов... к сознанию, что он скоро увидит Надю...

Ему пришло в голову пригласить Лукича выпить с ним внизу. Старый казак подружился с ним, довольный своей способностью разговаривать с образованным человеком. Они стояли рядом на концерте, на басовой стороне и Лукич иногда просил его подсунуть палец под пояс и поддержать — для всякого случая.

Игорь уже поднялся, но раздумал. Лукич, конечно, будет обкладывать Ивана Иваныча за незнание дела. Секретаря, который наверное не все понимает по-французски и перепутал дело, агентов — и французских и американских — которые несомненно жулики. Французскую погоду и вообще все, что придет в голову.

Игорь лег опять. Хорошо-бы что нибудь почитать. Уже давно ничего не читал кроме случайных газет и старых журналов, валявшихся в гостинницах. У хора была так-называемая библиотека: чемодан с нотами, содержащий также несколько русских книг, французский роман, две итальянских книжки неизвестно где приобретенные, и Библию — подарок русского архиерея в Белграде за то, хор отпел ему обедню. Он уже давно прочел всю библиотеку, кроме итальянских книжек. Он прочел даже Вафлин сонник, вот в такой-же дождливый день. Он почитал-бы Библию, но не хотелось идти по комнатам искать библиотеку...

Он прицелился и попал окурком прямо в ведро под умывальником... Самое лучшее — зайти поговорить с Полковником.

20.

Игорь пожалел о своем решении как только он вошел. У Полковника были гости: Коваль и Маэстро.

«Не беспокойтесь пожалуйста», сказал он, видя, что Полковник гостеприимно поднялся с единственного стула в комнате. Маэстро и Коваль сидели на кровати. «Я вот здесь расположусь на полу по-турецки. Надеюсь не помешал».

«Чему-же тут мешать. Сидим, разговариваем».

Игорь сел на пол, спиной к стене, скрестив ноги. Он потянулся за портсигаром, но вспомнил соглашение не курить в одной комнате с Антонычем.

«Возможно они нашли что нибудь», сказал Полковник, очевидно продолжая разговор. «Иначе уже вернулись бы».

«Может быть они боятся возвращаться с пустыми руками», заметил Сотник.

«Ну, Иван Иваныч не таковский», сказал Маэстро. «Он от всего отвертится. Игорь Петрович, вы человек театральный. Как полагаете, есть шанс?»

«Я знаю еще более странные случаи. Сам участвовал в двух. Вообще говоря, невозможно чтобы знаменитый казачий хор просто так пропал в захолустном французском городишке. В крайнем случае доберемся как нибудь до Парижа. Там знакомые есть, русские организации. Хор временно может разбиться на квартеры и халтурить по кабакам».

«Я тоже так думаю», согласился Маэстро. «Однако этот американский контракт лучше пусть приходит поскорее. Если хор развалится, потом его не соберешь». Приступ кашля перебил его. С гримасой боли он достал платок и вытер рот.

«Вы бы отдохнули, Антоныч пока те не приедут», посоветовал Полковник.

«Омерзела комната. И так весь день лежал. Окаянная погода — на улицу не выйдешь».

После небольшого молчания, Полковник исполнил церемонию вынимания замшѐвого мешечка — вынимания часов — нажимания кнопки открывающей верхнюю крышку. «Уже половина четвертого... Половина шестого в Петрограде. Интересно, там тоже дождь или вёдро».

«Вероятно дождь», ответил Игорь. Он все больше и больше раскаивался в решении зайти к Полковнику. Присутствие и даже поза Коваля раздражали его. Коваль неподвижно смотрел в окно, опершись подбородком на крючок своей палки. Он напоминал Стрига на балконе

Собора Парижской Богоматери.

Полковник крякнул и разгладил усы — знак, что он собирается сказать нечто важное. «А вот была у меня возможность избежать все это... эмигрантскую жизнь, неопределенность, неизвестное будущее... Но я упустил ее...

«Упустил», продолжал он, оглядывая посетителей с легкой улыбкой. «Интересная история, если хотите послушать... Это дело было в Константинополе, как раз после эвакуации. Познакомился я там с туркой по имени Сулейман Ага. Знатный турка — уже старик, в чалме — в Мекку значит ходил. Богатый, с гаремом — настоящий старорежимный турка. Встретил я его в кофейной. В последнюю турецкую войну он попал к нам в плен у научился немножко по-русски. По-болгарски понимал. Я тоже знаю несколько турецких слов так, что мы с ним могли объясняться. Только вот я замечаю, он иногда посматривает на меня так пристально. А однажды и говорот: У тебя, говорит, есть турецкая кровь!... Поэтому вы можете заключить, что Сулейман Ага был не дурак. Во мне действительно есть турецкая кровь! Мой прадед, лиманский казак, вывез туркеню из одного набега на турецкую сторону. Красавица она была по семейному преданию и дикая, как лань. Прадед или уговорил или заставил ее принять христианство и женился на ней. И вот таким манером пошла в нашем роду турецкая кровь!... Ну, хорошо. Сулейман Ага был очень доволен моей историей — и своей проницательностью. С тех пор он стал меня приглашать в свой дом, подчевал кофеем и наргиле — большая честь в Турции. По скорости времени, опять он заводит такую речь: Ты, говорит, уж не молод таскаться по свету. И пришелся ты мне по сердцу. Вернись в веру своей прабабушки и живи со мной. У меня места много и дам я тебе жену. Кунаком будешь!.. Так вот какое дело. Что вы на это скажете?» Он опять оглядел слушателей.

«Замечательное происшествие», сказал Игорь, заинтересованный. «Что-же дальше, если это не нескромный вопрос?»

Полковник погладил усы и продолжал с новой важностью: «Я поблагодарил Сулеймана Агу и сказал ему, что от веры моит отцов я отречься не могу!... Не то, что я уж такой религиозный человек. И я так полагаю коли Бог существует, то он один — называй его Аллахом или еще как... Но отречься от веры моей родины и моих отцов я не могу. И не отрекусь! Я приносил присягу и целовал крест и знамя на котором было написано, «За

веру, царя и отечество». И я стоял на своей присяге!»

Игорь смотрел на орлиный профиль Полковника, высеченный на фоне окна и увидел его, как в первый раз на репетиции в театре Трокадеро: природного воина и потомка воинов.

Сотник Коваль заговорил неожиданно, как всегда: «Очень благородный поступок, Полковник... Но не практичный, я-бы сказал. Подумайте, вот в такой день сидели-бы вы с вашим турком или с жинкой, кофей бы пили, наргиле потягивали...»

«Дело принципа», ответил Полковник с некоторой сухостью. «Не могу, что-бы ни случилось! По той-же самой причине, по которой я отклонил предложение командовать красной дивизией и уехал к Корнилову. У каждого есть принципы от которых он не может отказаться».

Коваль ызглянул на него со своей странной улыбкой. «Принципы! Извините, Полковник, я не могу с вами согласиться. В нашем положении и без принципов жить трудно. Да и какие принципы? За веру, царя и отечество? Замечательные слова. В них вся история России. Сияли золотом на боевых знаменах... Я знаю. Я ведь тоже целовал крест и знамя... И что-же случилось? Царь убит. И вера тоже убита. А из отечества едва ноги вынесли. Вот и сидим со своими принципами. Кому они интересны? Кому мы интересны?»

Он говорил спокойно, без всякого выражения. И это равнодушие только оттеняло горечь его слов. «Для самих себя мы может и герои, но для остального мира мы просто толпа скулящих беженцев... Бывшие офицеры, бывшие студенты, бывшие люди... Вроде как Гоголевские мертвые души. Те хоть по крайней мере были зарегистрированы, а мы не зарегистрированы нигде и ничем... Как прогорелые актеры, мы освистаны со сцены и забыты... Что касается до остального мира — мы умерли. А мы, знаменитый казачий хор, поем свою собственную панихиду!»

Игорь увидел, что Маэстро поморщился. Полковник ударил рукой по столу. «Неправда! Неправда это! Мы не мертвые души и мир не забудет нас! Пока не останется искра чести и гордости в людях, мир будет помнить! Если мы и проиграли, мы сражались за правое дело!» Его голос подымался и гремел: «И если придется, пойдем опять! Мы стояли за родину! Показали, что были в России люди, которые не согнулись под большевистской палкой!... Сотник Коваль, что-же значит вы жалеете, что сдержали свою присягу?»

Стеклянные глаза Коваля встретили его строгий

взгляд. «Да нет, зачем жалеть», произнес он с прежним равнодушием. «Какой толк в сожалении? Я только хочу сказать, что если-бы мне кто предложил приличную жизнь взамен бывшей веры отцов, я бы ни минуты не колебался. Принял-бы ислам, иудейство, буддизм, или какие там еще есть веры».

Полковник испустил неопределенный сердитый звук. «Ерунду болтаете! Как можно отречься? Наоборот, мы держали и будем держать наше белое знамя!»

Коваль пожал плечами. «Конечно, белый цвет благородный, но довольно непрактичный, особенно если приходится самому стирать белье». Он попрежнему смотрел прямо перед собой с выражением, которое опять напомнило Игорю Стрига Собора Богоматери. Он усмехнулся и продолжал: «Вот я тоже знаю одну историю. Не такую романтичную, как ваша, но тоже очень поучительную... Ехал я однажды из одной деревни в другую, с оказией. Старик мужик подвез... Ну, конечно, разговорились о том, о сем... Про войну, про революцию. Спрашиваю, что там народ думает о белых и о красных? А старик все отмалчивается и отговаривается. Мы, дескать, люди темные, не знаем что оно там делается... И политика, мол, не наше дело. Вижу он остерегается моих офицерских погон. Я говорю, Да ты не бойся, диду. Ведь я такой-же человек, как и ты. Мне только интересно, что вот мы тут деремся друг с дружкой, а есть-ли от этого кому какая польза? Однако старик так ничего и не сказал... Ну, едем дальше. И так случилось, что коровья лепешка попалась на дороге... и прямо на колее так, что колесом ее разрезало надвое. Вот старик показывает на нее кнутовищем и говорит, Ось бачь — и це дерьмо и це дерьмо!!! Так-то я и получил ответ... Вот вам и наше белое знамя... И их красное...»

Антоныч поднялся. «Ну, что старое вспоминать. Пойду прилягу пока они не вернутся. Дождь похоже перестает. Окно можно открыть для воздуху».

«Пойду и я», сказал Коваль, тоже поднимаясь. Он повернулся к Полковнику с подобием любезной улыбки. «Сообщите если услышите опять от вашего турка. При нужде и я могу доказать в себе турецкую кровь».

Когда они ушли, Игорь пересел на кровать.

«Горький человек сотник Коваль», заметил Полковник. «Да и осудить трудно. Случись что с хором, что ему делать?... Собачья жизнь, как подумаешь».

Игорь подумал, что полковниково положение в таком случае тоже будет не из завидных. Он достал портсигар и предложил Полковнику. Они оба закурили.

«Собачья жизнь», повторил Полковник. «Позавидуешь вам, Игорь Петрович. Вам все как с гуся вода».

Игорь пустил кольца дыма. «Привычка. Если прогорим, это будет в пятый раз для меня... Мое секретное желание — попасть в какую-нибудь халтуру, которая продержалась-бы допустим лет двадцать... Конечно, утопия».

Полковник взглянул на него с любопытством. «Да? Хотели-бы прожить вот так двадцать лет?»

«Идеальное положение!»

Полковник покачал головой. «Двадцать лет кажется долгое время. Но вы увидите, как быстро они пройдут. Через двадцать лет вы все еще будете моложе меня и все еще придется смотреть вперед. Можете мне поверить — я знаю... Но может оказаться уже поздно... Нужно строить пока молод».

«Извините Полковник, но вы сами себе противоречите. Вы ведь смотрели вперед в свое время и строили для будущего и все такое прочее. Разрешите спросить, где же плоды ваших трудов?»

Полковник крякнул сердито. «Странный вопрос. Вы-же сами знаете — революция... непредвиденные обстоятельства».

«Совершенно верно. Но откуда мы знаем, что больше не будет таких непредвиденных обстоятельств? Скорей всего опять попадем в какой нибудь переплет раньше, чем доживу до вашего возраста... Нет, я не собираюсь ничего строить! Разве может быть что нибудь в роде Ноева ковчега чтобы плавать по потопу. И на этот раз я поплыву по течению, а не против».

Их глаза встретились. «По течению, а? Может вместе с сотником Ковалем?... И у вас одна амбиция — халтурить еще двадцать лет? Вы — молодой человек! Ну, хорошо, допустим через двадцать лет вы вернетесь в Россию и родина спросит вас, чему же ты, сынок, выучился заграницей?»

«Мой ответ будет очень прост: Мамаша, это вас совершенно не касается! Я был послушный сын и исполнил все ваши приказы. И вы знаете, конечно, как я был награжден. Теперь я вам больше ничем не обязан».

Опять Полковник ударил по столу. «Ерунда! Поручик Волгин, вы несете околесицу! Вы и Сотник Коваль! Один лучше другого! В таком случае он прав: если уж до этого дело дошло — мы действительно мертвые души! Как-же можно жить, если человек потряет веру в себя и в остальное и надежду на будущее? Остается ему одно — повеситься или броситься в реку!»

Он поднялся и шагал по комнате, теребя усы. Игорь

сожалел, что позволил разговору зайти так далеко. Когда Полковник обращался к собеседникам по их прежним чинам, это значило, что он очень сердит.

Полковник постепенно успокоился. «Ерунда... Околесину несете и я убежден, что вы и сами себе не верите... Как ребенок, которого мама высекла и он собирается убежать из дому и никогда больше не вернуться...

«...Благодарю вас. Смотрите, сами без папирос останетесь». Он взял одну из портсигара, протянутого Игорем. «Погода окаянная на такие мысли наводит... Да и положение такое... На нитке висит».

«И даже без нитки, вопреки закону тяготения... Как в том фокусе. Поддерживаемые магической силой левитации, известной как халтура».

Полковник усмехнулся. «Да, что-то в этом роде».

«Не будем унывать, Полковник. Как нибудь выкарабкаемся... Как-никак, а ведь не хуже, чем последняя неделя в Крыму?»

Полковник опять усмехнулся, невесело. «Да, пожалуй не хуже».

21.

Возвратясь в свою комнату, Игорь достал гитару и опять растянулся на кровати. Запах иодоформа опять напомнил Амстердам и Гильду. Потом вспомнилась брюнетка Жанэт с которой он праздновал взятие Бастилии... И та вдова пригласившая его на чашку чая после концерта и принесшая ему завтрак в постели... И другие — в Бельгии, Германии, на Балканах, на Украйне... Вспомнить от скуки в дождливый день...

Память, как вылетевшая из клетки птица, порхала с ветки на ветку, дальше и дальше — в заповедный лес прошлого... Игорь видел себя, разливающим похлебку из большого жбана в котелки его команды. Около них — группа женщин и детей с тарелками и горшками и следящая красно-коричневыми глазами за черпаком. Те, которые ели из котелков были из поднявших знамя восстания против Советов. Остальные были из тех, чьи дома были разбиты красной артиллерией и сожжены пожарами. Игорь считал сколько их и обделял свой отряд. Отрядчики видели обман и не протестовали... Оттуда только шаг до заключительной сцены. На восьмой день красный флаг взвился на пожарной каланче, самом высоком здании города — в знак того, что контр-революционный бунт подавлен... И вот два солдата увешанные пуле-

метными лентами, с винтовками за плечами, и красными повязками на рукавах, конвоируют его по знакомой улице. Оба тротуара полны людей идущих в том-же направлении. Вышел приказ: всем мужчинам явиться для дознания в военные бараки за городской заставой. Большинство держалось тротуара. Середина улицы была пуста, а в этой пустоте он — Игорь Волгин — между двумя красногвардейцами.

Шаг за шагом, эта пустота, отделявшая его от других, росла и расширялась и облекала его — пока он не остался один в пустоте и с пустотой. Он смотрел сквозь нее на окружающий мир и не узнавал его. Мир был чужд. Знакомые здания — женская гимназия, где он часто танцевал на балах по приглашению знакомых гимназисток — все оказалось не тем, что представлялось раньше, а чем то отвлеченным и безразличным. И слегка странно было думать, что это безразличие останется после того как он уйдет... Четверть часа ходьбы до бараков. Не больше десяти минут на «дознание». Разбирать было нечего: узнали и революционный приговор только один. Удивительно, что он не был расстрелян на месте — как более пятидесяти офицеров в штабе восстания. Но конвойные красногвардейцы повидимому были не из местных. Да и революционная ярость еще не достигла белого каления, как в последний год гражданской войны... Но разница была небольшая. Революционные командиры в бараках не будут так податливы, как эти два красногвардейца... Самое большее полчаса...

Странное спокойствие спустилось на него. Он знал, что это спокойствие останется с ним до конца. Что он умрет так-называемой геройской смертью. Но в этом сознании не было ни утешения, ни гордости, ни сожаления. Простой отвлеченный факт без отношения к нему лично и без особенного смысла. Смысла больше не было ни в чем. Только чудо могло восстановить смысл... Наброситься на одного из конвоиров, отнять винтовку, заколоть штыком или застрелить другого и бежать... Но бежать некуда среди белого дня. На каждом углу патрули. Вместо мгновенного конца «у стенки», может быть мучительная смерть от пуль, штыковых ран, приклада по голове...

...Но чудо уже подготовлялось! Маленькое, незаметное, совершенно не похожее на чудо. Он и сам только впоследствии узнал, что это было действительно чудо. Бабушка сказала и мама подтвердила!... На углу, конвоиры окликнули группу солдат, повидимому знакомых. В ответ, те знаками пригласили их к себе. «Куда?» «Пойдем, узнаешь! На всех хватит!» Конвоиры остановились

оглянулись и подозвали парня обвешанного красными лентами и с винтовкой. «Эй, товарищ, веди этого белогвардейца в штаб. Там с ним расправятся». «А вы чего?» «А нам вот тут по делу надо». Не дожидаясь ответа, конвоиры присоединились к группе и все повернули за угол. «Ну, пойдем», сказал парень...

...Уже полдороги до бараков. И вдруг голос парня позади: «Не оглядывайсь. Иди сам по себе. Уцелеешь — твое счастье. Не уцелеешь — не мой грех». Онемелый ум не сразу понял смысл этих слов. А поняв, ожил в новой надежде. Не оглядываясь, Игорь постепенно сворачивал к тротуару, к толпе — в самую толпу — поближе к стене... Толпа густела. Уже видна сплошная масса голов вдали. Если пониже надвинуть фуражку, может быть не узнают в толпе...

...Его не узнали! За исключением одного человека — юнкера, развозившего на мотоциклетке приказы из штаба восстания. Полдюжина красногвардейцев привели его откуда-то и поставили перед землянкой с дверью в подземный склад. Толпа затихла. Юнкер стоял прямо, медленно обводя толпу глазами. Он увидел Игоря. Несколько секунд они смотрели друг на друга поверх толпы. Игорь видел в глазах юнкера то-же знакомое великое спокойствие. Красногвардейцы выстроились перед землянкой и взяли на прицеп. Юнкер смотрел прямо перед собой. Недружный залп грянул и юнкера уже больше не было видно из толпы. Тихий вздох пронесся над толпой...

Игорь внезапно услышал, что он играл вступление к Двум Гитарам. Запах иодоформа был невыносим. Он поднялся, открыл окно и глубоко вдохнул свежий, сырой воздух. Непреодолимое желание охватило его — убежать! Все равно куда — только уйти от всего этого! Он захлопнул окно и выбежал из комнаты. По внезапному побуждению, он остановился у сотниковой двери и открыл ее, не постучавшись. Сотник лежал на кровати, заложив руки под голову, с папиросой.

«Пойдемте вниз, сотник. Приветствую».

Коваль приподнялся и смотрел на него стеклянными глазами. Нельзя было понять — удивлен ли он, раздосадован, или просто равнодушен.

«Я серьезно. Пойдемте. По стаканчику для подкрепления».

Рот Коваля искривился в улыбку. «Ну, уж если настаиваете», протянул он, доставая палку висевшую на спинке стула. Они спустились по лестнице в «бистро» по соседству со столовой. «Коньяку?» спросил Игорь. Коваль кив-

нул. Игорь заказал и хозяин налил два стаканчика.

«Итак, пусть не придется нам броситься в реку, как предлагает полковник», сказал Игорь, поднимая свой.

«Я не слышал, но предложение несомненно стоющее, в такую погоду», ответил сотник. «Между прочим, чему обязан за такое великодушие?»

«Понравился ваш рассказ об Украинском мужике. Один из лучших мне приходилось слышать».

Они оба попробовали коньяк. Коваль заговорил первый. «Смешняк вы, Волгин. Не знаю, подозреваете ли какой вы смешняк!»

«Почему-же вы не смеетесь?» Игорь отпарировал, ожидая к чему Коваль ведет разговор.

«Из вежливости... За каким чертом вам вздумалось связаться с этой шайкой?»

«А, это... В Америку хотелось попасть».

«В Америку!» повторил Коваль. «Гимназисты третьеклассники убегали в Америку, начитавшись Фенимора Купера. Их всегда ловили на первой станции... Нам-то какая разница? Все равно будем болтаться из одного паршивого отеля в другой. Вместо того, чтобы не понимать по-французски, будем не понимать по-английски».

«Я немного знаю по-английски».

«Да. я слышал. Тем лучше для вас. Что еще вы знаете, кроме цыганских песен? Чему учились в университете?»

Странно, что тон Коваля, полунасмешливый и слегка снисходительный, не казался обидным. «Ничему особенному. Просто ходил в университет. Ни к чему было учиться. Все равно, на войну идти».

Коваль кивнул. «Ни к чему. Все было ни к чему. Погулять пока жив... «Gaudeamus igitur, juvenesdum sumus...[1])

«Gaudeamus» повторил он. Перемена в его голосе заставила Игоря взглянуть. Глаза Коваля были закрыты, лицо — маска горечи. «Gaudeamus», он прошептал опять и открыл глаза. «Было времячко, Волгин!»

«Было!» Игорь опорожнил свой стаканчик и постучал им по столу. «Прогорать так прогорать, Сотник! Необходимо выпить за «Gaudeamus».

Коваль поморщился. «Это моя очередь, но я между прочим без гроша».

«Ничего, в другой раз... Знаете, не думал, что придется опять услышать Gaudeamus. А вот пришлось. Играли мы неделю в Лувене, в Бельгии. И познакомились с рус-

---

[1]) Повеселимся пока молоды. Студенческая песня.

скими студентами. Учились они там в университете. Какая-то благотворительная организация помогала. Хорошие ребята. Ни у кого ничего нет, а не унывают. Зашел я к ним в общежитие — и опять мы пели Gaudeamus. Уговаривали меня тоже продолжать ученье. И уже совсем было уговорили. Собирался уже подавать прошение кардиналу Мерсье, который возглавлял эту благотворительную организацию, да так и не собрался».

Коваль уставился на него. «Так значит у вас был шанс, а вы отказались?»

«Да так случилось... Сцена... ночные кабаки. Как в болоте — раз завяз, засасывает».

Коваль вдруг рассмеялся коротким, отрывистым смехом. «Волгин, вы еще смешнее, чем я думал! Это потрясающе!» Он допил стакан и поднялся. «Спасибо, Волгин. Когда нибудь отплачу».

Они вернулись в свой коридор. Коваль не остановился у своей двери, а последовал за Игорем в его комнату. Игорь, слегка удивленный, предложил ему стул, а сам сел на кровать. Они закурили.

«Я, кажется, расстроил нашего полковника», сказал Коваль. «Пистолет старик. Восемьдесят четвертой пробы, как и его часы».

«И оба идут по петроградскому времени», ответил Игорь. «Жаль расстаться».

«А вам не жаль? Из какого вы сословия, если не секрет?»

«Нет не секрет. Отец в казенной палате служил. Теперь что — не знаю».

Коваль кивнул. «В переводе на новый язык значит мелко-буржуазная интеллигенция... Вот тут-то и разница между такими как он и такими как мы. Он знал за что сражался. А мы?... Например, за что вы сражались, Волгин?

«Больше за компанию. Все кого я знал собирались к Деникину. За исключением двух-трех, которые считали, что большевики не так уж плохи или вообще не интересовались... И как там ни крути, немцы-то конечно не импортировали Ленина из Швейцарии только из-за его прекрасных калмыцких глаз. Ленин-то несомненно был себе на уме, но немцы своего добились. Армию развалили, а с ней и Россию. Ильич все больше о пролетарской революции заботился, а я полагал, что одной революции пока довольно до окончания войны... А потом оказалось, что революционный пролетариат не совсем такой, как пели Леонид Андреев, Максим Горький и прочие... Я помню этих гавриков увешанных красными и пулеметными лен-

тами и готовыми вдарить, а то и подстрелить любого почище одетого. Это оказалось совсем не та революция, за которую мы кричали ура а Марте... Наивно, как теперь видишь задним числом... А когда-то мечтали... Время настанет, восстанет Россия. И все мы, о братья, одною душой сплотимся — и грянет труба боевая — и красное знамя высоко взовьется над буйной толпой».

«Откуда это?» спросил Коваль. «Я что-то не помню».

«Скромно краснею, но признаюсь, что собственного сочинения. Нашло однажды вдруг вдохновение в Москве, еще до революции. Понравилось и записал на память».

Коваль взглянул на него исподлобья, но без ожидаемой насмешки. «Вдохновенные и пророческие слова! Пошлите в Правду. Обязательно напечатают... Да, много было таких революционеров-самоучек на Руси... Заря свободы!... Отречемся от старого мира!... Кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали... Потрясающая романтика! Воспаряли орлами, а как до дела дошло — оказались мокрыми курицами... Революция, конечно, необходима, но зачем-же беспорядки устраивать?... Как та добродетельная барышня, которая хотела и невинность соблюсти и капитал приобрести... Романтика кончилась когда оказалось, что знамена революции красны не от краски, а от крови вот таких как мы и тех немытых пролетариев... А революционеры-самоучки утекли за границу...»

Он остановился и оглянулся, повидимому в поисках пепельницы. Игорь показал бадью под умывальником, прицелился и опять попал в нее окурком. Коваль последовал его примеру. «Хорошо окурками стреляем», заметил он. «А вот из винтовок промахнулись... Приходило ли вам в голову, что если-бы мы — и другие подобные нам — почище одетые и с более деликатными чувствами — если-бы, допустим, вместо того, чтобы сражаться против них, присоединились бы к ним... сразу и в массе? Может быть повернулось бы все по другому? Вместо того, чтобы грудью останавливать их пули, мы может быть совсем остановили бы стрельбу. Некому и не в кого было бы стрелять... Приходило вам в голову? Или это слишком много спрашивать?»

Игорь усмехнулся. Он знал, что Ковалю нужно было с кем нибудь поговорить. «Вероятно молод был для подобных размышлений. А потом уже было поздно. Да и ни к чему. Но раз интересуетесь — скажу. Вопрос ваш чисто академический и совершенно бесполезный... Да, если-бы мы присоединились к ним, может быть и удержали-бы телегу на дороге, вместо того чтобы ей громыхать по пням и колдобинам... Но ведь это все в сослагательном

наклонении. Если-бы да кабы. А выгадалось не так».

«Да, по другому выгадалось», согласился Коваль. «Нельзя было удержать чортову телегу... Да и куда держать? Где дорога? Знал кто дорогу?... Чорта с два! Это как у Пушкина говорится: В поле бес нас водит видно да кружит по сторонам... Или лучше еще как в этой Крыловской басне о лебеде, щуке и раке, запряженных в телегу. Лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду... Обратите внимание на рака! Между лебедем и раком, щука одна знала где вода поглубже... Зубастая стерва!... Между доморощенными революционерами и контр-революционерами, большевики одни знали куда идут. Их дорога была прямая: Иди напролом! Долой все! Грабь награбленное!...»

Опершись подбородком на руки скрещенные на крючке его палки, Коваль смотрел прямо перед собой. Игорь опять подумал о Стриге на балконе Собора Богоматери. Коваль продолжал: «Вы вероятно знаете, что я учился на инженера. Так вот я подхожу с инженерной точки зрения... Вы учили в физике о маятнике? Если отпустить его с крайней позиции, он стремится к противоположной крайней позиции. С крайней правой на крайнюю левую. И надо большую силу приложить, чтобы остановить его посередине... Что мы и старались сделать. Да не вышло. Маятник просто вышиб нас... Может быть мы воевали не против красных, а против каких-то неизменных законов природы... физики... истории... Плевали против ветра... Но тут-то Полковник был прав. Бывает время, когда люди — и не обязательно сволочь — вдруг расходятся в разные стороны, доходят до точки — каждый до своей — и готовы убить каждого, кто хочет повернуть их на свою дорогу...»

Он повернулся к Игорю. «А может быть действительно существует такая вещь, как искупление грехов и искупительная жертва?» Его рот искривился в улыбку. «Вы что нибудь имеете против того, чтобы попасть на положение жертвенного агнца, Волгин? Я лично ничего не имею. Даже нахожу некоторое благородство в этом старом изречении, Dolce et decorum est pro patria mori. Вероятно нет лучшей смерти, чем остановить пулю в атаке... Но когда, например, жертвоприношение окончено и священники и прихожане разошлись по своим делам, жертвенный ягненок, не совсем зарезанный, чувствует себя довольно глупо, оставленным поджариваться в собственном соку...»

В внезапной ярости, он ударил палкой по полу и выругался. «Какого чорта они не прикончили своего

агнца? Оставили, сукины дети, ни живого, ни мертвого...»

«Или совсем мертвого, но в приятном времяпровождении, как вы говорите, Волгин».

«Я вам ничего подобного не говорил», сказал Игорь, слегка раздосадованный. Ковалю пора-бы уже уходить. Коньяк повидимому начинал действовать.

«Ходят такие слухи», ответил Коваль. «Как вы думаете — поставят и нам такой памятник? С dolce et decorum?».

«На чорта нам памятник! Только собак, да голубей привлекать».

«Должны поставить памятник», настаивал Коваль. «Если не за подвиги, то за возвышенные мечты».

«Что-же вы имеете в виду? Дородную Матушку Россию, обнимающую одной рукой красного матроса, а другой белого офицера? А внизу надпись золотыми буквами: Одна семья?»

Коваль усмехнулся — трезво. «Очень хорошо, Волгин. Слишком хорошо, но неправдоподобно».

«Ну, хорошо. В таком случае, почему не найти того места, где наши дошли всего дальше на север и там поставить памятник. Две волны схлестнулись — одна с севера, другая с юга. А между ними всякие обломки плавают, тонущие люди... Да и сами волны-то слеплены из солдатских тел, живых и мертвых... И видно, что северная волна захлестывает южную... Словом, символический памятник...»

Коваль покачал головой. «Слишком правдоподобно. Никакое начальство не разрешит. И эстетики нет... А мне французская идея нравится... Неугасимое Пламя... Почему бы и для нас не зажечь такое пламя? Где-нибудь на юге... Джанкой хорошее место... Чтобы наши погибшие души могли подойти на огонек. Погреться в холодную ночь... И белые и красные и зеленые. Махновцы, петлюровцы, гайдамаки и вся прочая братия... Потолковать по солдатски, без чинов и без политики... Слушайте, Волгин, неужели вы пользуетесь этим иодоформом?»

«Конечно нет! Кто-то раньше меня пользовался».

«Открыли-бы окно. Дождь, похоже, перестал. Дышать невозможно».

Игорь поднялся и пошел к окну. Вдруг они услышали быстрый топот ног в коридоре. Громкий голос кричал: «Всем собираться в столовую!» Дверь полуоткрылась от удара кулаком. Коваль тоже поднялся. «Приехали наши. Видимо, что-то привезли. Иначе Иван Иваныч не посмел бы сзывать раду».

Коваль был прав. Когда они спустились вниз, столо-

вая была полна казаками. Иван Иваныч, в мокрых и грязных сапогах, стоял потирая руки около стола уже накрытого для ужина. «Где секретарь?» спросил кто-то.

«В своей комнате обсушивается. Поскользнулся, да в лужу и упал, почти у самой гостиницы».

«Так ему и надо... Ну, с чем приехали?»

«Прекрасные новости! Казацкое счастье опять улыбнулось...»

«К чортовой матери с казацким счастьем!» перебил голос из толпы. «Говори, что к чему!»

«Как-же я могу говорить, если все время перебивают?.. Ну, хорошо, прежде всего пошли в театр. Там какой-то гаврик сказал, что жена тамошнего префекта полиции русская, и лучше всего обратиться к ней. Пошли к префекту. И можете себе представить — префектова жена оказалась та самая дама, которая зашла на сцену после концерта здесь, третьего дня, и все восторгалась! Я ей все дело изложил. Она сначала удивилась — как-же это знаменитый хор попал в такое положение, а потом спросила закусили-ли мы? А когда узнала, что нет, сейчас же побежала на кухню, а потом вернулась и сказала, что нам приготовят чего-нибудь, а пока она пойдет в управу — поговорить с мужем и еще кое с кем. А мы чтобы подождали... Тут кухарка вышла из кухни, пальцем поманила... Никогда таких толстых кухарок не видел! И веселая такая, все смеется. Говорит, если-бы знала, что придете, борщ-бы сварила. Подала нам холодную телятину и салат...»

«Да подавитесь вы вашей телятиной, Иван Иваныч!» загремел бас Лукича. «Чем помогла вам префектиха, окромя закуски?»

«Так я-же вот и рассказываю. Надо все по порядку!... Ну, хорошо. Подождали час, два — сначала в доме, а потом в саду, в беседке. Дождь-то перестал. При концеконцов, Анна Семеновна — это ее имя — возвращается и говорит, все будет устроено. Дадим там два концерта — послезавтра и в воскресенье. Говорит, большинство билетов разберут знакомые. Конечно, у префекта полиции все знакомы!... А чтобы сократить расходы, будем ночевать в частных домах, как гости префектовых друзей... А меня Анна Семеновна к себе пригласила...»

Казацкие лица прояснели. Но когда, Иван Иваныч продолжал распространяться о великодушии и гостеприимстве жены префекта, и о своих собственных дипломатических способностях, если-бы только знать язык, казначей осторожно справился относительно гостинницы. Денег в хоровой казне хватит или заплатить счет или на

дорогу в другой город, но не хватит на то и другое вместе. Иван Иваныч объяснил, не смущаясь, что раз этот ангажемент только на два дня, чемоданы можно оставить здесь, а взять только самые необходимые вещи, которые можно положить в карманы. После концертов они вернуться и выкупят багаж.

Настроение многих хористов немедленно испортилось.

«Вот так ангажемент! Приедем без штанов!»

«Оце допелись!»

«Липовый вы директор, Иван Иваныч! Потребовали-бы задаток!»

Игорь вышел из столовой и решил прогуляться до ужина. Погода прояснилась.

22.

На сцене курортного театра Иван Иваныч повторял последние распоряжения перед концертом. Сцена представляла сад с розовыми кустами и фонтаном, нарисованными на заднем полотне. Иван Иваныч хотел чтобы подвесили какой нибудь горный пейзаж, но горного пейзажа не оказалось. «...Ну, хорошо, сейчас начинаем... Все в порядке. Анна Семеновна очень довольна приемом. Я полагаю она немножко побаивалась — как-бы чего не вышло. Она ведь о казаках только по наслышке знает — отчаянный народ и дикий... А теперь видит, что мы не правой ногой сморкаемся!... Так вы значит знаете кому и где ночевать. Пожалуйста расходитесь по домам сразу после концерта, чтобы не беспокоить хозяев. Да не развешивайте портянки по стульям. Запихивайте подальше в сапоги, а то весь дом провоняет... Опять-же будьте очень осторожны насчет горняшек... Особенно ты, Дуля!»

Казаки смеялись. После трех унылых дождливых дней, хор воспрянул духом. Два полных сбора были обеспечены. Недоразумения с агентами несомненно выяснятся. Через дырочки в занавесе, казаки смотрели на переполненный театр и показывали друг другу своих хозяев на два дня, которых они встретили на приеме у префекта.

Прозвучал удар гонга. Огни в театре медленно погасли, а сцена озарилась ярким светом. Хор выстроился в две шеренги. После второго удара гонга, занавес поднялся под аплодисменты публики. Маэстро Антоныч, в белой черкеске, стоял за кулисой, на теноровой стороне. Он послушал камертон и пошел позади хора, давая тон голосам. Басы растпились чтобы дать ему проход, и он

остановился перед хором и поклонился в ответ на новые аплодисменты. Потом он повернулся к хору.

Глядя на Антоныча, Игорь был рад опять сделаться частью деликатного музыкального инструмента, которым был хор в руках Маэстро. Он ожидал успокаивающего и очищающего действия красноречивых слов, положенных на музыку — и гармонии, в которую и он вкладывал часть самого себя. И как концерт продолжался, Игорь чувствовал эту перемену и видел ее в других. Вместо сутулого, болезненного Антоныча, он видел преображенного человека. Антоныч стоял прямо, с руками простертыми вперед, как будто играя на арфе. Его глубокие глаза потемнели. В них не было и следа обычной меланхолии. Они ожили — охватывали весь хор — все четыре голоса — каждого певца. Их выражение менялось с настроением песни и придавало песне ее настроение. Мечтали в лирических пассажах, сверкали в воинственных. Упрашивали, умоляли, приказывали каждому отдать лучшее, что в нем есть. Зажигались гневом при малейшем намеке на ошибку... Как будто в вознаграждение за тоску дня, Антоныч жил полностью два часа концерта.

Казаки тоже преобразились. Безалаберная банда, они стояли как зачарованные, послушные каждому знаку вождя. Скосив глаза вдоль линии, Игорь видел их лица. Неповоротливый Вафля, старый пьяница Лукич, бабник Дуля — все они были не те, которых он знал. Даже маска сотника Коваля иногда смягчалась, отпадала, обнаружив лицо, которое могло быть лицом Павла Коваля...

В суматохе необычайного положения, все обычные размещения по комнатам перемешались и Игорь оказался сожителем Антоныча. После концерта они возвращались вместе. Никто не узнал-бы регента знаменитого хора в этом сгорбившимся человеке с руками засунутыми в карманы дождевика, из под которого были видны полы белой черкески. Игорь чувствовал, что несмотря на шумный успех концерта, Антоныч был не в настроении. Они шли молча, их шаги раздавались по пустой улице.

«Хорошее дело!» неожиданно сказал Антоныч. «Певцы знаменитого казачьего хора закладывают свое тряпье в отеле и поют по жалости иностранцев. Да и на том спасибо. Хорошее дело, чорт-бы его побрал!!..

«Нам не надо-бы уезжать из Сербии», продолжал он. «Попадем из одного переплета в другой. Мы не настоящая театральная труппа, и никогда не сделаемся. Вы уж теперь наверное и сами догадались. Все они простые казаки — от сохи да от коня да от быков... Возьмите вот Ива-

на Иваныча. Он директор не потому, что знает что нибудь насчет дирекции, а потому, что остальные знают еще меньше. У него был маленький кинематограф в Майкопе — так вот он воображает себя театральной шишкой! Как мы до сих пор уцелели — уму непостижимо. Одно спасенье — повидимому публике нравится наше пение».

Он остановился откашляться и плюнуть сердито. «Дуля числится моим помощником. Можете представить себе этого бугая управлять хором! Я однажды пустил его — для практики. До сих пор помню! Но что поделаешь — он по крайней мере ноты может разбирать. В станичной церкви регентом был... Неокончивший семинарист. Почему неокончивший — не знаю. Вероятно выгнали за тихие успехи и громкое поведение...

«Сотник Коваль один мог-бы управлять хором», он окончил, неожиданно.

«Сотник Коваль?» повторил Игорь.

«Да, не удивляйтесь. То есть он мог-бы, если-бы хотел. Он знает музыку. Помогал мне с аранжировкой. Поэтому и стою за него всякий раз когда поднимается разговор насчет его увольнения. Куда-же ему идти?... Удивительно, какого он на них нагнал страху. Любой из них его пришибет одной рукой — а боятся».

Они дошли до своей квартиры — двухэтажный дом за деревьями. Дверь была не заперта, передняя освещена. Они поднялись по лестнице. В комнате, Маэстро сел, тяжело дыша. «Не могу больше... В прошлом году я-бы на эту лестницу бегом».

«Вам не надо-бы так утомлять себя на контерте, Антоныч».

«Что-же мне пнем стоять? Этих соловьев надо за глотку тянуть!»

Он наконец отдышался и оглянул комнату. «Мелкобуржуазная обстановка. Вот бродишь как собака и позабудешь, что некоторые еще живут прилично. Семейные портреты... книги... занавески кружевные. Держу пари, нет ни одного клопа».

«И иодоформом не пахнет», добавил Игорь.

«Ничем не пахнет». Антоныч поднялся чтобы снять свой дождевик. «Будьте уверены, эти люди и не подозревают какое им счастье. Держу пари они думают, так оно и должно быть». Он усмехнулся. «Они и понятия не имеют, какие чудеса случаются».

Мелодичный перезвон колоколов влетел через открытое окно.

«Откуда это?» спросил Антоныч.

«В первый раз слышу». Они слушали, как мелодия

повторилась четыре раза, в чистых звуках теноровых колоколов. Затем более глухой колокол бил мерно и долго.

«Одиннадцать», сказал Антоныч. «Пора завалиться и не беспокоить хозяев. Надеюсь, что не придется слушать завтра жалобы на нашу братию».

Они разделись. Игорь выключил свет. Сейчас-же ночь влетела стрекотанием сверчков.

«Разгулялись сверчки». сказал Антоныч после долгого молчания. «Удивительное дело — я совсем их не слышал когда было светло. А в темноте все слышнее».

Перезвон курантов опять наполнил тишину ночи. Игорь вспомнил, что они были на башне Городской Управы. Он слышал их и раньше, но днем они не звучали так громко... И не так печально!...

Он нетерпеливо повернулся на другой бок. Кровать скрипнула. Он уже знал по опыту, что звон курантов, как запах иодоформа два дня тому назад, пошлет его в долгое путешествие по городам Европы — по всем комнатам, где эхо курантов мешало ему спать. Что-бы они ни вызванивали днем, ночью все они звучали странно одинаково.

Он опять повернулся под скрип кровати. Кровать Антоныча заскрипела в ответ. Потом кашель Антоныча. Потом его сиплый голос: «Чорт бы побрал этот трезвон! Кто там смастерил его, какого лешаго он не нанизал свои колокола на какую нибудь веселенькую мелодию?... Я вижу и вам не спится. Потолкуем немного... Держу пари, что Иван Иваныч еще сидит там, префектовой жене надоедает. Обрадовался, что по-русски поговорить можно, без переводчиков... Симпатичная дама. Я разговаривал с ней на приеме. Однако видно, что дела не знает. Уехала из России до войны и знает обо всем только из газет да по наслышке. Говорит, стыдно было за русских, когда подписали Брест-Литовский мир с немцами... И когда отказались платить царские долги. Говорит, потеряли несколько тысячь на русских займах. Некоторые их знакомые тоже потеряли...» Антоныч фыркнул сердито. «Так значит ей было стыдно! А нам-то каково? И действительно, какая жалость — потеряли несколько тысячь! А жизнь человеческая почем — оптом за тысячу?»

Он кашлянул и продолжал: «Вы может думаете, что я расстроен этой маленькой неприятностью. Поверьте, Игорь Петрович, это меня всего меньше беспокоит. Мы все бывали и не в таких положениях, а все как-то выкарабкывались. И на этот раз как нибудь выбьемся... Все поправится...

Вдруг его голос перешел на хриплый шопот: «Все, кроме меня... Мое здоровье, жизнь моя... они уж не вернутся!»

Игорь сел в кровати. Еще этого не хватало — чтобы Антонычу захотелось исповедоваться!

«...Вам тоже вот свои думы спать не дают», продолжал шопот из темноты. «А я скажу, завидую я вам! Вы здоровый, как бык... Что хотите, то и делаете... А я?... Вот скажите — к чему все, если я скоро умру?»

Безнадежность вопроса была громче, чем вопль отчаяния. Игорь ответил мягко: «Не надо, Антоныч. Вы уж не так больны. Вот попадем в Америку, подработаем долларов и совсем вас вылечим».

«Нет, нет, не уговаривайте меня, как ребенка! Я это и сам могу... Ведь я знаю, что доктор сказал! Давно знаю... Америка!... Да, может и выживу, если попадем скоро... А может быть уже поздно... А почему? Почему мне? Разве все еще мало случилось?... Еще требуют... чорт-бы их побрал!...»

Другой припадок кашля остановил его. Его кровать заскрипела в такт. Игорь стиснул зубы.

«...Я не знаю зачем я вам это говорю. Но сидит оно на мне и давит. ...Проклинаю судьбу, что живу в такое окаянное время! Говорят, очень интересно жить в такое время — историческое и все такое... Оно может и интересно, если смотреть со стороны!... Говорят тоже, что должно быть лестно быть регентом знаменитого хора. Что мое имя напечатано большими буквами в Париже, в Риме. Миланская консерватория преподнесла золотую медаль и почетный диплом за отличное пение. Я то знаю, какой мы хор и какой я маэстро! Был помощником регента хора Наместника Кавказа. Мне-бы надо учиться, как я и хотел.... Чтобы вот теперь переложить что жжет меня... Жжет, как и всех нас! Великое дело, музыка, Игорь Петрович! Когда слов уж больше нет, а сердце плачет, музыка говорит за него... Я говорю это вам потому, что вижу ваше лицо когда вы поете. И все остальные лица вижу. Я и сержусь на них и ругаюсь, но я знаю... знаю чем они поют... И вот я иду в театр, один, и сажусь за пианино и пробую... Мою Песь Изгнания. На тему псалма сто-тридцать седьмого — На Реках Вавилонских — который мы иногда поем... «Како воспоем песнь Господню во стране чужой?» Набрасываю ноты и вижу все не то! Не знаю ни гармонии ни контрапункта... Это ужасно, Игорь Петрович — знать, что ты должен что-то сделать — что ты хочешь это делать больше всего... и не иметь возможности!... Не хочу умирать не исполнив задачу... Рано еще мне

умирать...»

Звон курантов опять рассыпался в темноте. Три четверти. Игорь хватался за отрывки мыслей, пытаясь найти чем-бы обнадежить Антоныча. Все было напрасно. Все слова были бессильны перед лицом этого голого неприкрашенного отчаяния.

«Закрою окно, если ничего не имеете против», сказал Антоныч нормальным сиповатым голосом, неожиданно громким после шопота. Игорь видел его черную тень у окна и слышал как окно захлопнулось и кровать заскрипела. «Теперь заснем... Вы не обращайте внимания... Этот похоронный звон...»

«Не расстраивайтесь, Антоныч... Со всяким случается».

«Да. Женщины плачут, а мужчины ругаются... Спокойной ночи».

Игорь лежал неподвижно, чтобы кровать не скрипела. Он надеялся, что Антоныч, высказавшись, теперь заснет. Про себя он знал, что сон еще далеко. В темноте, он опять чувствовал — почти видел — кольцо смерти, которое замыкалось вокруг него в тот летний день, и которое Антоныч видел замыкающимся около него. Он знал как длинен был тот единственный час. И как бесконечно длинны для Антоныча дни и ночи после визита к доктору. Особенно ночи! Одному с этим приятелем, который не говорит ни слова, — не отвечает ни на мольбы, ни на проклятья — равнодушен к слезам — и не понимает шуток. А просто сидит в углу и ждет...

...Но ведь чудеса иногда случаются! Или чудесные совпадения — как тот голос парня-краногвардейца: «Иди сам по себе. Уцелеешь, твое счастье. Не уцелеешь, не моя вина». Бабушка и мама объявили, что это чудо. Бабушкино мнение не изменилось и после того, как он рассказал ей о последнем взгляде юнкера-мотоциклиста: «Какие страсти! Ведь это тоже чудо, что он тебя не выдал! Поставлю свечку и помолюсь за него... Ты не знаешь его имя? Ну, Бог-то все имена знает». Антонычу о юнкере не нужно упоминать, а рассказ о чудесах которые действительно случаются может ему помочь.

Он позвал тихо, «Антоныч... Антоныч». Ответа не было. Антоныч или заснул, или не хотел отвечать.

Игорь повернул голову к окну, едва просвечивающему в темноте. Звезды мерцали сквозь черную решетку листьев. Вспоминались строки стихов и песен о звездах — ясных, теплых, манящих... Звезды были, как всегда, совершенно равнодушны. Он узнал это в первый раз на

фронте, когда взводному унтер-офицеру оторвало снарядом весь лоб и он лежал под звездами со странно-маленьким лицом. А на другой день пришло письмо из деревни, с просьбой дать унтер-офицеру отпуск по случаю тяжелой болезни жены... Многие ночи он смотрел на звезды — под сладкое посвистывание пуль и зарево далеких пожаров. Звезды были все те-же: ясные и недоступные. Иногда казалось, что их мерцание — лукавое подмигивание. Настолько скрытое, что только тот кто подозревает это — видит его...

Опять звон часов — далекий и еще более тоскливый. Странно напоминающий вступление к Двум Гитарам. Колокол бил бесконечно долго: полночь... Игорь видел себя гимназистом склонившимся над книгой. Недалеко от дома был монастырь с курантами на колокольне. Часто в длинные зимние вечера их звон заставлял его поднимать голову и прислушиваться. Даже тогда его поражала нота печали, которой не было днем. По преданию, часы были сделаны слепым монахом. Может быть, грусть слепца отразилась в музыке его создания... Может быть все куранты, которые он — Игорь — слышал с тех пор, были изделия слепых монахов!... В таком случае, надо запретить слепым монахам заниматься посторонними делами. Пусть Богу молятся и не мешают спать...

Игорь проснулся от сильной тряски. Он открыл глаза. Было светло. Иван Иваныч тряс кровать Антоныча. «А ну, вставайте оба! Кончилось наше спанье!...

«Проснулись наконец?» спросил он, когда Игорь и Маэстро поднялись, протирая глаза. Хотя еще в тумане, Игорь видел, что Иван Иваныч был возбужден как никогда. «Фортуна повернулась лицом, как я и говорил!... У-фф, запыхался... Бегом бежал...»

«Чорт-бы вас побрал, Иван Иваныч», перебил Антоныч. «Что-же вы бежали всю дорогу чтобы только разбудить нас? Куда торопиться?»

«Ха-ха, чудак вы, Маэстро! Так вот, как я начал пока вы не перебили, чрезвычайно важные новости!» Он драматично помедлил и бросил сложенный листок бумаги Игорю на кровать. «Господа, мы едем в Америку! Читайте телеграмму, Игорь Петрович!»

Игорь прочел вслух: «Возвращайтесь немедленно Париж. Контракт и поездка Мексико аранжированы. Подписано Каранца».

«Это наш американский агент», объяснил Иван Иваныч. «Теперь понятно, почему наш французский агент покинул. Он уже знал».

«Но позвольте, Иван Иваныч, причем-же тут Мексика?» спросил Антоныч. «Ведь мы собирались в Америку».

«Конечно-же в Америку! Мексика-то ведь в Америке? Я сам на карте видел! У префекта есть географический атлас и там показано, что Мексика как раз рядом с Америкой, как Франция с Италией... Еще ближе. Отпоем там и сейчас-же через границу переедем!» Иван Иваныч остановился перевести дух. «Мы сейчас-же уезжаем с секретарем в Париж. Вы, Маэстро, тут распоряжайтесь. Вы, Игорь Петрович, назначаетесь секретарем на Америку... Второй концерт придется отменить. Я все объяснил Анне Семеновне. Неприятно, но ничего не поделаешь... Поезжайте с хором обратно, выкупите багаж, и ждите распоряжений. Не потеряйте мой чемодан с отломанным замком. Ремнем перевязан... Наконец-то наконец! Понесем казацкую славу за океан!... Смотрите, чтобы кто не надрался от радости! Может быть спевку назначьте... Надо бежать! Поздравляю! Бонжур!»

Он козырнул и поспешил к двери, но внезапно остановился. «На каком языке говорят в Мексике?»

«Кажется, по-испански», ответил Игорь.

«Вы что-нибудь знаете по-испански?»

«Только сеньорита и карамба».

«Достанем вам в Париже испанский учебник. А может быть, здесь достанете... Учите прежде всего театральные и отельные слова... Названия всяких кушаний и прочее». Раздав все необходимые приказания, Иван Иваныч выбежал из комнаты.

Антоныч почесал всклоченные волосы. «Ну что за человек! Наговорил с три короба, а ушел ничего не сказавши. Когда, он сказал, мы уезжаем? И почему ни слова о Мексике раньше? Держу пари, он и сам не знал».

Игорь взглянул на телеграмму забытую Иваном Ивановичем. «В телеграмме ничего не сказано». Вдруг все значение происшедшего ударило его с новой ясностью. Он вскочил с кровати и схватил Антоныча за плечи. «Маэстро! Антоныч, душка! Какая разница? Ведь мы едем в Америку!... понимаете?»

Антоныч отбивался слабо. «Если вы не перестанете меня трясти, никуда живым не доеду».

Они услышали легкий стук в дверь. Игорь одним прыжком нырнул в постель. «Entrez!»

Вошла горничная с подносом покрытым салфеткой. При виде двух казаков, выглядывающих из под одеяла, она скромно улыбнулась. «La petit dejeuner pour ces messieurs». [1])

[1]) Завтрак для вас.

«Завтрак в постели! Вот что значит квартировать с Маэстро знаменитого хора», сказал Игорь когда горничная ушла. Он налил две чашки кофе. «В чем дело, Антоныч? Чего приуныли?»

«Да нет, не приуныл. А вот думаю — собирались в Америку, а оказалась Мексика. Что она, большая страна, эта Мексика? То-есть, долго придется там ездить пока не попадем в настоящую Америку?»

«Понятия не имею. Кажется порядочная страна, но больших городов едва-ли много. Вот посмотрим на карту — увидим».

Антоныч кивнул. «Надеюсь, не слишком жарко там. Не люблю жары». Что вы еще знаете насчет Мексики?»

«Ничего кроме того, что она населена Мексиканцами, которые носят сомбреро... Так вот оно-то и интересно — поехать куда нибудь, о чем ничего не знаешь».

Антоныч опять кивнул — без всякого воодушевления. «Ваше желание исполнилось. А что касается меня, я-бы лучше остался здесь». Он оглянул комнату. «Подходящее место. Пианино поставил-бы вот в этот угол. Утром горничная приносит завтрак. Потом занимался-бы... Лучшего и не надо».

«Ерунда, Антоныч! Только так кажется после этих паршивых гостиниц. А вы поживите здесь с год — и омерзеет и комната и горничная и petit dejeunenr... Мексика — вы слышите музыку этого слова? Экзотика!... Тропическое небо с новыми созвездиями... сеньориты... серенады!».

Антоныч молча смотрел в окно. Его глаза приняли лазурь неба и сделались еще более глубокими. Они напомнили Игорю глаза Ecce Homo в Лувре.

Знакомый перезвон колоколов прилетел издалека. Игорь заметил как Маэстро поморщился. Как эхо колоколов умирало вдали, ему пришло в голову, что если хор должен немедленно отправляться в Мексику, он может совсем не увидеть Надю! Решать будет нечего: решение уже сделано и без него.

23.

Вбегая по лестнице квартиры Парских, Игорь знал только одно: сейчас он увидит Надю. Он дернул за ручку звонка, а другой рукой уже поворачивал ключ в замке и открыл дверь. В комнате было темно. Античный колокольчик над дверью замирал, дрожа на пружине. Игорь повернул электричество. Дверь в Надину комнату была

закрыта. Поколебавшись секунду, он подошел и постучал. Подождав еще, он приоткрыл дверь. В полутемноте, Надина постель стояла белая и пустая, с какой-то кофтой или платьем брошенным на нее.

Игорь закрыл дверь. Волнение охватившее его как только поезд отошел от станции, и достигшее почти невыносимого напряжения с приближением к Парижу, вдруг исчезло. Полнота дня выплеснулась...

День действительно был переполнен. Возвращение в гостинницу за чемоданами было гораздо шумнее и веселее, чем отъезд. Некоторое смущение было внесено когда оказалось, что Мексика не та страна откуда происходят доллары и богатые американцы. Большинство казаков от роду не слыхали о Мексике и не встречали ни одного мексиканца такого-же явного, как были явно американские заблудшие американцы из Щелкунчика. В столовой гостинницы, они сгрудились около стенной карты двух полушарий. Их опасения рассеялись, когда они увидели, что Мексика расположена как-раз под настоящей Америкой. Все сомнения исчезли когда Игорь вычитал из биржевой страницы Парижской газеты, что Мексиканское пезо котируется больше, чем десять французских франков.

Телеграмма от Ивана Иваныча пришла после обеда. До Парижа было меньше четырех часов езды и хору приказано было садиться на первый-же поезд. На этот раз Иван Иваныч не оплошал: деньги на проезд пришли с телеграммой. Итак, около полуночи, пассажиры на Лионском вокзале были слегка поражены при виде отряда казаков выгружающихся из восточного поезда. На собрании в углу вокзала Иван Иваныч доложил, что ввиду непредвиденных обстоятельств и некоторых недоразумений, они опоздали на пароход, который уже ушел из Булони. Но они его догонят в Бордо. Все должны явиться на вокзал завтра, в семь часов утра. Шесть комнат было заказано в их прежней гостиннице. Иван Иваныч прибавил многозначительно, что некоторые комнаты двуспальные и несомненно будут достаточны. Весь багаж лучше сложить в гостиннице.

Потом спешка в Щелкунчик... Кислосладкая улыбка Monsieur Louis. Китти чуть не уронившая поднос при виде его... «Опять прогорел?» — от Васи... От Ольги: «Мы так и думали, не получая от тебя ничего, что ты опять с сюрпризом». Новый цыганский хор: два бывших гвардейских офицера, семинарист, помощник присяжного поверенного и две дамы блондинки. Он знал их всех по Монмарт-

ру... Нади не было!... Завистливые поздравления когда он сообщил новости... Наконец он мог спросить Ольгу, за занавеской, когда хор пел Гай-да Тройка... «Разве ты не знаешь?» она спросила в ответ, с преувеличенным удивлением. «Надю в Москву пригласили. И как раз вовремя: Наш Луи сделался слишком любезен к ней. Москва — солидный ресторан, закрывается в десять. Так что она уже больше не ночная птица. Часто приглашают петь в частные дома... Она не пропадет... Американцы уехали домой, кромеЛюсиль. Она заходит иногда с компанией... Ронни тоже остался». Она помолчала. «Нам тебя проводить надо. Ты что собираешься делать?» Он только смотрел на нее. «Я тебе ключ дам, в случае, если она еще не вернулась. Капитусь привезет меня как только закроем лавочку». Ввиду позднего часа, он попросил Monsieur Louis продать ему бытулку коньяку, объяснив причину такой необходимости. В необычайном порыве великодушия, Monsieur Louis подарил ему бутылку.

Игорь поставил кошелек с бутылкой на стол и взглянул на часы. Почти половина второго! Он почему-то вспомнил мальчика в поезде, надувавшего большой красный пузырь — пока пузырь не лопнул прямо ему в лицо. И мальчик не знал, что ему делать — плакать или смеяться...

«Ронни тоже остался...» Игорь взял бутылку в кухоньку, нашел штопор, откупорил и хлебнул прямо из горлышка. Затем сел и закурил. «Ронни тоже остался...»

Внизу хлопнула дверь. Шаги вверх по лестнице. Голоса... Один голос заставил его вскочить... Щелканье ключа в замке. Дверь открылась. Надя вступила, улыбаясь кому-то позади. Она обернулась. Ее улыбка исчезла — и сразу засияла вновь. Но Игорь не видел ничего кроме мужчины вошедшего с ней — Ронни из заблудших американцев!...

Надя шла к нему с распростертыми руками. «Горка! Как ты сюда попал?» Она говорила по-русски.

«Через эту дверь, при помощи ключа!»

«Да как ты оказался в Париже?... Pardon me ». Она перешла на Английский. «You remember Ronny?»

«Разве возможно забыть?» ответил он по-русски. Потом по-английски: «Конечно, я помню Ронни... Hello, Ronny».

«Hello, Igor. Рад вас видеть», сказал Ронни, улыбаясь... Несколько натянуто, подумал Игорь.

«Asseyez-vous, Messieurs... Sit down, Ronny... Я сейчас заварю чай».

Ронни взглянул на часы. «Боюсь, что вам придется меня извинить. Я не знал, что уже так поздно. Может быть в другой раз».

«All rigth, Ronny. Обязательно в другой раз. Спасибо за компанию».

«The pleasure was all mine. I'm sure... Good night... Good night, Igor. L'll be seeing you ».

Игорь поклонился молча. Надя проводила Ронни за двери. «Не свалитесь с лестницы. Темно».

«Я уже все повороты знаю».

«...Очень жаль, что испортил вашу tea party», сказал Игорь когда Надя вернулась.

В ответ Надя разразилась смехом. «Горка, посмотрел бы ты на себя! Я думала ты подходящ только для легких и комических ролей!»

Он выпрямился.

«...Но оказывается, ты сильно драматический артист! Твоя имитация трагического невежи неподражаема! Бедный Ронни! Он пригласил меня в Moulin Rouge и я решила его пригласить на чашку чаю, пока Ольга не вернулась... Представьте его положение! Вместо чаю, кровожадный казак готовый наброситься на него!»

Игорь наконец тоже рассмеялся. «Перестань издеваться! Иначе я выползу червяком сквозь эту щель под дверью».

Она опять засмеялась, подошла и взяла его за руки. «Это лучше. Ты давно здесь ждал?»

«Нет, только тысячу лет. Приехали поздно. Пока там всякие дела устроил... Я ведь теперь произведен в секретари... Помчался в Щелкунчик. Ольга дала ключ... Помчался сюда...»

Она сжала его руки. «Если-бы я только знала!.. Но что случилось? Ты вернулся?... Казаки вернулись в Париж?»

«Да... то-есть, нет... Все вернулись. Но завтра утром, вернее сегодня утром, мы уезжаем в Мексику». Еще не окончив, он уже видел всю трагическую глупость положения.

«Но я не поеду», он вдруг услышал свои собственные слова.

Улыбка потухла в Надиных глазах, хотя еще оставалась в изгибе губ. «Куда не поедешь?»

«В Мексику... с казаками».

«Почему?»

«Почему?», повторил он почти с досадой. «Разве тебе нужно спрашивать?»

Она отпустила его руки. «Подожди. Дай разобраться, Горка... Ты едешь в Мексику? Почему в Мексику?

Я думала хор едет в Америку».

«В Америку потом... Но я не еду! Не могу ехать!.. Разве ты не видишь?»

Он сделал движение приблизиться к ней, но выражение ее лица остановило его. «Постой, Горка... это все так внезапно... так странно... Ты совсем собрался в Мексику... и вдруг раздумал». Она хихикнула не своим смехом. «Как смешно... потрясающе»! Она засмеялась и почти упала на кушетку. Откинув голову назад, она хохотала...

Она затихла так же внезапно и закрыла лицо руками. «Принеси мне воды».

Он поспешил в кухню и принес стакан. Она взяла его дрожащей рукой, выпила половину и протянула обратно. «Спасибо... Не обращай внимания, Горка. Слишком много сюрпризов... Зажги мне папиросу».

Она затянулась глубоко и выпустила длинную, тонкую струйку дыма. «Надя...» начал он, но она остановила его легким жестом, продолжая смотреть прямо перед собой.

Наконец она заговорила. «Горка, нам нечего разговоры разговаривать. Давай поговорим по-душам... Ольга мне все сказала!»

Он был рад, что она успокоилась. «Да? Так мне и надо. Мне самому нужно было-бы сказать... Я люблю тебя, Надя».

Надя закрыла глаза и улыбнулась тихой, счастливой, слегка грустной улыбкой. «Молодец, Горка, не выдал Ольгу», продолжала она смотря на него с той же улыбкой. «Да, она сказала мне то, что я ждала от тебя... Чтобы сказать тебе то же самое в ответ. Что ты мне не сказал до минуты, когда мы может быть видим друг друга в последний раз».

Она говорила спокойно. Упрек ее слов был не в словах самих, а в этой трогательной улыбке. Пораженный, Игорь смотрел на нее. «Надя, что ты говоришь?»

Надя продолжала тем-же ровным голосом. «Мне нужно сказать все это, Горка, чтобы ты знал... Да, я была очень несчастна в тот день... Бог знает почему... Мы никогда не разговаривали о любви. Разве только в шутку. Но я уже знала о себе и думала, что вижу ее в тебе... Может быть чувствовала себя униженной. Наш весь род гордый. Помню, тетя Лиза говорила мне это — и про себя и про маму и про бабушку... Потом Ольга рассказала мне. Имей в виду, Горка, Ольга твой настоящий друг. И мой, тоже... И я вспомнила опять некоторые твои изречения. В то время я пропустила их без внимания, а теперь я

вижу...

«Как это я втюрилась в тебя, Горка?.. Уму непостижимо! Меньше чем в месяц!... Действительно, теория невероятности!... Но мне казалось, что я тебя знала уже давно. Ольга и Капитусь часто разговаривали о тебе. Я видела твои снимки в их альбоме. Знаешь, когда ты пришел в Щелкунчик, ты был совершенно такой, каким я тебя представляла... Я даже была польщена твоим вниманием — дура я этакая».

Она отмахнула клуб дыма от лица. «Однако, я не хочу испортить твоего путешествия...»

«Перестань, Надя! Никуда я не еду. Разве ты не видишь, я вернулся к тебе!»

Холодный огонь сверкнул в серых глазах — какого он никогда не видел. «Врешь, Горка! Не ко мне ты вернулся!» Она раздавила окурок о пепельницу и нагнулась к нему. «Если бы только ко мне! Если-бы... Но нет! Ты зашел попрощаться — и раздумал. Увидел, что кто-то другой тоже за мной. Не правда-ли? Не правда-ли!... Ты воображал, что я сижу здесь, жду тебя?... Ошиблись, молодой человек! Я кое-чему научилась. Может быть спасибо надо сказать за твой веселенький пессимизм... Подруга у меня была на фронте, сестра Ксения. Сумасшедшая... Все говорила: Дура ты, Надька. Не знаешь, что пропускаешь. Ведь только раз живем... Я начинаю думать, что она может быть права. Что я видела? Война, революция... одно несчастье. Я жить хочу...

«Чего ты на меня так глаза вылупил? Не бойся, я не сделаюсь как она... с каждым... по-зверски. Но если не достался один, кого любила, достану другого который придется по вкусу. Возьму, что могу — и дам взамен, что могу. Это будет честная сделка... Любовь хороша, но слишком много беспокойства... боли... страдания...»

Не дав ей кончить, Игорь упал на колени, покрывая ее руки поцелуями. «Не надо, Надя, перестань... Подумать, что я довел тебя до этого... Тебя — единственную, кого я любил... Кого я люблю. Ты знаешь, что я убежал не от тебя, а от себя».

Ее руки были на его щеках, приподняли лицо. Их глаза встретились. Надины сияли прежней нежностью. «Дурашка! Конечно я знаю, что ты любишь меня. Если бы не любил, я была-бы тебе следующим номером... Что, удивляешься? Сестры в госпиталях тоже играли в эту игру... Ты угадал мой номер, Горка?... Я тоже не скажу, какой твой номер угадала». Она гладила его волосы. «Мы удивительная пара — объясняемся накануне разлуки. Как раз, как в этом романсе: «...Привычных слов и взо-

ров не ценили и разошлись, как в море корабли». Очень сердцещипательно, и очень глупо!... Подумать только, что ты — из всех кого я встретила — потерял себя и не можешь найти... с кем так хорошо быть вместе... — полный жизни — ты оказался живым трупом... И хвастаешься этим».

«Ты простишь меня, Надя. И поможешь мне».

«Ты не виноват, Горка. Ни предо мной, ни пред собой. Уж такая судьба наша. Но не будет нам счастья вдвоем... не надолго. Теперь я уже боюсь! Боюсь, что ты скоро опять передумаешь и будешь жалеть, что не уехал. Может быть ты и не скажешь ничего из жалости ко мне. Но это будет жертва. А жертвы мне не надо».

Она поднялась и он поднялся к ней. «Ты закончила свою проповедь?» Она кивнула молча. «Теперь слушай мою. Очень короткую: Я не еду!»

«Нет, ты поедешь».

«Кто меня заставит?»

Они смотрели вызывающе друг на друга. Надя пожала плечами. «Если ты не уедешь, я уеду. И не в Мексику, а прямо в Нью-Иорк!»

Он смотрел на нее тяжелым взглядом. «Ронни?»

«Это мое дело! Не принуждай меня, Горка... Не вызывай. Это тебя не касается, но скажу тебе, что между мной и Ронни ничего нет. Я никому ничем не обязана, и не буду!» Она подошла и положила руки ему на плечи. «Не заставляй меня говорить все это... Я не могу видеть тебя таким!... О, Горка, почему мы не можем любить друг друга, как и другие люди! Разве какое то проклятие на нас? Ты помнишь этого Стрига на Notre Dame? Помнишь, как он смотрит — как будто бы все ему шутка. Я часто вспоминаю его... Все время наблюдает... с усмешечкой... Он усмехался прежде чем мы родились — усмехался пока мы страдали и надеялись в войну и революцию — усмехался когда мы встретили друг друга. Он и сейчас там усмехается на нас жалких дураков. Он вероятно знал все время... Горка, почему мир так жесток!» Она проглотила слезы. «Нет, не хочу, чтобы это последний раз! Это же бессмысленно! Мы увидимся, Горка. А пока не смей петь Две Гитары ни с кем!.. Поцелуй на прощанье... Здесь крыс нет и я не боюсь».

Ее руки обвили его шею. Их губы встретились. «Горка, милый», шептала она между поцелуями. «Это счастье... и мука!»

«Это счастье, Надя.. не позволим никому отговорить нас от него...» Непреодолимая сила тянула их к Надиной комнате.

Звонок над дверями звякнул неожиданно и громко. «Ольга!» прошептала Надя, вырвалась и убежала в свою комнату. Игорь пригладил волосы и открыл дверь. Сотник Коваль стоял в темноте.

«Какое совпадение, Сотник!» воскликнул Игорь — громко, чтобы Надя услышала. «Мы только что о вас говорили! Заходите».

Коваль вошел и быстро оглянул комнату. Надя вышла, улыбаясь: «Какой сюрприз, Паша!»

Он поцеловал ее руку. «Забежал попрощаться. Зашел было в Щелкунчик. Ольга Николаевна сказала, что у вас гости. Что вы вероятно не спите... Там половина хора нагрянула. Лукич о вас спрашивал. Танцевать с вами хотел».

Надя засмеялась. «Этот Лукич!... Садитесь, сейчас чай поставлю».

«Да нет, я только забежал попрощаться...»

«По крайней мере выпьем на дорогу», вмешался Игорь, боясь что Надя будет настаивать чтобы Коваль остался. Положение становилось все более и более глупым!... Он пошел в кухню, налил три рюмки коньяку и принес на подносе.

«...Представьте себе — в Мексику!» говорила Надя. «Как-же это вышло?»

«Никто ничего не знает, включая нашу дирекцию», ответил Коваль. «Мы несомненно самая удивительная концертная труппа. Таких не бывало и не будет».

«Я слышала у вас теперь новый секретарь», сказала Надя. «Говорят очень дельный и расторопный».

Коваль изобразил подобие улыбки. «В нашем положении, что ни случись — все к лучшему».

Игорь поднял рюмку. «Ну, за процветание казачьего хора. Ходит птичка весело по тропинке бедствий, не пред видя от сего никаких последствий».

Они выпили. Надя только притронулась к своей рюмке. «Может быть не надолго», сказала она. «Это еще неопределенно, но я тоже могу попасть в Америку. Недавно один господин зашел в ресторан. Хотел поговорить. Спросил не заинтересуюсь-ли ангажементом в новом кабарэ в Нью-Иорке. Я, конечно, ответила, почему нет? Обещал дать мне знать... Так, что может быть опять все встретимся в Новом Свете».

«Замечательно!» воскликнул Коваль. «Завоюем Америку... Ну, я пойду».

«Увидимся на вокзале, Паша. Ольга и Капитусь должны быть скоро. Посидим, а потом и на вокзал поедем».

«Они должны быть скоро, если их всех там не арес-

туют за нарушение тишины и спокойствия... Итак, пока». Он поцеловал Надину руку, кивнул Игорю и вышел.

«Пойду поставлю чайник», сказала Надя, направляясь в кухонку. Игорь сел и закурил. «Горка», услышал он ее голос. «У меня к тебе большая просьба... Там, в Мексике, или куда вас еще занесет — посматривай за ним».

«Посматривай?... Он едва ли оценит такую заботливость».

«Да... Но все-таки... Ты сам знаешь... Ведь он не безнадежен... Ему нужна терапия... Может быть в Америке удастся. А пока он такой беспомощный... Помоги ему, в случае чего... Для меня».

«Хорошо. Если что могу — сделаю».

Она подошла и поцеловала его — поцелуем, который не требовал ответа. «Спасибо, Горка». Их глаза встретились в немом и понимающем взгляде: песнь любви — раз прерванную — нельзя ни окончить ни начать сначала.

24.

Иван Иваныч никогда не был более проницательным, чем когда он заказал только шесть комнат, некоторые из них двуспальные. Меньше дюжины казаков пошли спать в последнюю ночь в Париже. На платформе вокзала их легко было узнать по свежим, выспавшимся лицам. Большинство из остальных покачивались и хлопали глазами. Даже усы Полковника повисли как будтобы слегка подмоченные. Он стоял в группе усатых мужчин средних лет — повидимому бывших кавалеристов. Платформа была переполнена казаками и их провожающими. Русская речь висела в воздухе. В стороне от толпы, Князь стоял с хорошо одетой женщиной средних лет.

«Игорь Петрович, где-же вы пропадали?» воскликнул Иван Иваныч заметив Игоря, Надю и Парских. «Старого секретаря потеряли где-то по дороге. Вероятно отсыпается или дома или в участке. Хорошо, что билеты у меня. Вот, возьмите... Пойдемте к агенту».

Игорь совершенно забыл о своем производстве. Он чувствовал необычайную пустоту в голове. После проводов у Парских, суета на станции только усиливала сознание нереальности всего происходящего. Насколько он помнил, это началось с приходом Коваля... Потом Ольга, Капитусь, Вася, Бобо и Китти... Было масса всяких тостов и поцелуев... Затем Вася и Китти исчезли, а Бобо оказалась в Надиной постели и только бормотала: «Устала,

не хочу», и отмахивалась когда ее пытались разбудить чтобы ехать на вокзал. Пришлось оставить ее там... Сам он двигался автоматически, следуя курсу событий...

Американский агент Каранца оказался похожим на Чичикова, только смуглого, с тонкими усиками, в соломенной шляпе. Он сначала огорчился, узнав что, Senor секретарь не говорит по-испански, но несколько повеселел, когда Игорь уверил, что понимает по-английски и по-французски. Он передал Игорю пакет с документами и сообщил, что представитель встретит их в Вера-Круц. Он серьезно рекомендовал сеньору секретарю провести две недели на пароходе, считая стоянку в Гаване, изучая испанский язык.

Беседуя с агентом, Игорь заметил танцора Сашку стоящего в некотором отдалении, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, очевидно ожидая. По окончании беседы, он подошел. «Пойдем на минутную. Моя Мими, чорт-бы ее задавил, раскудахталась там. А я не знаю, чего она лопочет и чего ей сказать».

Мими оказалась маленькой сухопарой женщиной неопределенных лет, остроносой, с глазами густо подведенными маскарой. Если и были какие-либо прелести в ее лице, их теперь не было видно за тревогой и слезами.

Она схватила Игоря за рукав. «Oh, Monsieur! Вы скажите ему пожалуйста... Он не должен так поступать со мной! Он говорил, что любит меня, а теперь уезжает».

«Чего она скулит?» спросил Сашка, нетерпеливо.

«Она расстроена твоим отъездом».

«Спроси ее, как она узнала, что мы здесь?»

Игорь перевел вопрос.

«Oh, Monsieur! Я живу напротив их гостинницы и видела. Я ждала и ждала, а он не пришел!»

Игорь перевел ее жалобу.

«Скажи ей, что надоела!» сердито воскликнул Сашка.

«Он говорит, что не было времени», Игорь перевел, свободно. «Не шуми, Сашка, и не выгляди разбойником... Что ты хотел ей сказать?»

«Скажи, что она старая стерва и чтобы не приставала!»

«Он говорит, очень жаль, но ничего нельзя поделать. Ему нужно ехать с хором».

«Mais non, Monsieur! Он обещал вернуться и остаться со мной!»

«Pardon, Madame... Слушай, Сашка, тут нам скандалов устраивать нельзя. Говори чтонибудь. Что хочешь — лишь сделай приятное лицо. Я ей скажу, что полагается, а потом ты будь к ней очень внимателен... Поцелуй,

или еще что... А тем временем скоро поезду уходить. Понимаешь в чем дело?»

Сашка кивнул с видимой неохотой. «Ну, ладно, наворачивай...»

«Дура ты, баба», обратился он к Мими, с широкой улыбкой. «Что мне с тобой делать! Ты думаешь все **шери** да **мон амур** да **же вузем?** Много таких как ты в Америке... Да еще и получше...»

«Что... что?» воскликнула Мими, узнав несколько знакомых слов.

«Он говорит, что вовсе не перестал вас любить. Но он хочет заработать побольше в Америке... Говорит, что вернется через несколько месяцем».

Лицо Мими просияло. «Правда, Monsieur? Он вернется?» Она вытирала глаза платком, стараясь не размазать маскару.

«Теперь твой черед, Сашка. Я сказал, что мы вернемся после гастроли... Eh, bien, Madame. Я больше не буду мешать вашему tete-a-tete».

Он подошел к группе около Нади и Парских: Лукич, Коваль и поручик Петров, который повидимому получил пневматичку посланную Игорем вчера с вокзала.

«Дипломатист, с точки зрения, Игорь Петрович», сказал Лукич. «Похоже выручил Сашку. А мы так и думали, что прищемила Сашке хвост его Мими. Остерегаться надо таких поджарых да востроносых! В гостиницу приходила. Шумела. Не верила, что его нет. Полицией грозилась! А ты ее утихомирил. Вишь бархатная стала».

«Что ты ей сказал, Горка?» спросила Надя... С ударением на «ей», как ему показалось.

«Горка за словом в карман не полезет», ответил за него Петров.

«Донжуанистые ребята. Покоряют сердца в каждом городе...» Капитусь не окончил под убийственным взглядом Ольги. Надя наблюдала за нежной сценой между Сашкой и Мими. Сотник стоял молча, опершись на палку.

«En voiture! En voiture!» пропел кондуктор. Внезапная суматоха на платформе. Восклицания, объятия, поцелуи... «Прощай!... Счастливо!... Пиши!» Слезы в Ольгиных глазах... Запах коньяку от Капитусиных усов... Крепкое объятие Петрова: «Не заблудись в новом свете, старина!» Надины глаза — близкие, огромные, потемневшие от бессонной ночи... Ее поцелуй, быстрый и жгучий... «Увидимся», прошептала она — или только послышалось?...

«En voiture!» Вот он у открытого окна площадки вагона... Свисток... Внезапный непреодолимый порыв —

спрыгнуть с площадки. Но Коваль в двери, выглядывал наружу... Всегда Коваль! И теперь — и вчера — и все время в Париже... Как тень между ним и Надей...

Платформа двинулась назад... Шоферские фуражки Капитуся и Петрова среди машущих платков и шляп... Мими, жалкая и смешная с маскарой разлитой слезами... Хорошо одетая дама средних лет уже направляющаяся к выходу... Последний взгляд серых глаз...

Бесконечная линия пустых пассажирских вагонов вместо платформы. Коваль повернулся и пошел в вагон, покачиваясь и придерживаясь за деревянные спинки сидений третьего класса, где казаки располагались на долгое путешествие. Игорь следовал за ним, готовый поддержать, но Коваль благополучно добрался до своего места. Игорь вернулся к своему, у самой двери, чтобы перехватить кондуктора, когда тот придет проверять билеты.

Непреодолимая усталость охватила его. Голова вдруг отяжелела и не было ни силы ни желания держать ее прямо... Когда и где он спал в последний раз? Вчера, в том городке где Иван Иваныч принес телеграмму? Невозможно, чтобы это было только вчера. Это было гораздо раньше, и много чего случилось с тех пор...

...Но колеса уже начали знакомый ритмичный говор. Игорь кивнул, прислушиваясь — что они скажут? Если прислушаться внимательно, колеса всегда что-то болтали — вероятно от скуки... Большей частью ерунду, бессмысленный набор слов — лишь-бы только в ритм... Тут-и-там, тут-и-там, услышал он. Откуда колеса знали о мифифеском фараоне, который продал щенка сфинкса прохожим цыганам?... А может и действительно был такой фараон? Много их было, всяких фараонов... Во всяком случае, Надя смеялась. И Сотник даже повеселел...

...«Тут-и-там, тут-и-там!» твердили колеса, ускоряя ритм... Торопясь выиграть для него пари, которое он заключил с Надей на рассвете, когда бутылка коньяку уже опустела?... Капитусь сказал. «Погляди, что там в Америке и напиши. Позавчера, в киндергартене, я поглядел на Колю в этом черном балахончике... Плохой я отец! Может в Америке повезет лучше».

«Да, разузнай хорошенько, Горка», прибавила Ольга. «Хуже чем здесь не будет».

«Решено и подписано!» объявил он. «Как только приспособлюсь там, сейчас же вас выпишу!»

«Не торопись, Горка», вмешалась Надя. «Ведь ты в Мексику едешь, а не в Америку. Я могу туда раньше тебя попасть, я их и выпишу».

«А, не задавайся, Надя! С удовольствием встречу тебя в Нью-Иорке и покажу достопримечательности».

И опять он увидел эту вспышку в ее глазах. «Держу пари, Горка! Держу пари на что угодно, что встречу твой поезд или пароход... если только пешком не придешь!»

И они хлопнули по рукам, закрепляя пари a discretion к явному неудовольствию Ольги... И теперь колеса торопились помочь ему...

Чья-то рука дотронулась до его плеча. Он достал из кармана билеты и взглянул. Это был не кондуктор, а Коваль с бутылкой в руке. «Проснись, Волгин... Хочу долг заплатить... Вот, приложитесь... Помогает. Я знаю».

Игорь взял бутылку, глотнул, вернул бутылку Ковалю и снова закрыл глаза.

Стих Третий.

25.

Для наблюдающего из окна вагона, опаленная солнцем Мексиканская равнина медленно поворачивалась вокруг лиловой горной гряды на восточном горизонте. Сама гряда стояла неподвижно как мираж, муаровая в струях горячего воздуха. День за днем равнина кружилась в том-же направлении, против часовой стрелки, с тех пор, как хор покинул столицу и продвигался на север, к Американской границе. Вблизи пути, колючие пыльно-зеленые лепешки кактусов пробегали быстро. Дальше от поезда, круговорот равнины замедлялся, но не было на ней ничего, что бы могло привлечь внимание. Ничего кроме бурых выступов скал и случайной группы каких-то низкорослых пальм похожих на щетки. Равнина простиралась бесцветная, жаждущая под высоким солнцем. Одинокий орел парил как будто неподвижно в глубокой синеве, и серое облако пыли висело низко над далеким, невидимым селением.

Пыль от поезда летела мимо окон клочками грязной вуали и бежала сзади крутящимся вихревым столбом. На открытой задней площадке последнего вагона два казака, без рубашек, чистили белые папахи. Перегнувшись через перила, они выбивали муку из меха, отчего серый вихрь преследующий их внезапно белел. На обоих сторонах вагона, два огромных полотнища объявляли большими красными буквами, «El Coros de Cossackos Russos». После шумного успеха в столице, правительство предоставило хору вагон в бесплатное пользование на все время пребывания в стране — с культурно-просветительной целью: познакомить Мексиканский народ с русскими песнями.

Внутри, сизые слои табачного дыма лениво колыхались в неподвижном душном воздухе. Окна были закрыты, от пыли. Папахи, черкески, кинжалы, пальто развесились вдоль стен или лежали на полках и на грудах чемоданов, мешков и связок. Узкий проход между двух рядов

сидений был перегорожен несколькими парами ног, босых и обутых, принадлежащих отдыхающим казакам. Те, которые уже не могли больше спать, разговаривали или просто смотрели в окна. Одна группа играла в трынку. Вагон был подвижным домом. Железная дорога отцепляла его в городах где давался концерт. Если следующий поезд уходил рано, хор возвращался спать в вагон, чтобы не вставать утром и кстати уменьшить расходы на гостиницу.

Игорь сложил Ольгино письмо, которое он уже знал наизусть. «Не стоишь ты этого письма после того, как сам ограничился открыткой с Мексиканскими вулканами, которых имена невозможно произнести. Но пишу по доброте сердечной и по старому знакомству». После этого вступления, Ольга сообщала, что Щелкунчик кое-как протащился через мертвый летний сезон. Капитусь попрежнему гоняет такси, а Коля уже разговаривает по-французски. Китти все та-же, а вот Бобо встретила на русском балу какого-то чешского инженера. Говорит, очень милый человек и с серьезными намерениями. Она надеется... Самые интересные новости Ольга приберегла к концу. «...Мы ищем другую квартиру. Надя уже больше не с нами. Она нашла себе уютный pied-a-terre на Rue de Lafayette. У ней было новоселье как-раз через день после прибытия твоего письма ей по старому адресу. Я ей и отнесла. Мы все читали его и смеялись на похождения «наших за границей». Очень интересно. Однако мне кажется, что это не совсем тот романс, к которому ты стремился. И похоже также, что ты проиграл свое пари. Надя говорит, что переговоры насчет Американского ангажемента подвигается, и надеется встретить тебя в Нью-Йорке. Она шлет тебе привет и говорит, что напишет как только соберется. Ну, не увлекайся там особенно сеньоритами. Entre nous, я думаю, что ты идиот...»

Игорь потер шею, еще одеревянелую после ночи в обычном зигзагообразном положении, с пальто вместо подушки и не имея места куда протянуть ноги, кроме как на голову Кирюши, через проход. Кирюша теперь смотрел в окно, один, и улыбался иногда, прислушиваясь к тому что происходило в соседнем купэ, где Лукич авторитетно рассказывал о службе при старом режиме.

Игорь все еще думал о письме Ольги... С чего ему пришло в голову написать Наде это глупое письмо о «наших за границей» после почти месяца в Мексике? И вообще, почему он выкидывал другие штуки, заслужившие ему репутацию безалаберного? Он смутно чувствовал, что Ольга знала больше, чем было в письме.

Иначе, Ольга не прибавила-бы последних слов: Entre nous, ты идиот...

«...Вот приходит слух, что генерал Бакланов приезжает смотреть полк», бас Лукича гудел из соседнего купэ. «Полковник зовет сотника и намекает, что вот дескать генералу будет очень приятно, с точки зрения, ежели-бы он, например, услыхал песню о генерале Бакланове. Сотник вертается в канцелярию и обкладывает и генерала и полковника, что людей беспокоят. Потом зовет вахмистра и объясняет беду. Вахмистр подумал и говорит: «Так-что не извольте беспокоиться, будет песня». «Верно говоришь?». «Так точно, будет песня». «Ну смотри, сукин сын, если не будет, полковник меня заест, а я с тебя шкуру сдеру!». «Так-что не извольте беспокоиться». Ну, ладно. По скорости времени приезжает генерал Бакланов и вся свита. Принял парад, похвалил джигитов. Все пошли обедать в офицерское собрание. А на лужке трубачи играют, песельники поют. Полковник так сурьезно на сотника поглядывает. А тот только головой кивает, знак подает. Не извольте-мол беспокоиться... Хорошо. После обеда, песельники на коней. Отошли на малую дистанцию, запевалы начали: Эй, Бакланов Генерал, Генерал Бакланов! Остальные подхватили с свистом, с гиканьем... И всех удовлетворили. Генералу лестно, что в песню попал. Полковнику приятно, что генералу угодил. Сотник рад, что отделался и полковнику заслужил. Вахмистр тоже...»

«Щ-ж це за песня», Вафлин голос перебил его. «Не слыхал я такой песни. Як она дальше?»

«Деревенщина ты, Вафля, с точки зрения. Это и вся песня: Эй, Бакланов генерал, генералов Бакланов. Дальше-то сочинить не успели. Да генералу все-одно остального-то не слышно из-за шума. Цимбалистам было приказано бить крепче, а свистунам свистеть громче».

«Да ты брешешь, Лукич. Воны не посмели бы сделать такое генералу».

«А вот и сделали. Я верно знаю. Батько рассказывал, а он мне врать не будет. Ему этот самый вахмистр кунаком был.

Жаждущая мексиканская равнина продолжала свой медленный круговорот около далекой лиловой гряды. Холмы и равнины Европы, наблюдаемые с поезда, тоже кружились вокруг какой нибудь точки на горизонте. Казалось, что бежишь по огромному бесконечному кругу, никогда не возвращаясь обратно, и нет возможности

оторваться от круга. Со временем приходило сознание безнадежности и бесцельности такого кружения. И вот теперь оказалось, что и Новый Свет вращается с той-же неумолимой закономерностью. Конечно, та-же самая оптическая иллюзия, о которой он говорил Наде на Эйфелевой башне. Но после месяца такого кружения, к сознанию бесцельности примешивалось тревожное беспокойство, томительная тоска...

Игорь поднялся. «Эй, Лукич, есть один на один?»

«Самая малость. Только только до следующей остановки хватит». Лукич достал бутылку с полки и протянул ее Игорю. «Один на один» был его рецепт для водки собственного разлива: бутылка воды на бутылку спирту из аптекарского магазина. Знакомые напитки оказались дороже в Мексике, чем во Франции, а местную «пульку» Лукич считал неподходящей для казака.

«Да что-же ты, Лукич», укорил его Вафля. «Секретарю делом заниматься надо, а ты со своей бутылкой... Не могу понять, Игорь Петрович, чего вы связались с таким человеком».

«А ты старших по чину уважай, Вафля. Не обращай внимания на ишака, Игорь Петрович. Вот, приложись».

Игорь глотнул из бутылки и протянул ее Лукичу, который сделал то же самое. «Бас деликатный голос и требует подмазки... Скоро приедем?»

Игорь взглянул на часы. «Через полчаса, если не опаздываем». Самогонка Лукича жгла горло. Он пошел к водяному баку рядом с его местом, но вспомнил, что он был пуст. Затем он увидел полковника пробирающегося от другого конца вагона, где он сидел вместе с Маэстро и сотником Ковалем. Полковник осторожно переступал через пары ног, которые не исчезали при его приближении. Одна из исчезнувших, тоньше и темнее остальных, принадлежала сеньору Гомецу, приставленному к хору мексиканским агентом. Сеньор Гомец понимал по-английски немножко больше, чем Игорь по-испански, так, что они могли объясняться.

Полковник наконец достиг до бака и взял кружку висевшую на цепочке.

«Нет воды, Полковник», сказал Игорь. «Все пьют как лошади».

«И не удивительно в такой жаре». Полковник повесил кружку на крючек и сел с Игорем. Оба наблюдали за двумя казаками на задней площадке.

«Одно удобство в нашем вагоне — очень подходящ для чистки папах», заметил Игорь. «Я помню неприятности в Париже».

«Да, это правда. Только вот насчет этой пыли. Попросили-бы чтобы прицепляли нас к переднему концу поезда».

«Я уже просил. Гомец говорит, так удобнее для железной дороги. Отцеплять и прицеплять на станции».

«Хорошо, что хоть кому нибудь удобно». Полковник вытер лоб. «Опять жарко после полудня».

«Гомец говорит, не будет так жарко к северу. На Рождество до границы доберемся».

«Еще почти три месяца до Рождества», сказал Полковник, поднимаясь. «У меня там апельсины остались. Если в горле першит после Лукичевой самогонки — приходите».

После того как он ушел, Кирюша подсел к Игорю. «Хорошо-бы поскорей на север», сказал он, потом продолжал понизив голос. «Мы лучше поспешим в Америку, Игорь Петрович. Неподходящие эти места Антонычу. Эта жара и духота как-бы не доконала его». Он замолчал и смотрел в окно. «Чудные места... Ось бачьте», он показал на растение похожее на растрепанную метлу. «что оно — чи куст, чи щетка? Все чудно здесь — и места и народ. На юге вулканы и снег на горах, а здесь как пустыня. Ананасы в поле растут. Хлеб едят, а откуда муку достают — неизвестно. Ни пшеницы, ни ржи нигде не видел. Вместо картошки жареные бананы подают... И погулять тоже негде. Помните тот город во Франции, с прудом около вишен? Нет таких мест здесь, чтобы на траве полежать. Дома расскажешь — не поверят... Далеко забрались от дому. Поглядел я на карту в одном отеле — и Черное море маленькое, как пруд, рядом с океаном, что мы переехали. А Кубань тоньше нитки. А Майкопа совсем не показано».

«Станицы и пруда тоже не показано?»

Кирюша усмехнулся. «Все зеленым цветом закрашено. Вот Мексиканцы посмотрят на эту карту и никогда не узнают, что есть такой город и такая станица. А ведь большой город. Купить можно все, что надо. А по карте выходит, нет такого города и таких людей...

«Может их и вправду нет», он закончил после небольшого молчания. «Может я только думаю, что они там. Вот уж больше года как нет писем. Куму написал, может он напишет... Почему не сходите к полковнику за апельсином? Да и мне оставьте. Прямо точно веревку проглотил».

Игорь начал пробираться вперед. Он остановился около группы картежников, где Сашка и Князь переругивались, как обычно в последнее время. Отношения между

двумя танцорами испортились после того, как столичная газета напечатала фотографию Князя в воинственной позе, с надписью, «Князь Мишель Кирвани, знаменитый казацкий танцор из Грузии». Князь купил дюжину номеров документа устанавливающего его княжеский титул. Он начал рассказывать, что титул был пожалован его предку Грузинским царем — каким именно, он позабыл. Казаки смеялись, зная кавказский обычай звать князем каждого у кого было два барана. Однако Сашка обиделся, что не попал в газету.

Маэстро и Коваль продолжали смотреть в окно когда Игорь сел напротив Полковника. Очищая апельсин, Игорь подумал, что Кирюша был прав относительно Маэстро. Антоныч выглядел усталым. Его щеки впали глубже, цвет лица был нездоровый.

«Ну что-же вы, Игорь Петрович, все еще хотите продолжать вот так еще двадцать лет?» спросил Полковник.

Маэстро повернулся. «Да, я помню вы распространялись о Мексике. Страна романсов! Может для кого и романс, а только не для нас. Правда, столицая ихняя — замечательный город. И не очень жарко. Да и там дышать трудно. Высоко... В том городе — Оризава, кажется — в долине в горах, с цветами и со снежной шапкой — тоже хорошее место. А остальное — одна пыль и нищие».

«Гомец говорит, у них тут тоже недавно революция была», ответил Игорь. «Не такая, конечно, как у нас, но страну всетаки пораззорили». Насмешливая улыбка на лице Коваля раздражала его.

«Интересно-бы посмотреть, что оно там позади этих гор», сказал Маэстро. «Едем, едем и никак не проедем».

«А вот скоро узнаем, как только в Тампико повернем», ответил Иван Иваныч со своего места через проход. «На карте показано, что Тампико на море. Прохладнее будет».

Коваль заговорил не отворачиваясь от окна. «Вера-Круц тоже на море, а температура только на пять градусов ниже, чем в аду. Ни черта вы о Мексике не знаете, Иван Иваныч».

«Только и знаю, что с каждым днем приближаемся к Америке. Жаловаться не приходится. Вот казначей тоже жалуется, что в Мексике бумажных денег нет. Серебряные пезо тяжело таскать. Вчера двое едва выручку из театра дотащили. Нигде не зарабатывали как здесь... Конечно, некоторым это не помогает. Чем больше получают, тем больше пропивают».

Не называя имен, Иван Иваныч попал прямо в цель. В Мексике, когда хор разбогател, Коваль пьянствовал

ми галунами и в высоких гренадерских шако с разноцветными перьями. Как всегда, население смотрело на каза-больше. Однако, раз он являлся на концерт трезвым и вел себя не хуже, чем в Париже, никто особенно этим не тревожился.

«Странно, как подумаешь», сказал Полковник. «Вот мы в Мексике, а живем в этом вагоне как в собственном мире. Видим много народу, а никого не знаем. Газеты читать не можем так что даже вообще не знаем, что на свете происходит. Только и знаем, что этот вагон, парад, театр и отели».

«И змеятники», добавил Коваль.

«Да, куда-же еще хлопцам идти? Порядки здесь насчет женщин похоже строгие. Не так, как во Франции», отозвался Полковник. «Иду однажды по улице, смотрю мексиканский гаврик у окна, а в окне барышня. Беда только, что окно загорожено железной решеткой, как в тюрьме, и им только разговаривать и можно. А больше ни-ни. И в садах отдельными кружками, а не парами гуляют».

«Странный народ», согласился Антоныч. «Беднота, а музыку любят. Часто вижу босые ноги в одних сандалах высовываются из перил на галерке... И похоже добродушный народ. Помните это небольшое крушение когда ехали в горах около этой самой Оризавы? Представьте такой случай у нас в России... Вот приходит ремонтная вагонетка. Ребята вылезают, осматривают и начинают всех обкладывать. Инженеров — за то, что строят такие дороги в неподходящих местах. Железнодорожное начальство, что не смотрит за порядком. Стрелочника — почему спит в будке вместо того, чтобы пути обхаживать? Пассажиров, кому не сидится дома. Потом завернут цыгарку, покурят. А здесь...»

Приступ кашля потряс его. Он закрыл рот платком и согнулся в конвульсивном напряжении. Затихнув, он выпрямился и быстро спрятал платок в карман... Но недостаточно быстро, чтобы скрыть яркое красное пятно. Полковник кашлянул. Коваль отвернулся к окну.

Поезд очевидно пошел по кривой. Лиловый кряж сдвинулся с горизонта и на его месте появился огромный прозрачный серый купол пыли. Игорь взглянул на часы и поднялся. «Эй, одевайтесь! Приезжаем!»

Приветственная музыка гремела когда поезд остановился. Казаки увидели обычную картину: группа музыкантов дующих в нечищенные и помятые трубы, и толпа туземцев в широких остроконечных сомбрерос, просторных рубахах и штанах, когда-то белых, и с пестрыми зера-

пе сложенными и перекинутыми через плечо. На этот раз музыканты были в мундирах небесного цвета с желтыков с нескрываемым любопытством. Вокзальная площадь кишела остроконечными шляпами. Шесть сильно подержаных автомобилей выстроились около станции. Когда хор погрузился, оркестр опять грянул и парад двинулся.

Впереди двое несли большой плакат с надписью, El Famoso Coros de Cossackos Russos и Teatro Obreros. Оркестр маршировал за плакатом, причем толстый музыкант бил в огромный бубен, который казалось двигался перед ним сам по себе. Однако, приглядевшись, было видно, что бубен привязан к согнувшемуся босоногому muchacho пошатывающемуся под особенно громкими ударами. Два других muchachos, тоже босоногих, бежали по обе стороны улицы, раздавая афишки восхваляющие Famoso Coros. Позади оркестра продвигался сам Famoso Coros. Маэстро, директор Иван Иваныч, секретарь Волгин и агент Гомец, в передовом автомобиле, едва могли различить последний экипаж, в облаке пыли поднятой сопровождающей толпой. В таком порядке парад последовал вдоль Avenida Hidalgo, главной улицы всех мексиканских городов.

26.

Под вечер, жизнь города сосредоточивалась около Муниципального Парка — коллекции пыльных деревьев и скамеек с музыкантской будкой посредине — в рамке зданий персикового и белого цвета с магазинами внизу. Двухбашенный собор занимал средину восточной стороны. Местная молодежь прогуливалась двумя кружками — кавалеры внутри и по часовой стрелке, барышни снаружи и против часовой стрелки.

Музыкантская будка была пуста, но уличный оркестр играл в углу парка: корнет, гитара, гармония, скрипка, контрабас и еще какой-то инструмент вроде цитры. Несмотря на такую необычайную оркестровку, эффект был очень приятен — экзотическая музыка Нового Света, быстрая в ритме и грустная в напеве. Она казалось отражала настроение вечера с чистым аквамарином неба между темнеющей лазурью зенита и горячим румянцем заката.

Игорь уже собирался встать и идти в театр, когда неожиданный спектакль остановил его. Вафля приближался с другой стороны парка, окруженный толпой босоногих мальчишек. У каждого подмышкой был ящик для чистки обуви и все они осаждали Вафлю с пронзитель-

ными криками, показывая ему какие-то карточки. Монументальный казак был как медведь атакованный щенками. Он отмахивался от карточек и сердито повторял, **«Нада!... нада,** сукины дети!»

«Хорошо, что вы здесь!» сказал он, остановившись перед Игорем. «Денной грабеж и больше ничего! Я дал одному почистить сапоги и что же вы думаете он запросил? **Ун пезо и медиа!** Я дал ему пятьдесят сентавос, а он шум поднял, вся эта орава сбежалась. Тычут какие-то карты мне в нос... Чего они лопочут?»

«Они говорят это такая такса. На карточке напечатано. Вероятно пользуются тем, что вы иностранец».

«Да який-же я иностранец? Они иностранцы и жулики! Уси иностранцы жулики! И учатся жульничеству съизмалетства!»

Принужденный заплатить полторы пезо, Вафля продолжал поносить Мексику после того, как банда мальчишек рассеялась. «...Неудивительно, что с каждым поездом стража едет. Вся страна полна бандитов. Вот эти подрастут, тоже бандиты будут... Несообразительный народ. Не додумались до бумажных денег. Ихние пезо больше чем наши царские рубли. Карманы оттягивают. А в чемодане оставить боюсь. Обязательно украдут! Так я свои разменял на золотые. Меньше места занимают». Он понизил голос. «В старую газету завернул. В случае если нападение на поезд, я сейчас-же брошу их на пол, в угол. Совсем и не заметно, будто бумага валяется».

Постепенно успокоившись, Вафля продолжал в обычном неторопливом духе: «Чудная страна. Третьего дня хлопцы скорпиона убили. В папаху залез... И вот посмотрите на дивчат: ни одной блондинки». Он подвинулся поближе к Игорю. «Не говорите никому, что я сказал, а держу пари — что нибудь случится ежели не доедем скоро до настоящей Америки. Никогда еще не было такого раздора в хоре. А Дуля тоже себе на уме. Прежний секретарь пишет ему из Парижа, что есть хороший шанс для квартета. Так Дуля уже и зазнается. Сашка и Князь тоже на ножах».

Он подвинулся еще ближе. «И насчет Маэстро тоже... Пропадает человек!... Кровью кашляет — я сам видел. Ему-бы надо где прохладно. Я видел сон... Вы не смейтесь, это сурьезное дело. Так вот приснилось будто стоим мы на сцене. Уже занавес поднялся, а Маэстро все нет!... Вот видите?»

«Что-же видеть?» спросил Игорь. Вафлино зудение начинало его раздражать.

«Как что видеть? Хор без регента, вот что!»

«Лучше перестаньте глушить эти **тамалес** на ночь».

«Тут тамалес не причем. Может эта бисова страна. Время здесь другое, по Полковниковым часам. Ложимся спать когда нужно уже вставать. Все здесь перемешалось... Вот и вы тоже. В Париже были человек как человек, а здесь с Лукичем пьянствуете».

«Какое ваше собачье дело, Вафля!»

«Ось, бачьте! В Париже вы были вовсе другой человек». Вафля, обиженный, отодвинулся и замолк.

Ночь охватывала короткие тропические сумерки. Прозрачная синева зенита потемнела и погустела. Звезды сияли там в новых и странных созвездиях. Доморощенный оркестр ушел, и музыка ушла с ним. Вместо нее осталась опять та неопределенная ноющая тревога. Она поднималась от самого вида тропического неба с чужими звездами — от силуэта собора едва озаренного последним светом заката — от мрачного молчания Вафли — даже от этого бессмысленного кружения гуляющих. Наблюдать их со скамейки было то-же, что наблюдать круговорот Мексиканской равнины из окна вагона. То-же сознание бесцельности против которого было только два средства: два часа концерта и коньяк.

Вафля поднялся. «Пора на концерт».

Вафлин сон исполнился в этот самый вечер. Иван Иваныч объявил, что Маэстро устал после долгого переезда и что Дуля будет управлять хором. Кроме того, он объявил, что Маэстро больше не будет ездить в парадах, а прямо в гостиницу. Игорь уловил многозначительный взгляд Вафли.

На этот раз, песня потеряла свою чудотворную силу. Вместо вдохновенных глаз Маэстро, Игорь видел напряженное лицо Дули с глазами шныряющими от одного голоса к другому, подавая какие-то непонятные сигналы. Он управлял короткими обрывистыми жестами, как марионетка, которую дергали за веревочку. Иногда он забывался на каком нибудь торжественном пассаже и размахивал руками в героической и неуклюжей позе — пока предупреждающий взгляд Ивана Иваныча, стоящего среди баритонов, не заставлял его прижать локти к бокам. Капли пота выступали на лбу. Он стряхивал их пальцем после каждого номера, перед тем как поклониться.

Но хор пел как всегда. Как ученая строевая лошадь под неопытным всадником несет его через все сложные маневры, так хор сам шел знакомой дорогой, обращая мало внимания на регента. Игорь заметил, что Дуля избе-

гал смотреть на теноровую сторону. Скосив глаза, он увидел причину. В заднем ряду первых теноров, Сотник Коваль наблюдал за Дулей с нескрываемым презрением.

После концерта Игорь отклонил Дулино приглашение на бутылку пива в змеятнике, по случаю его выступления. Большинство казаков пошли, от нечего делать. Игорь подумал, что нужно-бы навестить Антоныча, но решил, что лучше не надо. Не было ничего утешительного сказать Антонычу, да может быть он уже лег спать. Игорь зашел в пивную рядом с гостиницей и выпил двойной коньяк. Вернувшись в комнату, он снял черкеску и лег на кровать, ожидая приятного эффекта коньяка. Но легче не сделалось. Может быть от вида комнаты: потрескавшаяся белая штукатурка стен, его и Вафлины чемоданы и его гитара... На камоде пакет с проступающими жирными пятнами — вероятно «тамалес».

Он поднялся и вышел на балкон. Муниципальный Парк был пуст. Полный месяц светил на плоские крыши и бросал резкие тени на стены персикового цвета. Он четко вырезал украшения на двух башнях собора. Скалы окружающие город стояли черной зубчатой стеной с отблесками месяца на невидимых гранях. В тихом и сухом воздухе не было аромата ночи... «Мексика!... Мексика!...» прошептал он, стараясь уловить опять музыку слова...

Кто-то вошел в комнату. Он оглянулся. Это был Сашка с листом бумаги в руке. «Побеспокою на минутную. Вот письмо надо написать. Только никому не говори».

«Как-нибудь в другой раз, Сашка. Завтра напишем».

«Да ведь недолго. Закончим пока хлопцы из змеятника не вернутся... Вот!» Он достал из кармана сигару и протянул ее Игорю. Сигара представляла обычное вознаграждение за составление иностранных писем, установленное прежним секретарем. Сашкина просьба была вполне законна. Писание писем, преимущественно любовных, составляло одну из обязанностей секретаря хора. В первые две недели в Мексике Игорь не курил ничего кроме сигар. Впоследствии пыл охладел, за немногими исключениями. Князь был его постоянный клиент. Игорь заметил, что Князь всегда прибавлял два-три крестика к своей подписи. Он тоже заметил, что после каждого ответного письма из Парижа, Князь просил его помочь разменять французские стофранковые кредитки на мексиканские пезо. Число кредиток всегда было равно числу крестиков.

Игорь сел за стол. «Ну, хорошо. Кому письмо?»

«Мими. Помнишь, которая провожала меня в Париже?»

«Как не помнить! Ну так что-же ты хочешь ей написать?»

Сашка почесал затылок, переминаясь с ноги на ногу. «Ну так вот значит... Пиши, что люблю ее... и все такое прочее. И что может вернусь в Париж... Только не говори, что вот дескать пишу потому, что может придется вернуться. Я только в случае чего... хорошо ежели бы... Ну уж сам понимаешь...»

Сашка окончательно запутался. Игорь наблюдал за ним с новым любопытством. «Да, начинаю понимать. Тебе надо тепленькое местечко, в случае, если придется вернуться в Париж».

«Во-во! Только, чтобы она не думала...»

«Конечно нет. Ты хочешь ей сказать, что любишь ее так или иначе и если вернешься то только из-за нее».

Сашка просиял. «Во-во! В самую точку угодил! Я это самое и собирался... Эй, ты чего?» закончил он, видя, что Игорь вдруг разразился смехом.

Игорь хохотал пока слезы не выступили на глазах. Он остановился так-же внезапно. «Не обращай внимания, друг Сашка... Кое-что смешное вспомнил».

Сашка смотрел на него подозрительно. «Слышь, ты меня не подведешь под монастырь?»

«Зачем подводить?... Что еще хочешь ей навернуть?»

«А еще?... ну что-нибудь такое приятное... Сам знаешь. Слышь, ты смотри не подведи. Это дело сурьезное».

«Не скули. Забыл, как я тебя выручил в Париже? И опять выручу. Иди, подожди на балконе и не мешай».

С пером в руке, Игорь подумал и начал писать быстро:

«Mimi, mon amour! Ты вероятно удивишься получив от меня это письмо после всего случившегося. Я и сам удивлен, что пишу. Я знаю, что ты не особенно хорошего мнения обо мне. Я тоже не особенно хорошего мнения о себе. Я люблю тебя как только дано любить человеку — и вот я покинул тебя. Из-за чего? Из-за глупой мечты. Из-за синей птицы, которая линяет как только дурак думает, что поймал ее — или опять улетает все дальше и дальше. Жалею-ли я о потере тебя потому, что не нашел чего искал в Новом Свете? Да, это правда! Но тоже правда, что потому и не нашел, что твой образ, милый и светлый, всегда предо мною. И рядом с ним все остальное кажется серым и неприглядным. Короткие минуты когда ты сказала, что любишь меня — мои самые счастливые и самые радостные воспоминания. Я проклинаю день когда встретил тебя — за то, что украла у меня довольство беспечности, которое я считал счастьем. И я проклинаю день когда я покинул тебя — за то, украл у

меня единственное настоящее счастье. Теперь я нищий — и духом и сердцем. Настоящий живой труп, мертвая душа. И не могу больше хвастаться этим. Если-бы мог, сейчас-же помчался-бы к тебе — просить прощения! И я знаю, ты простишь меня. Я знаю и ты знаешь, что мы суждены друг для друга. Ради тебя и любви твоей, я захочу и смогу сделать все, что не нужно мне одному — все, что доступно человеку...»

Забыв о Сашке, Игорь писал слова, которые приходили к нему с удивительной легкостью. Он остановился только на конце второй страницы, когда Сашка подошел и заглянул ему через плечо. Он машинально закрыл письмо ладонью, затем приписал, «Любящий тебя» и подвинул его к Сашке. «Подпиши».

«Да лучше уж сам подпиши. Чего портить моими каракулями!»

«Как хочешь подписаться?»

«Да она меня звала Руже, по причине, что я рыжий».

Игорь добавил «Rouget» к «любящему тебя» и сунул письмо в Сашкину руку. «Ну, а теперь выкатывайся».

Сашка осмотрел обе стороны. «Чисто написано. Ты все изложил, как полагается?»

«Все изложил. Убирайся к чорту!»

«Покорно благодарим. Конверт-то не надо писать. Она мне дала целую дюжину, сама подписала. Вот и пригодились».

27.

После ухода Сашки, Игорь решил посмотреть не открыта ли еще пивная рядом с гостиницей. Пивная была открыта. Он зашел и потребовал коньяку. За второй рюмкой, ему пришла в голову мысль удивительная в своей логической простоте: вместо того идиотского письма о «наших заграницей», почему он не написал Наде то, что он написал Мими? Это было так легло и естественно...

Он уже собирался подняться, когда увидел, что padrone позади прилавка делал ему какие-то знаки, показывая пальцем в угол. Обернувшись, Игорь увидел Коваля за столиком с бутылкой и стаканом. Коваль поманил его. «Перебирайтесь сюда, Волгин. У вас такой-же вид, как у меня чувство — одиночества и бесполезности».

«Как-же это вы не празднуете Дулин дебют вместе с остальными?» спросил он когда Игорь подсел.

«Почему вы не празднуете?» спросил Игорь.

«Я?... Я праздную здесь. Необычайное событие! Пер-

вый раз в истории! Знаменитый казачий хор под управлением единственной и неподражаемой маестры Дули!... Если еще будет управлять, я остаюсь дома. Потому, что если не останусь, прогоню эту жирную свинью со сцены палкой!»

Игорь рассмеялся. «Уж вы слишком нападаете на него, Сотник. Он старался изо всей силы. Публика ничего не заметила».

Коваль взглянув на него с любопытством. «А вы с чего вдруг размякли? Я даже замечаю некоторое благодушие сияющее на вашей образине. Нечто вроде телячьего восторга... В чем дело?»

Открытый сарказм его слов раздосадовал Игоря... Опять Коваль стоял поперек его дороги — как стоял он с того дня, когда Надя услышала его имя... Если-бы не Коваль, Надя была-бы дома когда он зашел перед первым отъездом из Парижа. Он сказал-бы ей все то, что он сказал Ольге... И если-бы Коваль не вломился так неожиданно в ту последню юночь...

«Надоели вы мне, Коваль. Пристали как банный лист», ответил он, сдерживаясь чтобы не сказать чего нибудь более обидного.

Коваль не казался обиженным. Он смотрел на Игоря с тем-же странным любопытством. «Вы уж не написали-ли **ей**, чего доброго?» спросил он тем-же ровным голосом.

Пораженный, Игорь наклонился к нему через стол. Так они сидели уставившись друг на друга. Наконец Коваль усмехнулся: «Не буду вас затруднять ответом... Я и так знаю... Потому, что я сделал бы то же самое, если бы свалял такого дурака как вы». Он говорил с холодным спокойствием, не отрывая глаз от Игоря. «А сказав это, скажу и еще. Не напишете вы этого письма. А если написали, то не пошлете. Почему? А, это очень интересный психологический вопрос. Я, к сожалению, не психолог а недожаренный инженер. Помню, учил есть такие необратимые процессы — как начнется, то и идет только в одном направлении. А обратно — никогда. Вроде как на ледяной горе — катиться можно только вниз. В более образном выражении — солнце восходит только один раз в день!... Поэтому забудьте о письмах... Лучше выпьем. Ведь мы оба попали в этот необратимый процесс». Он налил стакан и подвинул к Игорю. «Пей, Волгин! Лучше будет — и тебе и мне...

«Почему не пьете? Чего уставились?» продолжал он. «Или догадались наконец?... Да, Волгин, одна шальная шрапнель... несколько шагов в одну или другую сторону — и вот какая разница! Немножко поближе — конец

всему. Немножко подальше — и был бы я такой-же, как и раньше. А вот попала проклятая как раз в точку — и вот...» Его лицо скривилось в еще более горькую гримасу. «...Не обижайся, Волгин. Дай мне посмотреть на себя самого... А за это вы можете на себя посмотреть, с другой стороны. Нечто вроде магического зеркала... До и после шрапнели... Вы понимаете о чем я говорю?»

Игорь кивнул. Он знал о чем говорил Коваль. Он уже сам подозревал это. Теперь это было ясно.

«Да. Она мне тоже это сказала», ответил он.

«Да?» Коваль опустил голову. Игорь видел как он закусил губу. «Я, между прочим, очень привязан к вам, Волгин», продолжал он, смотря на Игоря с той-же странной улыбкой — насмешливой и горькой. «Я смотрю на ваши выходки и вижу самого себя — если бы не по милости судьбы. Думаю себе, что вот тоже так-бы распространялся. Даже думаю — свалял-бы такого-же дурака как и вы... Я был очень заинтересован узнать о вашей контрибуции к современной философии. Вроде Гаудеамуса, только наоборот: Повеселимся пока мы мертвы... Да, она и это мне сказала. Итак вы себя воображаете живым трупом? Мертвой душой? Вот это действительно романтично! Сногсшибательно! От вас прямо разит романсом!... Ну, выпили за романтических и неромантических мертвых душ!» Он чокнулся с Игорем. Оба выпили.

Коваль вытер губы ладонью и устало покачал головой. «Однако вы не правы, Волгин. Не все случающееся с мертвым только к лучшему. Далеко не все. Спросите меня — я знаю! Кроме того, мертвые не хвастаются, что они мертвы. Они или молчат или вот пьют... Потому, что нечего больше делать на этом сволочном свете! Что толку во всем... в так называемом человеческом достоинстве... в возвышенных мечтах... если одна неодушевленная шрапнель может разбить все вдребезги? Вам вероятно это не приходило в голову, Волгин, а вот мне часто приходит. У меня много свободного времени... Слишком много! Нам нужно-бы почаще выпивать вместе... Потолковать... Мне-то ведь надо с кем нибудь поговорить. Иначе с ума сойдешь... Я завидовал вам, Волгин. Ненавидел и завидовал как вы брыкаетесь как молодой жеребчик... Ты, сукин сын, выбрался без царапины, да еще и хвастаешься, что вот-мол посмотрите — живой труп...» Он прищурился. «Но теперь все прошло. Мы друзья, Волгин... плывем по одному течению... необратимому. Это весьма утешительно. Доказывает, что я прав. Нет ни справедливости ни чего другого... Одно это — слепое и бездушное... Некто в сером. Вы учили философию, Волгин. Не

выдумали-ли ученые какое нибудь высокопарное имя для этого?...»

Коваль продолжал, но Игорь не слушал. Он уже и сам все это знал. Однако, исходя от Коваля, знакомые мысли принимали новое значение. Их голая правда была неприглядна. В ней не было ни утешения ни вообще никакой пользы. Она была непригодна ни для поэзии, ни для музыки, ни даже для приличного разговора...

«Вы преувеличиваете, Сотник. Не может быть, чтобы уж так плохо. Что нибудь должно быть».

«Но что, Волгин? Что?»

«Какая нибудь идея. Вот например, мы воевали за свое, а красные за свое. И готовы были умереть, и многие умерли. Значит есть что-то».

Коваль скорчил презрительную гримасу. «Ерунда! Опять эти жертвоприношения и искупления. Если ничего больше не осталось, то во всяком случае мы считаем себя героями. Нет, Волгин, я об этом тоже думал. Герои как актеры — им нужна публика. Нужно чтобы кто нибудь другой, кроме них самих, знал, что они действительно герои. Но у нас публики нет и мы играем для самих себя... Вы не знаете, Волгин, и никто не знает, а я ведь настоящий официальный герой. Георгиевский крест у меня есть».

«Да? Почему-же ленточку не носите?»

«Зачем носить? Я и так знаю, а остальным... Сколько вы думаете в Мексике таких, которые вообще чтонибудь знают о Георгиевском кресте? Вам-то я говорю просто для сведения». Он подлил в стаканы. «Выпьем за героев — прошлого и нашего времени... За веру, царя и отечество... За свободу... демократию... войну до победного конца... за единую и неделимую Россию... Ничего, кажется, не пропустил?»

Они опять выпили. Коваль поморщился. «Не люблю пить один, да нет хорошей компании. Вы теперь поможете мне, Волгин, ввиду того, что мы наконец согласились... Или может быть вы предпочитаете просвещенную компанию нашего интеллигентного приятеля Лукича?... Пожалуй, вы и правы. Какое удовольствие жариться в собственном соку?... Замечательный мужик — Лукич! Одно имя чего стоит — Лука Лукич Убей-Батько. Сразу видно, человек положительный, черноземная сила и себе цену знает... Вот именно, Волгин — себе цену знает! А мы?... Как будто-бы люди — и даже герои — а попали в дешовку!... Трепачи... А он напоминает покойного папашу моего. Боевой был казак! Говорил, что если чего нет в Священном Писании и Военно-Полевом Уставе то зна-

чит ерунда... Хорошо, что умер во время... в полной уверенности своей правоты... А сыну его так не посчастливится... Между прочим, Волгин, что вы видите когда смотрите из окна на эту проклятую равнину? То, что и я вижу? Ходишь по кругу на привязи, а чорт держит другой конец?... Только это не круг, а водоворот. С каждым оборотом все ближе и ближе подтягивает к воронке. Всех — и добрых и злых — и умных и дураков — трезвых и пьяных... Все кружатся на чортовой карусели. Бесполезно бороться. Сожалеть тоже ни к чему. Просто жди и надейся...»

«Надейся?» спросил Игорь, услышав фальшивую ноту.

«Да, надейся!» подтвердил Коваль. «Что удивительного?»

«Много удивительного. Я очень интересовался...»

Коваль перебил его: «Перестаньте интересоваться. Я это тоже продумал до конца. Когда вера и... все остальное сгинет, одно остается — что-то вроде любопытства. Думаешь о себе: вот, допустим бросился в реку, как Полковник однажды советовал. Допустим, утонешь и все кончено... А вдруг окажется, что пропустил что нибудь хорошее или просто интересное!... Подожди немного, торопиться некуда. Какая нибудь река всегда будет близко. Не так-ли, Волгин?»

Игорь кивнул. Коваль продолжал. «Река подождет... Одна только загвоздка с такой надеждой...» Он сделал неопределенный жест. «Она неопределенная — в среднем роде. Ни молиться ей, ни просить! Ни черта нельзя сделать — только ждать. А ведь надо человеку что нибудь конкретное. Уцепиться за что нибудь... Свое собственное... Молиться кому нибудь или за кого нибудь...»

В первый раз Игорь поймал новое выражение на лице Коваля — улыбку добрую, грустную и жалкую. Она исчезла так же быстро как и появилась. Коваль потянулся за своей тростью. «Устал я, Волгин. И разболтался как вы. Пойду спать».

Он поднялся с трудом и пошел к двери. Игорь последовал — на улицу — в гостиницу — и в комнату Коваля.

Коваль сел на кровать. «Добросовестный вы секретарь, Волгин. Очень мило с вашей стороны. Может колыбельную споете?» Он долго снимал черкеску и сапоги. «Лучше в вагоне спать. Хоть неудобно, а веселее. Люди есть... Надоело одному. Гнусная компания... И не нравятся мне эти звезды. Подмигивают сволочи, спать не дают. И даже занавески на окне нет. Вот так и будут всю ночь надоедать. Ничего не говорят, а все знают! Раньше нас знали... Стервы!» Он схватил сапог и замахнулся на окно.

Игорь подхватил сапог как раз во время.

Коваль взглянул на него неожиданно трезвыми глазами. «Вы правы, Волгин. Сапогом звезды не сшибеш. Почему вы так со мной нянчитесь? По своему собственному великодушию или по чьему другому?... Спать пора».

Он повалился на подушку, не раздеваясь, и натянул на себя одеяло. Игорь подождал пока Коваль затих, поднял и повесил его черкеску. «Ты опять», пробормотал Коваль. «Все равно она тебе не достанется... Живым не будешь...»

Игорь вышел на цыпочках и осторожно закрыл дверь.

Вернувшись в свою комнату, он порылся в чемодане, достал бумагу и конверт и сел за стол. Он начал писать, не думая: «Дорогая Надя! Ты вероятно удивишься получив это письмо после всего случившегося...»

Он остановился, вспомнив, что как раз так-же начал Сашкино письмо. Скомкав лист, он бросил его в корзинку, достал другой, и сидел придумывая более подходящее вступление. В этом положении и застал его Вафля, вернувшийся из змеятника.

«И хорошо сделали, что не пошли», сказал Вафля, снимая черкеску. «Знал-бы тоже не пошел. Дивчата все жадные до выпивки, а падроне похож на настоящего разбойника... Я ушел пораньше. Боюсь Дуля будет деньги занимать на угощенье. Тоже зазнается, толстопузый бугай! Ему хором управлять все равно, что мне играть на гитаре...»

Он сел на кровать снимать сапоги и продолжал с обычной рассудительностью: «Неважная жизнь как себе подумаешь. Вот болтаемся с места на место, а для какой нужды — не могу понять. Не ндравится мне оно... Вот и Маэстро больной и Бог его знает, как это оно все повернется... Хорошо бы ежели попасть где есть русские. Поговорить, работу какую ни есть найти и жить на одном месте. Чтобы не подглядывать в дырочку в занавесе и бачить есть довольно народу, чтобы хватило на гостиницу и харчи. И чтоб было место все манатки поразложить да так и оставить, а не упаковываться и распаковываться каждый день».

Вафля размотал портянки, засунул их в сапоги и начал раздеваться, продолжая свой унылый монолог. «...Не люблю беспорядка. Все чтобы на своем месте. Чтобы когда надо, знаешь где взять... Оттого и супротив красных бился. Атаманы говорили, красные против порядка. И как нам не повезло — не могу понять. Одурел народ. Порядок отдал за революцию... Вот здесь в Мексике тоже

говорят была революция. Вот и в Америке не попасть бы в революцию. Мне эти революции вот где сидят!... А вот хотел я вас испытать насчет Америки. Толковали мы тут насчет этих высоких домов, говорят в Америке строят... Небоскребы... Не может быть, чтоб они и в правду до неба доставали. Кирюша говорит есть такие, что выше Эйфелевой башни и много выше чем Вавилонская башня. А я не верю. Ежели они выше, то почему-же Бог не наказывает и американцев и французов, как наказал тех вавилонских язычников? Кирюша говорит те вавилонцы были необразованные и еще не дошли чтобы строить башни выше Эйфеля. Оно и верно, а все-же... А вы как думаете?»

Вместо ответа Игорь разразился неудержимым смехом.

«Вы чего?» удивился Вафля, стоя на одной ноге и снимая брюки.

«Друг Вафля, я знаю наверняка, что обе башни, как и небоскребы, примерно одинаковой вышины. И Господь как раз соображает поразить их теперь или подождать немного».

Вафля ухмыльнулся добродушно. «Да вы шуткуете. А впрочем и правда. Ежели ни одна не может быть выше другой, то все должны быть одинаковы. Так и скажу Кирюше».

Раздевшись до белья, он смотрел задумчиво на чемодан и почесал затылок. «Не знаю что и делать — распаковать, чи так оставить Что вы скажете?»

Игорь скомкал чистый лист и бросил в корзинку. «Провалитесь к чорту с своим чемоданом! И не надоедайте больше! Ложитесь спать».

«Так чего-же вы серчаете?» удивился Вафля. «Прямо как сотник Коваль — слова сказать нельзя. Вот эта самая Мексика всех испортила».

Он опять обратился к чемодану. «Лучше уж распакую. Легче все найти когда распаковано». Он снова задумался, почесываясь. «Да нет, лучше уж так оставить. Одно беспокойство с запаковкой».

28.

«Ах, Игорь Петрович голубок, полюбил я тебя как родного. И вид у тебя казачий — и пьешь по-казачьи — и с бабами повадка казачья. Я это одобряю, с точки зрения!»

«Да ты надрался, Лукич, старый злодей!»

«Ах-ах, Игорь Петрович голубок! Какими словами выражаешься! Называть казака старым злодеем...»

Так Лукич жаловался с пьяным добродушием пока два приятеля шли неуверенными шагами по темной и пустой улице. Бутылка «один-на-один» непредвиденно опустела, они не могли найти спирту в маленьком городке и пришлось промышлять где придется. Игорь и Лукич только что покинули пивную где они по-очереди приветствовали друг друга.

Лукич остановился. «А где мы сегодня ночуем? Эти мексикано города все одинаковы казаку и я запамятствовал в котором мы. В которую сторону идти до отеля?»

Игорь хлопнул его по спине. «Вот видишь? Говорил я тебе, что надрался!»

«А вот и врешь Игорь Петрович! Казак точно выпивши, да не надрался. А это имей в виду большая разница... Да ты постой, вот мы спросим сотника Коваля».

Он взял Игоря под руку и повел через улицу в другую пивную где он увидел Сотника. Остановившись во-фронт перед столом, Лукич лихо козырнул. «Здравия желаю, господин сотник! Разрешите справиться, где наша гостинница?»

Коваль обвел их мрачным взглядом. «Вы оба надрались. Мы сегодня ночуем в вагоне».

Лукич посмотрел на Игоря и они оба разразились смехом. «В вагоне!... Ах-ах, Игорь Петрович голубок, это интересно с точки зрения! Я так и знал, да запамятовал».

Он сел и постучал по столу тяжелым кулаком, чуть не опрокинув стакан Коваля. «Эй, падронэ! **Медиа ботелла** вот этого самого!» Он показал на стакан. «Сидай, Игорь Петрович. Гостем будешь».

Коваль смотрел на них с тем же мрачным видом. «С чего вы взяли, что я хочу с вами пьянствовать?»

«Ах-ах, сотник Коваль, ведь веселее в приятной компании. Которые интеллигентные, то им надо выпивать вместе и обмениваться мнениями». Лукич наполнил стаканы из бутылки, которую принес padrone. «Ну, за все казачество!»

Коваль взял свой стакан. «Ну, ладно. За всех дураков... Вас тоже, Волгин».

Тост Коваля был определенно неприятен. Игорь решил, что Коваль был прав, когда он сказал однажды, что с Лукичем пить веселее. Лукич никогда не поднимал никаких неприятных вопросов. «Я тоже не уверен, что хотел-бы с вами пить. Вы пьяны как свинья!»

Коваль стиснул зубы. Его рука потянулась к рукоятке кинжала. Лукич положил свою руку на сотникову

и продолжал с прежним добродушием: «Ах... сотник Коваль. ну зачем-же такие дела? Обложили друг дружку, значит и квиты».

Коваль поднялся и потянулся за тростью, висевшую на спинке стула Лукича. «Не хочу! Я вас сюда не приглашал».

Лукич заставил его сесть. «А вы не куражтьесь, Сотник. Хоть и чин на вас, а этот казак постарше и знает, что к чему... Господа офицеры, уважьте казака, который «Чтобы интеллигентные люди соглашались друг с другом. Так-то лучше. Этот казак знает, что вам наперекрест дороги стоит... Однако, вы сильно огорчили казака, Сотник. В самое сердце пронзили... Домой не вернуться! И думать об этом не хочу... Горько, горько!» Он вздохнул как большие кузнечные мехи и положил голову на стол.

Коваль продолжал, не обращая на него внимания. «Да, мы оба, Волгин. Но по разным причинам. Вот тут-то и загвоздка — не по той же самой причине. А эффект стремится к интеллигентному разговору! Я уважаю которые ежели интеллигентные... Экая жалость, что такой боевой человек Игорь Петрович, а не казак! Но мы это между прочим поправим. Как только вернусь до станицы, тот-же час поговорю с атаманом и старшинами. А как поговорю, то только тебе и останется поставить ведро водки, как полагается по обычаю. И прямо тебя примут в станицу и будешь как настоящий казак... Просто ведро водки старшинам...»

Коваль фыркнул. «Сгниешь ты раньше здесь за границей».

«Ну уж нет, сотник Коваль, голубок. Пожалуйста не говори таких слов. День придет казаку домой до станицы вернуться».

«Не видать тебе твоей станицы. Сгниешь здесь. Все здесь сгнием! Им там нас больше не надо».

«Ах, сотник Коваль, вот огорчил казака. Как же так — домой не вернуться? Патриотам отечества...»

Игорь не слушал разговора. Он прислушивался к немому протесту шевелившемуся где-то внутри и старался разобраться в нем. Наконец он ткнул пальцем в сторону Коваля. «Сотник, с чего вы взяли, что я дурак?»

Коваль уставился на него с недоумевающим видом. Потом он очевидно вспомнил и ухмыльнулся. «А, это! Разве вы не знаете? Пора-бы... Между прочим, она вам шлет привет».

«Большое спасибо», сказал Игорь, первое что пришло ему в голову. Как секретарь хора, он сам передал Надино письмо Ковалю с одним из казаков.

Коваль продолжал ухмыляться... «Незачто... Догадались?»

Намеки Коваля уже не были оскорбительны. Коваль придирался к нему только потому, что сам был влюблен в Надю! С самой Москвы... Жалкое существо... калека... карикатура на Ecce Homo... и на ту химеру на балконе Собора Богоматери! «Я знаю», ответил он. «Я осел. И вы тоже. Мы оба ослы».

«Вот это я одобряю, с точки зрения!» объявил Лукич. одинаковый». Он потряс Лукича за плечо. «Эй ты, гидра контр-революции, тут не место спать. Вставай, поднимайся и пей. Gaudeamus igitur...»

Лукич приподнял голову и пробормотал: «Ах, сотник Коваль! Такие слова от культурного человека!»

Коваль махнул рукой. «Какая там культура! Культура отменена! Все отменено. Честь, слава — все оказалось ни к чему... Вот посмотрите на меня: было время, когда я отстоял-бы против любого из вас — во всем... В чем угодно — слышишь, Волгин? Имейте в виду, вы разговариваете с Георгиевским кавалером! Налетели с сотней на эскадрон австрийских улан. Я двоих сам из седла вышиб. Чуть на пику не попал, да казак подоспел. Мост отстояли, целую пехотную дивизию выручили. А теперь где эта честь и слава? Один крест и остался... А вот например Антоныч! У человека в одном пальце больше музыки, чем у нас всех. А он умирает. Умирает — понимаете вы это? А мы даже доктора не можем позвать. Во первых, какой же тут доктор в этих захолустьях и если мы болтаемся с места на место, как цыгане? А во вторых, доктор сейчас же скажет, что мы просто убиваем человека. Что ему нужно лежать в госпитале... Поэтому мы ничего не делаем и притворяемся, что все хорошо. Не люди, а шпана! Ты тоже — секретарь Волгин! Уж если такой человек как Антоныч пропадает, то вам и подавно. Бесполезный вы человек. Липовый гитарист и больше ничего».

Игорь опять прислушивался к назойливому протесту поднимающемуся в нем, ищущему слов. Наконец слова нашлись. «Чорта с два, Коваль. Рано вы меня хороните. Я еще жив! Я покажу вам... и ей тоже!»

Коваль оскаблился. «Да неужели? Я думал, что уже показали... Конечно... Крестиком имя помечено... Крест означает где лежит мертвое тело... не важно, настоящее или эрзац, как вот это... Ха-ха!»

Уставив стеклянные глаза на Игоря, он смеялся с лицом искаженным в отвратительную гримасу.

Игорь ударил кулаком по столу. «Врешь, Коваль!

Мой крест еще не срублен!... И она врет... Никогда я не был и не буду похож на вас!... Скорее застрелюсь?»

Коваль продолжал смеяться. Лукич поднял голову и погрозил ему пальцем. «А вы, Сотник, на Игоря Петровича не смейтесь. Он мне кунак... И Маэстро Антоныча тоже не замайте... Он как есть наилучший регент. В Америку приедем, в самый что ни на есть лучший госпиталь положим... А пока вас регентом назначим... потому как вы Георгиевский кавалер и на пианинах можете играть... А Дулю нельзя... Публика смеяться будет ежели напечатано на афише — регент маестра Дуля... Ах, господа офицеры, мне очень даже приятно выпить в интеллигентной компании... Я культуру уважаю... что есть относительно касательного... и прочего... и которая правильная точка зрения...»

Коваль перестал смеяться. «Ты прямо в культуру и угодил, казак. Один недоученый инженер, а другой философ-самоучка и даже поэт... Вы что там учили, Волгин? Философию? Замечательный философ из вас вышел... Новоявленный Лазарь воздвигнутый из гроба и рассказывающий о своих приключениях всем желающим... Вот полюбовались бы они на вас теперь... Между прочим, одна из них шлет вам привет... Надеется, что мы будем друзьями... Но ведь мы уже друзья, Волгин? Не правда-ли? Два сапога — пара». Он протянул руку. Игорь машинально пожал ее.

«Вот это я одобряю, с точки зрения!» объявил Лукич с явным удовольствием. «Чтобы значит которые интеллигентные жили в согласии. Всем нам в дружбе надо жить в чужих странах... без родной души... без друзей...»

Внезапно его моржовые усы задрожали. «Ах, никто не знает как изнывает казацкое сердце на чужой стороне! Горько, господа офицеры, горько!» Его лицо искривилось в яростную гримасу. Он рванул воротник бешмета.

Коваль уставился на него неподвижным взглядом. «Ты что — обалдел?»

Лукич поднялся во весь рост и сжал кулаки. «Не вмочь терпеть!» гремел он. «Родина изнывает под игом, а мы здесь!... За что воевали?... Кровь проливали!... Где наши генералы? Зачем не скликают боевых орлов? Руки чешутся за винтовкой и шашкой! Казацкая сила на волю просит!»

Его кулак грохнул по столу. Стаканы опрокинулись. Бутылка покатилась по полу. Хозяин, испуганный и сердитый, говорил что-то Игорю.

«Чего этому надо?» накинулся на него Лукич. «Вот вдарю раз, одно мокрое место останется!»

«Осторожно, казак!» предупредил его Коваль, внезапно протрезвевшим голосом.

«Оставь его, Лукич», вмешался Игорь. «Он говорит пора закрывать. Пошли домой».

Лукич успокоился. «Только уж для тебя, Игорь Петрович. Потому, как ты мой кунак... Пошли все до дому». Он помог Ковалю встать и взял его под руку. На углу хозяин догнал их с тростью Коваля.

«Видишь, Лукич», сказал Игорь. «Padrone хороший малый».

«Точно, хороший, с точки... Я супротив мексикан ничего не имею. Это я красных хочу изничтожить».

Они нашли свой вагон по большой вывеске белеющей в темноте. Вагон, одинокий в стороне от пути, был темен за исключением огонька слабо мерцающего в одном из окон. Игорь и Лукич подсадили Сотника на высокую ступень. Он сам добрался до своего места. Лукич остановился во фронт перед полковниковой скамейкой и отрапортовал, «Господин Полковник, имею честь доложить. Старший урядник гвардии Его Императорского Высочества Наместника Кавказа Убей-Батько является из городского отпуска!»

«Иди спать, казак», полковников голос ответил из темноты.

«Прилетели орлы», сказал голос из группы около свечи прилепленной к стенке сиденья посреди вагона. «Кто сказал, заблудились? Сатана не заберет Лукича».

Игорь и Лукич добрались до свечи. Она освещала стопу чемоданов, служившую столом для картежников. Лукич остановился. «Вы что-же это? Родина изнемогает под игом, а вы в карты? Я этого допустить не могу!»

Он пихнул стопу чемоданов. Свеча вдруг погасла. В темноте слышался грохот других падающих чемоданов, медвежье рычанье Лукича, глухие крики. Кто-то вскочил Игорю на спину. Удар по голове оглушил его. Когда он открыл глаза, он увидел лица Ивана Иваныча и Полковника в другу других лиц, похожих на гномов в дрожащем свете свечи в руке одного из казаков. Лукич сидел около него, потирая глаз.

«Который из вас байструков вдарил меня?» спросил Лукич.

Казаки засмеялись. «Это тебе медаль за мексиканскую кампанию!»

«Господа, господа! Ведь это ни на что не похоже!» жаловался Иван Иваныч. «Игорь Петрович, и вы тоже!»

«Секретарь тут непричем. По ошибке попал... Это

Лукич, старый чорт!»

«Как-же тебе не стыдно, Лукич!... Старый казак! Посмотри на черкеску: вся в пыли. А папаха — пол ты ей подтирал?»

Лукич и Игорь поднялись. «...Погоди, дознаюсь, который из вас вдарил казака», ворчал Лукич.

Игорь пошел к своему месту. Он смутно слышал голос Ивана Иваныча позади: «...И я особенно интересовался в Париже — дескать не пьет-ли? Прямо беда с басами!...»

Следующий голос был Вафли. «...Снимайте-же черкеску, а то вся будет в морщинах... Подсоби, Кирюша... Ось, бач — мало того, что пьянствует с Лукичем, а еще поякшался с сотником Ковалем...»

29.

Когда стук колес разбудил Игоря, солнце уже стояло высоко. Пыль попрежнему летела мимо окна. Его голова болела и рот был полон противного сухого вкуса. Он сел и потер одеревенелую ногу. Судя по числу необутых ног перегораживающих проход, большинство казаков еще спали. Из соседнего купэ раздавался могучий храп Лукича.

Вид пустой равнины медленно кружащейся около неподвижного хребта действовал как тошнотворное. Игорь закрыл глаза и ждал пока его внутренности успокоятся, потом взял полотенце и пошел в уборную. На счастье бак был наполнен. Умывшись, он вернулся и увидел Полковника, повидимому поджидавшего.

«Доброе утро. Как себя чувствуете?» справился Полковник.

«Паршиво, благодарю вас». Игорь сел и закурил. У папиросы был отвратительный запах. Он бросил ее на пол и раздавил каблуком. Полковник откашлялся и погладил усы. Игорь ждал с растущим раздражением.

«Вы пожалуйста не подумайте, что я вмешиваюсь в ваши дела или что нибудь в этом роде», начал Полковник слегка нерешительно. «Ничего подобного, конечно. Но вот мы с Антонычем посматривали на вас, и с некоторым как бы сказать беспокойством. И он посоветовал мне с вами поговорить... Так вот не будем ходить кругом да около... Разрешите вопрос прямиком поставить. Вы не тот человек, что были в Париже... В чем дело, Игорь Петрович?»

«В чем дело, Полковник?» Игорь повторил вопрос. «Плохо исполняю секретарские обязанности?»

«Секретарские обязанности тут совершенно не при чем. И нечего вам недотрогу ломать. Я ведь вам в отцы гожусь... Я ведь так, по-дружески». Он положил руку Игорю на колено. Игорь решил, что теперь будет проповедь».

«Я не хочу вам лекции читать», продолжал Полковник, как-будто угадывая его мысли. «Начну с того, что понравились вы мне... Вероятно потому, что вижу в вас самого себя, в молодости... Хорошее было время. Хорошее и драгоценное — потому, что такое короткое. И мне просто обидно, что тратите его так зря. Ни себе пользы ни другим. Может быть, мне даже отчасти завидно, что вы транжирите то, чего у меня уж больше нет... Да, завидую я вам».

Его голос звучал неожиданным и глубоким чувством. Игорь пожал плечами. «Похоже, что зависть любимое времяпровождение в нашей компании. Каждый кому нибудь завидует. Вы завидуете мне, а я могу позавидовать вам...

«Разрешите спросить, сколько вам приблизительно лет?» закончил он в ответ на вопросительный взгляд Полковника.

«Да скрывать нечего. Мне пятьдесят один стукнул. Хотя я не вижу чему же тут завидовать».

«А может быть есть чему. Значит вам было около сорока, когда война началась. Значит больше тридцати лет, как вы себя помните, вы жили приличной жизнью. Более или менее счастливы? Есть чем вспомнить?»

Полковник ответил не сразу. «Счастье не мука — мешком не измеришь. Вот пожалуй только глядя назад и сравнивая одно с другим, то и видно — когда был счастлив, а когда не был. Конечно, всякое бывало — и хорошее и плохое. Особенно в последние годы. Жена умерла перед войной. Теперь-то видно, что может быть и к лучшему. Сын пропал без вести в первом налете на Восточную Пруссию. Дочь замуж вышла. Надеюсь жива. Писать боюсь, да и не знаю куда... Ну а в общем, как сравнить с другими, пожаловаться нельзя».

«Когда синица улетела, сразу видно какая она синяя и красивая», Игорь прибавил сухо. «Ну хорошо, а вот теперь возьмем мое положение. Война началась когда мне было семнадцать. Так называемая весна жизни. Девятнадцати лет я уже сидел в окопах, в грязи, со вшами и прочими домашними животными. А потом, конечно, революция и гражданская война. Мало того, угораздило выступить сверх программы в восстании в своем городе. Результат — пол города сгорело, а в нашем доме стену

снарядом вышибло. Официально расстрелян, а неофициально вот так и проживаю — как говорится на халтуру... Одним словом, липовые воспоминания! Лучше-бы их вовсе не было. Но тогда что-же остается? Немного больше года в университете... гимназические годы... и конечно романтическая жизнь с бродячей труппой и в Парижских кабаках... и еще более романтические приключения с казачьим хором... Я только одним глазком успел взглянуть на ваш мир, Полковник. Уютненький был мир. И теплый. Есть такое хорошее немецкое слово, «Gemutlich». Очевидно так уж созданный самим Богом. Освященный церковью под благословением Святейшего Синода и украшенный всякими обрядами и привычками. И над всем этим витало знамя с двуглавым орлом и большими золотыми буквами: За Веру, Царя и Отечество. Правда, ходили слухи, что есть еще и другой мир, не совсем уж такой уютный. Но я об этом только читал в книжках. Молод был. Политикой не занимался. Тоже правда, что многие смотрели на веру и на царя с точки зрения, как выражается Лукич. Но отечество казалось как солидная и несокрушимая скала... Ну, это все дело прошлое. Я хочу сказать, что вам по крайней мере есть что вспомнить... У вас была жизнь. Вот поэтому-то мне и можно было бы вам позавидовать — если-бы я был завистлив».

Полковник сидел опустив голову. «Да, пропало целое поколение. И конца еще не видно... Ведь я не в осуждение вам. И надеюсь и вы и ваше поколение не осудите нас. Мы, конечно, были не святые, но и не такие уж злодеи и кровопийцы как нас представляют. Мы родились в свет приготовленный нашими отцами и дедами и жили как могли — по закону и по обычаю. Историю мы учили в школе, а сами попадать в нее не собирались. А вот попали — да и как попали!... Кроме того, как солдату, мне не полагалось особенно вдаваться в политику. Мое дело — исполнять приказания начальства и приказывать нижним чинам. Но хотя и солдат, я все-таки интересовался что делается кругом. Приглядывался, газеты читал. И вот должен сказать вам, Игорь Петрович, хороший и свежий ветер дул по России перед войной. Вам-то, конечно, вероятно было незаметно, но ветер подул совсем с другой стороны. И начал проветривать темные закоулки и выдувать пыль и паутину. Ну, конечно, было немало оболтусов и прохвостов, как везде и всегда. Да и нечего греха таить, были такие и в высоких чинах и на важных должностях. Слишком много было и таких с царем в сердце, а без царя в голове. Проворонили Россию!... Ну и война подгадила. Раздула ветер в бурю и не только пыль

и паутину, а весь дом сдунуло... Однако, все это дело прошлое. И не об этом я пришел с вами поговорить. Я хочу вот что сказать. Я знаю кое что вы еще не успели узнать — что время удивительный лекарь. Успокаивает самую жестокую боль, залечивает глубочайшие раны. Поверьте — я знаю. И пока есть будущее, есть надежда... У вас есть надежда... Вы молоды...»

Он поднял голову и взглянул на Игоря. «... А я Игорь Петрович? На пороге старости я остался без ничего! Должен ездить в парадах, как циркач! Да и на том спасибо! Что толку в приятных воспоминаниях? Нет приятных воспоминаний в нашем положении. Чем приятнее, тем хуже! Да одними воспоминаниями и не проживешь... Вот вы возможно думаете, что мы — не меньше чем большевики — погубили Россию. Что вы, молодежь, расплачиваетесь за музыку под которую мы танцевали. Все это может быть и правда. Но ведь это дело прошлое. Факт тот, что мы оба как-то уцелели и вышли живыми... Чудом или по счастью или еще как. Но ведь мало того, что вышли живьем — надо чтобы и остаться живым! Вот тут-то и загвоздка — как жить? Чем жить? Где жить?... Вот тут-то ваша и взяла. Вы молоды. У вас есть шанс. А у меня — какой-же шанс? Мне-то уж мало на что надеяться».

Смотря на него в упор, Игорь спросил: «На что вы надеетесь, Полковник?»

Полковник отвернулся. Его плечи опустились. Когда он ответил, в его голосе не было обычной твердости. «Вот это и вопрос. Я и сам себя спрашиваю... Откровенно сказать — не знаю! Надеюсь на что-то, а что именно — не знаю. Вот, может быть, найду какой-нибудь уголок в новом мире. Может быть хоть маленькие удобства... И еще надеюсь, чтобы умереть в России... Подумаешь, подумаешь — и никак не видно, как-же всего этого достигнуть. Так лучше и не думать, а просто надеяться... Потому, что если без надежды... горько, Игорь Петрович».

Глядя на его небритое лицо с седоватой щетиной и уныло висящими усами, Игорь подумал, что старый воин вероятно в первый раз в жизни встретил противника против которого у него не было защиты и на которого он сам не мог напасть.

Ирония положения поразила его. Он рассмеялся-бы, если-бы не болела голова. «Поверьте, я вам симпатизирую, Полковник. Между прочим, мы ведем очень странный разговор. Доказываем друг другу — который из нас сидит в более глубокой яме. Как два погорельца с ключами от сгоревших домов спорят чей дом был лучше или

хуже. Если хотите завидовать мне — пожалуйста, я ничего не имею против».

Полковник помолчал, затем поднялся. «Ну извините», сказал он коротко и пошел к своему месту на другом конце вагона. Игорь знал, что лучше-бы не сказать тех последних слов Полковнику. Но голова болела, отражая каждый толчек вагона, во рту был тот-же противный вкус и все остальное было безразлично.

Следуя глазами за Полковником, он увидел голову Коваля, поднимающуюся из-за спинки сиденья. Первое движение Коваля, как и его, будет к уборной и к воде.

Игорь поднялся и вышел на заднюю площадку.

30.

Косая тень крыши Hotel Ambajadores рассекла диагонально пустую коробку patio с рядами дверей на двух этажах. Тень подхватила одинокую пальму в центре patio как раз под короной блестящих фронд. Пальма горела над тенью зеленым пламенем. На солнечной стороне балкона Маэстро Антоныч, Полковник и Сотник Коваль лениво развалились в креслах качалках, закрыв глаза от утреннего солнца — теплого, но еще не жгучего. На другой стороне, группа казаков столпилась около шеста с перекладиной на которой сидел большой зеленый попугай.

«Кажется как будто воскресенье», заметил Антоныч.

«Воскресенье и есть», ответил Коваль.

«Да? Я уж счет потерял. Каждый день одинаков».

«И погода воскресная», сказал Полковник. «Мексика подходящая страна, если без жары и пыли. Опять-же отдохнули в настоящей постели. И гостиница попалась приличная».

«Большая разница», согласился Антоныч. «Замечательно чувствую себя сегодня. Как никогда... Ну теперь уж недолго. Три недели как нибудь потерпим... Если сегодня в воскресенье, то почты не будет. Я хочу сам поглядеть на письмо от этого Техасского антрепренера. Ивану Иванычу тоже верить нельзя».

«Волгин говорит, что правда», сказал Полковник. «Он кажется, пошел в театр — посмотреть может быть вчера почта пришла. Да нечего беспокоиться — почти в Америке... Странно: три недели до Рождества, а тут пальмы... на балконе сидим...»

Антоныч кивнул молча и продолжал качаться в кресле, отдаваясь чувству приятной лености... По всему похоже, что до Америки добрались! В первый раз повезло

когда американский консул в Тампико, восхищенный их пением, немедленно согласился выдать хору визу и сказал, что он оказывает большую услугу американскому народу. Потом пришли письма из San Antonio и El Paso в Техасе с приглашениями дать там концерты... После несколько ночевок в гостиницах вместо вагона, дышать было не так тяжело. Да и жара постепенно спадала. Усталость еще чувствовалась, но не такая гнетущая, а больше даже приятная леность. Грудь не болела. По утрам меньше кашлял кровью... Антоныч покачивался в кресле, наблюдая полузакрытыми глазами за происходящим на другой стороне балкона.

Зеленый попугай, очевидно привыкший к вниманию публики, прихорашивался и чистил лапой крючковатый клюв, поддерживая сам с собой оживленный разговор.

«Ось бач бисова душа птиця», удивлялся Кирюша. «Балакает як человек!»

«Интеллигентная птица, с точки зрения».

Попугай, польщенный, распушил воротник перьев, испустил пробную ноту и вдруг запел. С высоко поднятой головой, он распевал хриплым режущим баритоном — что-то о Марии и amor, единственные слова, которые казаки могли разобрать. Казаки, пораженные, стояли с открытыми ртами. Повидимому дойдя до чувствительного места, попугай закрыл глаза и еще выше поднял голову. Его голос перешел на скрипучий тенор и задрожал. Казаки, не в силе больше удержаться, разразились оглушительным хохотом. Попугай, раздосадованный невежливым перерывом, ощетинился перьями и кричал пронзительно, «Caramba!... Caramba!...»

Кирюша вытер глаза кулаком. «...Ну и птиця... До слез насмешил...»

«Возьмем его в солисты», объявил Лукич. «Поет за тенора и за баритона... Смотри сюда, Вафля: попугай — простая птица — а по-испански разговаривает как хочет. А ты, ишак, не знаешь как хлеба спросить».

«А вот и знаю. Испанский хлеб, **пан.** Ежели-бы я родился здесь, и я говорил-бы по-испански. А ты возьми этого попугая в Россию и держу пари он не выучит наш язык скорее, чем я. А этот и сам не знает, що вон там болтает».

«Он знает, будь уверен», возразил Лукич. «Он как посмотрит на тебя, то и видит глупого казака. Так-ли, попка?»

«Caramba!» ответил попугай.

Казаки опять засмеялись. Вафля смотрел на птицу с некоторым сомнением.

«Попугаи умные», сказал Кирюша. «Я помню малышем был на ярмарке и там один сербиян або цыган ходил с попугаем. И этот попугай за три копейки билетики со счастьем вынимал. Мне вышло дальная дорога — вот и верно».

Разговор об уме попугаев был прерван приходом секретаря Волгина. «Дело в шляпе», объявил он, размахивая какими-то бумагами. «Вот американцы уже рекламируют нас!»

С криками, Ура! казаки столпились около Маэстро и Ивана Иваныча разглядывающими афишки с хорошо знакомой фотографией хора и надписью на непонятном языке. «Что тут прописано?»

Игорь объяснял: «Одна из El Paso, как раз на границе, через реку. А другая из San Antonio подальше в Техасе. Объявляют, что в скором времени знаменитый казачий хор будет давать концерты по дороге из Парижа и Мексики в Нью Иорк. Точное время будет объявлено особо».

Вид собственных лиц на американской афише убедил даже самых недоверчивых. «Так значит Иван Иваныч не врал...»

«Да разве я вас когда обманывал?» спросил Иван Иваныч обиженный.

«Ну обманывать не обманывал, а уж не без заливанья».

Когда первое волнение успокоилось, Игорь вынул почту, пришедшую из конторы агента в Мексике и начал выкликать имена: «Сашка... Кирюша, дождался наконец... Сотник Коваль...» Он передал открытку Ковалю. Даже не читая, он знал ее содержание. Он сам получил такую же открытку с видом большого парохода «Завтра прибываем в Нью-Иорк. Очень волнуюсь в ожидании Америки. Подписала контракт. Надеюсь скоро опять все увидимся. Н.» Среди многих волнующих и тревожных мыслей, одно было ясно: Надя в Нью-Иорке!...

Сашка подошел со своим письмом. «Читай, что она тут пишет. Помнишь написали в том городе, где Дуля управлял?»

Игорь заметил, что Коваль поднял голову со своей открытки. «Ну пойдем, переведу».

«Куда пойдем?» раздались голоса. «Здесь читай, а мы послухаем».

«Вишь какие вы прыткие!... Как письмо, Игорь Петрович? То-есть хорошее?»

Игорь взглянул на письмо. «Похоже хорошее».

«Ну валяй... А вы не гомонить».

Игорь начал, «Rouget, моя любовь...»

«Это я», перебил Сашка. «Rouget значит рыжий».

«...Я плакала от радости, получив твое письмо. И я очень, очень счастлива. Я знаю ты его написал не сам, но я так рада, что твоя любовь вдохновила эти чудные строки. Они как поэзия. Я читала его моей подруге и она тоже плакала, что ей никто не пишет таких писем...»

«Ну нарезал Игорь Петрович!» восторгался Сашка. «В самую точку попал!»

«...Мне так приятно, что мой Rouget так расстроен разлукой. Я никогда не сомневалась, что ты вернешься ко мне. Может быть немножко. А теперь я совсем счастлива, что мой милый Rouget любит свою Мими, которая его безумно любит и с нетерпением ожидает...»

«Обрати внимание!» торжествовал Сашка. «Она меня любит! Как вернусь в Париж, а она уж там у окошка сидит, поджидает!»

Постоянно перебиваемый Сашкой, подробно объясняющим более интимные намеки в письме на удовольствие гогочущим казакам, Игорь торопился с переводом, чтобы прекратить эту чудовищную глупую шутку он разыграл над собой... и над Надей! Он видел как Маэстро и Полковник сдержанно улыбались, покачиваясь в креслах. Они, конечно, ничего не подозревали. Сотник Коваль тоже слушал. Оперщись подбородком на руки скрещенные на крючке палки, он опять напоминал Игорю Стрига Собора Богоматери. И хотя это было совершенно невероятно, Игорь не мог отделаться от мысли, что Коваль догадывался...

Занятые письмами, никто не заметил как Кирюша ушел с балкона. Когда все интересные новости стали известны, Вафля решил заглянуть к Кирюше — узнать что делается дома. Он нашел Кирюшу на кровати лицом вниз. Кирюша не пошевелился при приходе Вафли.

«Отдыхаешь, Кирюша?» справился Вафля.

Кирюша пошевелился, но не ответил. «Что пишут из станицы?» опять спросил Вафля.

Кирюша поднялся неловко и сел на краю кровати. Один взгляд на его лицо подсказал Вафле, что что-то неладно. Всегда удивленные брови Кирюши поднялись еще выше, но их удивление было удивление боли. Щеки были мокры от слез. Он кусал дрожащие губы.

«Ты чего, Кирюша?»

Кирюша кивнул в сторону двух листов на столе. «Письмо вот... от кума», ответил он беззвучным голосом.

Вафля взял письмо. Оно было написано крупными

тщательно выведенными буквами на линованной бумаге, повидимому из школьной тетради. Оно начиналось традиционным церемониальным обращением: «Во первых строках моего письма посылаю всенижайшее почтение и с любовью низкий поклон любезному моему куму Кириллу Трофимовичу...» Кум, очевидно хорошо знакомый с этикетом, продолжал с поклонами и приветствиями от всех родственников и друзей, называя каждого полным именем и отчеством. Затем он сообщил в том же эпическом духе, что они — слава Богу — живы и здоровы. Что станичники повозвращались до дому, кроме тех, которые не вернулись. Что жизнь стала тяжеловата и Бог знает когда будет лучше. Что по случаю хорошего урожая, хлеба довольно, но правительство приказало поставлять больше. И что станичная церковь назначена под казенный амбар.

Взяв другой листок, Вафля читал: «...И еще уведомляю вас, любезный кум Кирилл Трофимович, что ваш батько Трофим Климович сослан в Соловецкий монастырь скоро после Воздвиженья, как он признан кулаком и врагом народа. И слух такой по станице, что не все туда доехали. А матушка ваша, Ирина Андреевна была сильно огорчившись, после захворала и Богу душу отдала на Благовещенье. И кроме того уведомляю, что вся земля ваша и хозяйство перешло в коммуну, как оно было признано имуществом контрареволюционера. А бывшая супружница ваша, Анисья Осиповна осталась сиротой бездомной и по скорости времени перешла жить к председателю станичного совета и теперь они живут как муж и жена, поженившись по новому закону. И только на прошлой неделе породила дочку. А сын ваш Петр Кириллович жив и здоров и живет с матерью и приемным отцом. Он ходит в школу, до нас забегает, о тебе спрашивает...» Без дальнейших объяснений и комментарий кум закончил письмо в надежде, что он найдет получателя в добром здоровьи, и просил отписать как оно там и как живут в заморских странах ввиду интереса всей станице.

Дойдя до конца, Вафля положил письмо на стол. Он боялся даже смотреть на Кирюшу.

«Урожай, пише, хороший», сказал он наконец, вспомнив одну приятную новость. Кирюша ничего не ответил.

«Мальченок тебя помнит, це добре», продолжал Вафля в том-же духе.

Кирюша простонал и опять упал в постель, зарыв голову в подушку. Вафля был обескуражен. При всем желании, он не знал, что делать в таком положении. «Ты погоди здесь, Кирюша. Я позову хлопцев».

Он вышел и побежал на балкон, где казаки еще обсуждали скорый переезд в настоящую Америку. Тишина воцарилась после его объявления. Только попугай болтал лениво на шесте. Низкий голос Полковника прозвучал коротко и ясно: «Мерзавцы!»

Лукич ударил тяжелым кулаком по перилам балкона и яростно выругался: «А, кровопийцы, красная сволочь! Мало того, что разграбили Россию, а теперь и последнее добивают! Вот попадутся в руки — разорву на куски... собакам брошу. Я им покажу!»

«Чего расшумелся, Лукич?» сказал Князь. «Кому ты отсюда покажешь? Раньше бы показывал».

«Так вот-же и показывал!» гремел Лукич. «С первого вызова Корнилова до последней стоянки под Джанкоем!... И в девятьсот пятом году выходил с сотней пороть социалистов и революционеров!... Однако мало! Они опять поднялись, продали Россию, погубили!...»

Полковник подошел и положил руку ему на плечо. «Успокойся, Лукич. Мы все это знаем. Да нечего после драки кулаками махать. Только других гостей беспокоим».

Тяжело дыша, Лукич оглянулся на молчаливых казаков с опущенными головами и на горничных, выглядывающих из дверей с пугливым любопытством. Его руки опустились. «Правда ваша, господин полковник. Уж коли пропало, то пропало. Да горько же, с точки зрения!»

«Горько и есть», ответил Полковник. «Однако как насчет Кирюши?»

Маэстро, подошедший с другой стороны балкона, вмешался: «Вы хлопцы расходитесь по своим комнатам. Я поговорю с Кирюшей. И не забудьте спевку. Надо поспешить с этим американским номером».

Когда он ушел, казаки стояли в молчании. Зеленый попугай, недовольный равнодушием публики, переминался с лапы на лапу. Наконец прочистив горло, он опять разразился песней о Марии и amor.

Терентий, ближайший к нему, замахнулся шапкой и чуть не сшиб его с шеста. «Заткнись ты, бисова птица!»

Разъяренный попугай захлопал крыльями и кричал пронзительно: «Caramba!... Caramba!»

31.

Маэстро нашел Кирюшу в том-же положении, как Вафля оставил его, лицом в подушку. Антоныч сел на край постели и прочел письмо. Он молча смотрел на рас-

простертую фигуру, наконец сказал мягко, «Кирюша... Вставай, Кирюша, я зашел поговорить с тобой».

Кирюша поднялся и сел рядом с ним. Его глаза быстро мигали, щеки были мокрые и на подушке осталось темное мокрое пятно. Он вытер глаза кулаком.

«Тяжело тебе, Кирюша?»

Кирюша открыл и закрыл рот, как будто что-то мешало ему говорить. Наконец ответил прерывающимся голосом: «Антоныч.. я и не знал, что есть такая боль на свете...»

Антоныч кивнул. Они сидели молча, затем Антоныч заговорил просто и задушевно. «Кирюша, я знаю, что никакие слова тебе не помогут. И не собираюсь тебя утешать. Потому, что знаю и сам. Вот что я тебе скажу... Горько тебе, что мать умерла в горе и тебя не увидев... Но не это тебя убивает. Она теперь на покое и нет ей больше ни горя ни нужды. Не так-ли?»

Кирюша кивнул и Антоныч продолжал тем-же успокоительным тоном: «И не об отце ты всего больше горюешь. Если он помер или убит — царство ему небесное. Это все равно, как на войне. Все мы там были. А если жив — он все примет как настоящий казак. Разве это неправда?»

Опять Кирюша кивнул. Антоныч помолчал, видимо колеблясь. «...Да, и так-бы довольно, а вот еще и Анисья...»

Кирюша всхлипнул и закусил губы. Он схватил руку Антоныча и смотрел на него с страдальческим удивлением в круглых глазах. «Антоныч, что-же это? От живого мужа пошла жить с чужим человеком!... И не то чтобы я оставил ее, из дому убежал! Я свой долг исполнял — по совести, как и все. А она?.... Рази это по совести? По закону?... А что-же с малышем теперь?»

Антоныч держал его руку. «Неправильно это, Кирюша, и говорить нечего. Однако ты слушай сюда. Ты не знаешь, что там делается дома. Может ей больше ничего не оставалось делать. Подумай, без стариков и без дома — что ей делать одной с мальченком? Ты говорил мне, она сирота. Да и муж еще в белой армии сражался. Может быть она из-за этого и из-за мальченка... Очень может быть...»

Пораженный новой идеей, Кирюша уставился на него, быстро мигая под еще более удивленными бровями. Антоныч продолжал видя, что разбитое сердце молодого казака, перейдя за предел выносливости, было готово верить любому обещанию помощи. Не взвешивая слов утешения, Кирюша просто слушал, кивая механически, не замечая слез катившихся одна за другой.

«...Имей в виду, Кирюша, у всех несчастье. Нет ни

одной семьи в России, которая не потеряла бы кого-нибудь, или на войне или в революцию... Убит или ранен или пропал без вести. Уж такое счастье наше — родились в такое окаянное время. Судьба такая, чорт бы ее побрал».

Кирюша продолжал кивать, вытирая слезы кулаком, как ребенок.

«Вот что я тебе скажу, Кирюша. Скоро спевка. Будем репетировать американскую рождественскую песню и мне нужен весь хор. Поди умойся, а потом я тебе поднесу стаканчик для подкрепленя. Поди, Кирюша».

Кирюша послушно поднялся, пошел к умывальнику. Антоныч слышал плеск воды и фырканье. Сам он внезапно устал. Прежнее приятное утомление теперь давило его привычной тяжестью. Вероятно не удастся привлечь до спевки. Гомец сказал, что американцам будет приятно послушать рождественский гимн в русском исполнении... Еще три недели этой тяжести давящей грудь и тянущей к земле... Но все худшее уже позади: жара, пыль, спанье без отдыха на коротких и жестких скамейках... Но все ли худшее позади? Вот Кирюшу не пощадило...

Кирюша, с причесанными мокрыми волосами, стоял перед ним.

«Готов, Кирюша? Ну, пойдем».

На спевке никто не заговаривал о письмах. По возвращении в гостинницу, казаки весь день заходили к Кирюше — за табаком, за спичкой, или просто так. В таком маневре, Кирюша никогда не оставался один надолго.

В то же время большая компания собралась в одной из комнат. Разговор шел не о правоте или несправедливости случившегося с Кирюшей. Все происшедшее укладывалось в давно знакомые рамки, в общую стопу горя, которое они оставили в России и на которое поставили решение в долгие месяцы на Лемносе, в Галлиполи, в Болгарии, Сербии, Италии и Франции. Теперь обсуждение ограничилось текущими делами. Аргумент близко следовал линии намеченной Антонычем, за исключением одного пункта не упомянутого им — намеренно или ненамеренно.

«...Я остерегал Кирюшу насчет писем, много раз остерегал», говорил казначей. «Семья богатая. Батько, похоже, старорежимный. А сын с белыми воевал и с ними же за границу ушел. Чего хорошего ожидать?»

«Я тоже-было собирался, да и хорошо, что не написал», прибавил другой казак. «Отпишу одному в другой станице. Вместе служили. Он слово передаст нашим».

Мнения о неверной жене Анисье резко разделились.

«Кирюше такого не скажешь», заметил Терентий, «а может она пошла жить с комиссаром не только из-за мальчика. Мы тоже видели разных жен, когда мужей нет дома».

«Ишак ты, Терентий с точки зрения! То чужестранные жены!»

«Баба, везде баба».

«А человек везде человек», прибавил один из казаков. «Мы тоже знаем некоторых казачьих мужей, которые женятся в каждом городе».

«Что-же ты равняешь казака в походе с бабой дома?» горячился Лукич. «С испоконь веку казачьи жены сидели ждали своих казаков».

«Которые ждали, а которые и нет», вставил Князь.

Лукич пропустил его замечание. «...Новые порядки завели. Будь уверен, например, моя Ильинишна не опозорит казака».

«Страя твоя Ильинишна», не унимался Князь. «Кто на нее польстится?»

«Как это так стара? Еще и молодухам докажет!... А ты как о казацком обычае дознался?... Ха, кукурузный князь!» Лукич плюнул на пол. «Вот на твое княжество!»

Князь пошел к двери. «Разговаривать с тобой, старый чорт!.

«Погоди, вышибу из него княжество», ворчал Лукич, когда дверь закрылась за Князем.

Дуля, необычайно молчаливый, воспользовался паузой в разговоре. «Главное дело, чтобы не давать Кирюше думать про это писмо... Я знаю тут хороший змеятник...»

Он не окончил среди общей и громкой ругани, и видел полный провал своего проэкта, когда бас Лукича прекратил шум. «Слухайте сюда! Дуля дело говорит! Кирюша пострадал из-за бабы — бабой же его и пользовать... Хороший змеятник говоришь?»

«Первый сорт», Дуля ответил, ободренный. «Меня полицейский направил. Говорит сам туда ходит. А если пойдем громадой, хозяин может скидку сделать... По общедоступным ценам».

Лукич подумал. «При такой оказии казаку поддержку треба. Подкрепиться... Пойдем громадой и Кирюшу захватим».

По предварительному подсчету, половина хора согласилась идти. Одни искренне хотели помочь Кирюше, другие собирались в змеятник так или иначе — выпить пива с дивчатами. Для третьих обещание «общедеступных цен» было решающим фактором.

Уныние охватившее хор после радости извещения о близости Америки не рассеялось и на концерте. Оглядывая две шеренги певцов, Маэстро Антоныч видел два ряда окаменелых лиц не меняющих выражения ни в веселых ни в воинственных песнях. Ему самому приходилось прилагать огромное усилие, чтобы не поддаться давящей его слабости. В другой день он поставил-бы Дулю за себя. Но это был не обыкновенный день, и не Дуле было управлять хором! Проходя позади хора задавать тон на следующий номер, Антоныч шептал сердито, «Улыбайтесь черти! Что это вам — похороны?»

Он стоял перед хором с нездоровым румянцем на впалых щеках. Провалившиеся синие глаза обводили группы голосов — первых и вторых теноров, баритонов и басов — и каждого певца в каждой партии. Он крепко держал невидимые вожжи, ведущие хор и поддерживающие его самого. Он замечал как вечно удивленные глаза Кирюши в заднем ряду вторых теноров вдруг начинали быстро мигать на каком нибудь сентиментальном пассаже украинской песни. Антоныч строго смотрел на вторых теноров, слегка поднимая палец в сигнале внимания. И Кирюша переставал мигать и пел.

32.

Экспедиция в змеятник отправилась после концерта, с остановкой в гостинице переодеться в городские черкески. Лукич взял Кирюшу на свое попечение и уговорил его выпить «один на один». Кирюша выпил машинально. Никто не сказал ему куда они идут, и он ни о чем не расспрашивал.

Змеятник рекомендованный Дуле услужливым полицейским оказался где-то за городом. Дуля безошибочно вел по темной улице, затем по обсаженной кактусами дороге к ряду освещенных окон вдали. Приблизившись, казаки услышали музыку и вступили в полосы света, отбрасываемые окнами на черную землю. Дуля распахнул дверь, музыка вырвалась наружу, казаки ввалились шумной толпой. Три пары, танцевавшие под музыкальную машину остановились при виде странных гостей. Лицо падронэ за прилавком расплылось в улыбку. Около дюжины скромно одетых девиц за столиками и на скамейках вдоль стен смотрели на казаков с любопытством и перешептывались.

«Садись, кто куда!» скомандовал Дуля. Он сам направился к прилавку в сопровождении сеньора Гомеца, кото-

рый как-то присоединился к партии и повидимому был посвящен в предстоящие переговоры. С своего места за столом с Лукичем и Кирюшей, Игорь наблюдал за сценой, довольный, что Дуля очевидно не доверял его знанию испанского языка в таком серьезном деле. Сам он пошел по совету Ивана Иваныча, для вскякого случая.

Лукич поманил пальцем дородную женщину с подозрительно желтыми волосами завитыми «под барашка», и затем прибавил еще два пальца. Дородная женщина и две ее соседки подошли к столу. Лукич оглядел их критическим взглядом. «Подходящие козявочки, с точки зрения. Ты, блондинка, садись сюда с казаком. А ты, чернавка, вот с этим хлопцем и ублажай как можешь лучше».

Не понимая слов, женщины поняли жесты и сели на указанные места. Кирюша подвинулся для своей соседки, не обращая на нее внимания. Только когда она обняла его шею, он оглянулся и грубо оттолкнул ее. Мексиканка, удивленная и обиженная, закусила губу. Гнев блеснул в черных глазах.

«Есть папироса, Кирюша?» быстро спросил Игорь. Пока Кирюша рылся в кармане, Игорь наклонился к его паре. «Не обращай внимания... Вот.» Он положил в ее руку серебряное пезо, которое она немедленно спрятала куда-то под убку и опять повеселела.

Дуля подошел к столу. «Хозяин согласен на общедоступные цены, если гамузом. Считает по пезо на рыло».

Пока он пошел объявить новости другим столам, хозяин подошел принять заказ. «Три серveза козявочкам», сказал Кулич, опять растопыривая три пальца для ясности. «Да закажи чего поядовитее для нас, Игорь Петрович. Казаку треба вдарить сегодня. И как полагается вдарить!»

Хозяин принес три пива и бутылку. Все выпили. Кто-то опустил монету в музыкальную машину и она опять заиграла. Казаки с своими парами закружились в живописной комбинации польки и кадрили. Лукич топтался с своей дородной «козявочкой». Игорь остался присматривать за Кирюшей. Следуя инструкции Лукича, он постоянно подливал в стаканы и чокался с Кирюшей. Кирюша понемногу оживился. Он мигал на танцующих, как будто удивляясь их присутствию. Бледная улыбка появлялась и исчезала на его лице.

Когда машина остановилась в ожидании другого четвертака, Лукич и его пара вернулась к столу. «Разгулялся, Кирюша?... Еще серveза, козявочки?»

Две из девиц кивнули. Третья, сидевшая с Игорем,

покачала головой и показала на бутылку. «Тебе это больше по вкусу?» спросил Игорь. Он заметил в первый раз, что она не такая смуглая, как остальные. Карие глаза, правильный овал лица — испанское наследство. Он потрепал ее щеку. Она улыбнулась хорошей улыбкой. «Как твое имя?»

«Клара».

«Подбодрись, Клара. Выпьем за нас и за таких как мы — распродающих себя по общедоступным ценам... A los precios populares... Что? No tengo? Ну, ничего, все равно — выпьем...»

По мере того как бутылка пустела, выражение полной безнадежности исчезало с Кирюшиного лица. Он уже больше не сопротивлялся ласкам своей компаньонки, а принимал их с комической покорностью: «Ось бачь, бисова душа дивчина... Пристала як банный лист... Что ты с ней будешь делать?»

Игорь и Лукич переглянулись. Лукич подмигнул и кивнул. Игорь подтолкнул Кирюшину пару и кивнул на дверь. Она поняла, помогла Кирюше встать, обняла, и повела к двери.

Кирюша оглянулся в полном изумлении. «Ну и баба!... Хочет меня с собой увести! Что скажешь, Лукич — чи идти, чи ни?»

Лукич и Игорь оба ответили, что обязательно надо идти — иначе барышня обидится и вообще это неинтеллигентно, с точки зрения.

«Не пропади там Кирюша! Зови, если подмогу надо!» кричали казаки со всех сторон. Кирюша махнул рукой и поддерживаемый спутницей, направился к задней двери.

Музыкальная машина опять затренькала, на этот раз какой-то чувствительный вальс. Лукич вдруг выругался и вскочил со стула. «...К чортовой матери такую музыку! Чи это музыка казакам? Давай хлопцы!... «Скину кожух на полицю!» У казака пятки чешутся!»

Он вышел на средину пола, засучивая рукава черкески. Казаки окружили его. Не слушая машину, они грянули: «Скину кожух на полицю, сама вийду на юлицю». Ухая, подсвистывая и хлопая в ладоши. Подбоченясь и выпятив богатырскую грудь, Лукич пустился в пляс. Он поманил пальцем: «Эй, козявочки! Выходи которая поиграться с казаком... Эх вы, мексиканы! Нет у вас настоящего духу!... Игорь Петрович, голубок, вот жалость твоей парижской нет... Она бы уж ублажила казака!»

Другая сцена промелькнула перед Игорем ослепительной яркостью. Он толкнул Клару в кружок. «Иди, танцуй с ним!»

Она прижалась к нему. «No sabe».

«Почему no sabe?, Клара! ты просто общедоступная цена».

Не получив поддержки, Лукич пустился в присядку. Широкие и длинные рукава черкески развернулись и он размахивал ими как крыльями.

Он едва остановился, как Сашка выскочил в кружок. «Давай кабардинскую! Собирай кинжалы!» закричал он, нахлобучив папаху.

Те у которых были настоящие кинжалы, а не деревянные сценические, выхватили их. Масляная улыбка сползла с лица padrone при виде казаков размахивающих длинными ножами. Девицы отступили назад, в удивлении и испуге. Они успокоились и смотрели просто с любопытством когда Сашка собрал кинжалы и заткнул их за воротник и за пояс.

Дикая Кавказская мелодия врезалась в треньканье машины. Среди невообразимого гама Сашка кружился в отчаянной и живописной лезгинке не виданной ни в одном театре Европы и Америки. Женщины, с широко открытыми глазами, подкрикивали «Ole», и хлопали в ладоши вместе с казаками. Дуля принес стул. Остановившись перед ним, Сашка прицелился, кивнул — и длинное лезвие вонзилось и задрожало над деревянным сиденьем. Женщины ахнули. Опять и опять Сашка ставил кинжалы за нижнюю губу, кивал — и следующий кинжал вонжался в стул, рядом с другими.

«Вот так мы!» вскричал он, срывая шапку. Его пара подбежала и бросилась ему на шею.

Казаки продолжали петь и хлопать. «Давай, Князь! Твоя очередь!»

Князь покачал головой. «Я не танцую- по змеятни кам».

Сашка подступил к нему, с мексиканкой все еще висевшей на его шее. «Почему нет? Княжество в башку вдарило?»

Машина внезапно остановилась. В наступившей тишине Князь огляделся быстрым, настороженным взглядом. Сашка оттолкнул свою компаньонку. Прищуренные глаза впились в Князя. «Танцуй, сукин сын!»

«Я не танцую в змеятниках!» повторил Князь. Его белые зубы оскалились под тонкими черными усиками. Он положил руку на рукоять кинжала. Лукич, ближе к нему, ударил его под скулу и Князь растянулся на полу. Женщины разбежались к стенам. Хозяин, возбужденно жестикулируя, что-то говорил Гомецу.

«А ну выкиньте его сиятельство отсюда!» гремел

Лукич.

Пока казаки стояли в нерешительности, Князь поднялся и вынул кинжал. Дико вращая белками глаз, он огрызался: «Подходи! Кишки выпущу!»

Предвидя неминуемую неприятность, и в сознании своей секретарской обязанности, Игорь ринулся в толпу. «Эй вы! С ума сошли! Хотите в каталажку угодить вместо Америки?... Не рыпайся, Сашка! Если он не хочет танцевать, значит не хочет!... Лукич, ты что — обалдел?»

«Не потерплю, чтобы кто ни на есть мою жену обижал!»

«Да кто-же ее обижал?»

«Он обижал! Говорит — стара».

Игорь выругался. «...Нашли место женины годы считать!... Расходитесь все по местам... Убери кинжал, Князь. Война окончена». Он поднял князеву кабардинку, взял его под руку и повел к двери.

«...Я не танцую по змеятниках», настаивал Князь.

«Твое дело... Я тоже не танцую...»

«Дорогу домой найдешь?» спросил Игорь когда они вышли.

«Что я — пьян?... Хоть он и был в гвардии Наместника, а ишак!» Князь надвинул шапку на глаза и пошел по направлению к городским огням. Игорь следил за ним, пока он не исчез в темноте.

Возвратившись к столу, он увидел, что Лукич и его козявочка исчезли. Почти пустая бутылка тоже исчезла. Клара показала пальцем на заднюю дверь. Они оба засмеялись.

«Vamos tambien?» [1]) спросила Клара.

Он взглянул на нее. Она улыбалась прежней хорошей улыбкой, слегка сонной. Он подумал о темной и пыльной дороге в город... в гостинницу... пустую комнату с нераспакованными чемоданами и гитарной коробкой, которую он не открывал с самой Франции...

Он обнял Клару. «Vamos!»

33.

Игорь проснулся внезапно и без всякой причины. В первый момент он не сознавал ничего, кроме самого себя с пустотой внутри и в темноте снаружи... Где он?... Вдруг молния озарила темноту: Надя в Нью-Иорке! Разбуженная память хлынула бурным потоком... Письма...

---

[1]) Пойдем и мы?

Зеленый попугай... Буйная и невеселая ночь в змеятнике... Клара... Он слышал ее ровное дыхание рядом с ним... Вчера она привела его, за общедоступную цену, в эту свою комнатушку, убогую но чистенькую. Первое, что он увидел был маленький лубок Гвадалупской Богородицы, покровительницы Мексики — Nuestra Senora de Guadalupe, как ее называли. Образок был пришпилен у зеркала над комодом и украшен венком бумажных цветов... Вид этой комнатки убил его желание, и так не сильное из-за тяжести в голове. Когда они наконец лежали рядом в темноте, он знал, что Клара была готова выполнить ее часть сделки. Даже сделала слабую попытку притянуть его к себе. Но он не мог отделаться от мысли об открытой улыбке ее карих глаз, Гвадалупской Богородицы и общедоступной цене. Эта комбинация смешивалась только в жалость к Кларе и в смутную досаду на себя и на все происшедшее. К счастью содержимое бутылки Лукича повидимому оказалось слишком «ядовито» для Клары потому, что он скоро услышал ее ровное дыхание и легкий храп. Он собирался уйти, но память о пустой дороге в пустую комнату еще больше отяжеляла голову... Он вероятно тоже скоро уснул...

Игорь поднялся. Que es? он услышал сонный голос.

«Yo voy. Buenas noches, Clara».

«Gracias, Senor. Adios». Он почувствовал, больше чем увидел, голую руку протягивающуюся к шее. Легкий поцелуй на щеке. Не желая видеть ни себя, ни комнату, ни Клару, он нашел свои вещи при свете звездного неба видимого в окно. Найдя в кармане два пезо оставшиеся от вчерашней попойки, он положил их на комод — подарок Кларе. Она повидимому услышала их легкое позвякивание. «...Gracias, Senor».

В раме крыши patio, бисерь звезд рассыпался по черному бархату ночи. Игорь нашел калитку и вышел на дорогу к городу. В открытом поле было светлее. Ущербленный месяц висел над городом опрокинутой чашкой. В его призрачном свете придорожные кактусы стояли причудливой толпой, отбрасывая кривые тени на черную землю.

Как он шел, шаг за шагом, он чувствовал, сильнее и сильнее, странную тревогу выступающую к нему из этой ночи. Он замедлил шаги. Остановился. Прислушался... Ни движения, ни звука... Ни сонного чиликанья птиц, ни шелеста листьев. Немое мерцание звезд, непривычно ярких в непривычных созвездиях, только углубляло безмолвие черного неба и черной земли. И безмолвие царило в пустоте внутри его. Душа была отнята у мира — и

его собственная душа с ней...

Он сел на выступ скалы около дороги. Высокий прямой кактус с двумя отростками стоял между ним и месяцем, как тощее привидение с руками поднятыми или в мольбе или в проклятии. Длинные колючки четко выступали на лице месяца. Сидя неподвижно, Игорь видел как месяц медленно полз с одной колючки на другую. Зачарованный этим подобием жизни, Игорь следил за ходом месяца.

Наконец светлая опрокинутая чашка месяца выбралась из-за кактуса и повисла свободно. Глядя на нее, он видел другой месяц — тонкий серп рожденный в зареве заката между пылающими облаками и пылающим океаном — как он видел его с парохода из Европы... Свежий ветер в лицо, как тогда, по выходе из Севастополя... Стайки летучих рыб взвивающихся из синих волн Голфштрема... И далекое неизвестное за этим великолепным занавесом!...

Но оба месяца, хотя и те-же самые, были не те. Этот был тусклый, как нечищенный сомовар, едва отражающийся на колючих стеблях и лепешках кактусов... А за пылающим занавесом заката он нашел себя по дороге от проститутки в гостинницу с зеленым попугаем...

Зеленый попугай!... Его синяя птица оказалась зеленым попугаем, который пел о Марии и amor и бранился по-испански!

Игорь встал и рассмеялся в кривое лицо месяца. Он остановился так же внезапно. «Кому истерику играешь, дурак? Забыл, что годишься только для легких ролей? Да и слушать некому». Звук смеха прогнал колдовство ночи. Ночь была обыкновенная мексиканская. И не все созвездия были чужие. Там на Севере знакомый ковш Большой Медведицы опрокинулся над землей. Игорь продолжил линию соединяющую две наружные звезды ковша, как учили в школе, и нашел Полярную едва мерцающую низко над горизонтом. Он повернулся к востоку от Полярной, в направлении Нью-Иорка, сел и закурил.

Чернота ночи рассеивалась и осталась только в силуэте далеких гор на розовеющей полосе неба. Месяц поднялся выше и посеребрел. В бледном свете зари Игорь увидел фигуру приближающуюся от стороны змеятника — один из казаков, судя по папахе. Скоро он узнал Кирюшу. Молодой казак шел неуверенными шагами, останавливаясь, жестикулируя. Игорь слышал, как он разговаривал с собой. «...Вот вы скажите мне — по правде это?» продолжал он, останавливаясь перед Игорем. «Ежели и для Петрушки, рази правильно?... От живого мужа?...

Что же мне теперь — убить ее или его или себя?» Он взглянул на Игоря как будто только что узнав его. «Игорь Петрович, что же это? Правильно или нет?» Его лицо осунулось за ночь. Круглые глаз глядели вчерашней тоской.

«Трудно отсюда судить, Кирюша. Мы не знаем, что там. Может быть уж так ей пришлось».

«Так как же она не отписала, не обьяснила? Жена ведь она мне! Под венцом вместе стояли! Ежели-бы она все отписала и объяснила, я ведь тоже человек, а не какой язычник... У меня сердце есть... Уж раз такое дело... А так просто уйти, ничего не сказавши, точно меня нет живого на свете... нет, нет! Нету такого закона...»

Вдруг он схватил Игоря за рукав и продолжал с необычайной для него суровостью: «Слушай сюда! Говори, что мне делать? И не отнекивайся, что не знаешь. Вы образованные должны знать!»

«Что знать Кирюша?»

«Делать то мне что! Не могу я так жить! Иначе что-нибудь сделаю...»

«Надеяться надо, Кирюша».

«На что надеяться? Пропала вся надежда!» воскликнул молодой казак, чуть не плача.

«Не пропала, Кирюша. Пока живы, не пропала. Когда-нибудь Фортуна и к нам лицом повернется. А не повернется, так мы ее сами повернем... Я ведь знаю, что у тебя на уме. Я тоже все потерял. Последний раз я видел дом, была большая дыра в стене. Снарядом вышибло. Потом узнал, что мое имя в числе расстрелянных. Теперь и писать боюсь — могу семью под монастырь подвести. Живой контр-революционный сын опаснее мертвого... Вылезать нам надо из ямы, Кирюша. Стремиться к чему-нибудь и надеяться, что добьемся. Вот кум пишет, что сын справляется о тебе. Не забывает. Мы скоро приедем в Америку. Едва-ли поедем куда дальше. Там и обоснуемся. Америка богатая страна. И русских там наверное много. Найдешь работу, обживешься, а потом может быть и сына к себе выпишешь. Анисья его отпустит. Рада будет загладить прошлое. К тому-же дочка у нее есть. Ты вырастишь его американским казаком...»

Игорь слушал свои собственные слова как будто чьи-то чужие. Они пришли к нему сами по себе и он не знал, что он их скажет.

Их эффект был быстр и поразителен. Круглые глаза Кирюши замигали в счастливом удивлении. «Петрушка!» воскликнул он. «Петрушку выпишу! Как-же это я сам не догадался!... Куму напишу... И ей тоже! Она не имеет

права! У ней теперь дочка есть, а сын мой. Моя кровь! И не быть моему сыну комиссарским пасынком!... Ну, спасибо вам, Игорь Петрович! Дай Бог здоровья... В век не забуду!»

34.

Рождественский гимн раздавался в пустом и холодном театре Alcazar. Потрескавшийся кинематографический экран подвешенный на сцене отражал свет одинокой лампочки на железном стержне — как раз достаточно для казаков читать ноты в первых двух рядах, и для Маэстро Антоныча согнувшегося над пианино. Свет едва достигал последних рядов пустых сидений и окончательно терялся в зияющей темноте балкона. Было совершенно непохоже, что на улице ясный день и свежий ветер, дующий из-за реки — из Америки.

Простая и трогательная мелодия, рожденная в горах Тироля, и переложенная Антонычем на широкую русскую гармонию с отголосками далекого эхо, звучала в торжественном великолепии:

«Silent night, holy night,
All is calm, all is bright...»

Репетирующим казакам она не говорила ни о чем рождественском. И кругом не было ничего напоминающего великий праздник. Ветер с американской стороны дул холодом, особенно ночью, но вместо снега — как полагается на Рождество — был один песок и пыль.Однако каждый старался разучить иностранную песню. Она американская, они будут ее петь через несколько дней в настоящей Америке. Они наконец добрались до нее, — рукой подать через реку. Последние три недели прошли в усиливающемся возбуждении ожидания. Ночи становились хоолднее, как хор продвигался на север. Однажды даже выпал легкий снег, сейчас-же растаявший. В нетопленном вагоне часто было холодно. Но никто не жаловался: привычный холод был лучше, чем жара и пыль. Холод означал, что турне по Мексике закончилось. Вчера был последний концерт в этом самом театре Alcazar. Затем два концерта за рекой, а там еще в каких то больших городах Техаса и наконец в Нью-Иорк. Теперь они ждали Ивана Иваныча и секретаря Волгина, которые пошли к американским эмиграционным властям, а также справиться о расписании американских поездов. И все чувствовали приятное волнение, когда их голоса слива-

лись в американском рождественском гимне:

«Sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace.»

Когда эхо затихло в вышине балкона, Антоныч подул в кулак и потер озябшие руки. «Чего они там застряли? Держу пари, Иван Иваныч заливает американцам, а Волгин переводит... Ну, хорошо, давайте еще раз. Басы, не гудите как шмели в бочке. Да выговаривайте слова как секретарь учил, а не так как будто языки одеревенели. Не можете русских букв читать?»

«Изо всей силы стараемся, Антоныч. Секретарь и сам сказал, что нет таких русских букв, чтобы американские слова изобразить».

«Удиивтельный язык», прибавил Вафля. «Другие языки, хоч и не понимаеш, а все-же слышишь, есть какие ни на есть слова. А вчерась я сидел в салуне около одного американского гаврика, и похоже у него полон рот воды и он не говорит, а тильки булькае».

«Секретарь Волгин понимает, значит есть слова», сказал Антоныч.

«Секретарь кацап. А може казацкие языки не приспособлены к американским словам».

«Ну, приедем в Нью-Иорк, новые закажем. А пока старайтесь».

«Ничего, Антоныч. Американцы подумают мы поем по-русски!»

Стук двери заставил их обернуться. Иван Иваныч и Волгин вышли из темноты под балконом. Когда они подошли ближе, казаки увидели лицо Ивана Иваныча — с выражением полного и беспомощного расстройства в контраст с торжествующей миной последних дней. Секретарь Волгин тоже был необычайно серьезен. Иван Иваныч остановился у пианино. Он открыл и закрыл рот, как будто-бы не в состоянии говорить.

«Чего вы воздух хапаете, как рыба из воды, Иван Иваныч?»

Иван Иваныч еще раз глотнул воздух. «...Господа, это ужасно... Мы... Нам нельзя ехать в Америку!»

Как по команде, казаки вскочили. «Как нельзя?... Почему нельзя?»

«Нельзя... Вы объясните, Игорь Петрович». Иван Иваныч опустился на стул.

Игорь обратился к хору: «Хлопцы, случилось совершенно неожиданное и непредвиденное. В Америку-то нам ехать можно. Но ввиду того, что мы въезжаем не как эмигранты, а как посетители, нам нужно внести по пять-

сот долларов на человека. Нам их вернут когда выедем. Американский консул в Тампико ничего об этом не сказал. Его дело только визу выдать. Да он наверное думал, что у знаменитого хора уж конечно есть средства... Пятьсот долларов с рыла, это четырнадцать тысячь долларов!»

Наступившая тишина была нарушена только гудком автомобиля.

Игорь продолжал: «Хлопцы, это дело корявое, но унывать нам не приходится. Я послал телеграмму в Сан Антонио, в театр. Может быть там что-нибудь сделают. И сегодня-же напишу в Нью-Иорк. Квартетчики из Щелкунчика знают их — заблудшие американцы. Хороший народ и связи у них вероятно есть. Может они чем помогут... А пока-что, будем халтурить в Мексике. Много еще мест, где мы не были. Дадим еще концерт здесь и два за рекой. Чиновник говорит, очень сожалеет, что дальше пустить не может. Закон, говорит, такой».

Казаки сидели молча «Оце-ж», сказал кто-то

«Я так и знал, не к добру. Сон такой видел...» Вафля начал, но не окончил под мрачным взглядом дюжины глаз. Внезапный гром заставил некоторых вздрогнуть: Маэстро Антоныч захлопнул крышку пианино. «Спевка окончена!» объявил он, вставая. Приступ кашля потряс его. Он оперся на пианино, закрыл рот платком. Продолжая кашлять, он пошел к двери. Сотник Коваль последовал за ним. Кашель отдавался лающим эхо в темноте балкона. Он замер только с хлопаньем двери. Казаки попрежнему молчали, уставившись в пол.

Дар слова вернулся к Ивану Иванычу. «Пожалуйста, еще не все потеряно, как и секретарь говорит... Как-нибудь выпутаемся... И хуже бывало... Есть и другие страны... Южная Америка, Австралия... Поедем в мировое турнэ...»

Дуля вскочил, бросил в ярости шапку на пол и разразился отборной руганью. «...Два года голову морочили Америкой и мировым турнэ!... Вот и дотурнировались! Езжайте к кобыле под хвост, а я вертаюсь в Париж!»

«И я тоже!» кричал Сашка. «Дурака свалял — уехал! Накалывал-бы теперь деньги на Монмартре вместо того, чтобы таскаться по мексиканским змеятникам!»

«Ежели-бы было у казака пятьсот долларов — что-же, выложил бы я их, поглядеть на ихнюю Америку или какую ни на есть иностранную землю, с точки зрения? Не на таковского напали!... Довольно нагляделись, пора и звертаться!» Лукич нахлобучил папаху и направился к двери.

«Да позвольте... позвольте», умолял Иван Иваныч. Но казаки, один за другим, посылали его и Америку в раз-

ные неприличные места и следовали за Лукичем, пока только небольшая группа осталась у пианино. Игорь заметил тревогу на лице Полковника.

«Ну, они успокоятся, большинство из них», сказал он. «А я одно скажу: мы едем в Америку, так или иначе!... Иван Иваныч, вы-бы пошли отдохнуть. Пока вам делать нечего».

Пограничный городок кишел эмигрантами, почти удвоившими местное население. Балканские славяне, немцы, греки, итальянцы — пестрая толпа со всех концов Европы. Работящие пионеры, опоздавшие на два столетия — шустрые беглецы от правосудия своих стран — перелетные птицы, не гнездящиеся ни в каком климате — отщепенцы племен и семей разбитых войнами и революциями — они все стремились через западный океан, гонимые течением нужды и ветром надежды. Евреи в массе — выкорченные из гетто и полос отчуждения и блуждающие в вечном поиске обетованной земли — страны, которая позволила бы исполнить три завета дорогие каждому порядочному еврею: молиться Богу Израилеву, разводить семью, и копить деньги. Избегающие по личным причинам большую дорогу эмиграции, все они выгружались толпами из поездов приходящих из Тампико и Вера-Круц, после каждого парохода из Европы, готовые переступить — законно или незаконно — порог задней калитки в страну свободы и долларов. Быстро разочарованные, те у которых не было законных бумаг обосновывались в городе, высматривая, планируя всякие схемы, не желая потерять из виду Американский флаг за рекой — волна нужды, бьющаяся о берег изобилия...

После спевки группа казаков остановилась у деревянного моста через Рио Гранде, мелкий и мутный поток еще не вздутый тающими снегами Скалистых Гор. Опершись на перила около мексиканской таможни, они провожали глазами автомобили идущие на другую сторону. Одни, повидимому местные, только замедляли ход около американской таможни. Другие ждали дольше. Но все в конце концов, въезжали в широкую улицу между высокими домами. На флагштоке американской таможни, звездно-полосатый флаг играл в северозападном ветре. Свивался, трепетал, падал ленивыми складками, развивался во всю длину... Дразнил!...

«Здается близко».

«Близко локоть, да не укусишь».

«Здается ладная сторона, Америка».

«За пятьсот долларов поди погляди, а после нам рас-

скажешь».

«Как поживаете, господа казаки?» спросил голос позади их. Оглянувшись, казаки увидели щуплого человека с лотком подвешенным через плечо. Разложены на лотке были носки, платки, карандаши и тому подобный мелочной товар. Национальность разносчика была написана на улыбающемся лице обросшем тонкой кудрявой бородкой под порыжелым котелком. Казалось, что котелок не сползал вниз по лицу только потому, что был поддержан парой слегка оттопыренных ушей.

«Как поживаете, господа казаки?» повторил он с той же приветливой улыбкой. «Очень приятно встретить земляков. Собирался на ваш концерт, да не попал. Замечательный, говорят, концерт... Вы тоже туда?» Он кивнул в сторону Америки.

Казаки рассматривали его молча. Они всегда были рады поговорить по-русски. Но не сегодня. Терентий наконец ответил: «Собирались да раздумали».

«Визы нет?» спросил коробейник, участливо.

«Есть виза, как не быть».

Коробейник всплеснул руками. «Что вы говорите, господин казак! Как можно передумать, раз виза есть?! Сейчас же передумайте обратно. Такая страна Америка, такая необыкновенная страна! У меня там зять в Бруклине, который что ни на есть самый большой город в Америке. Как раз рядом с Нью-Йорком, который тоже очень большой город. У него большой магазин. Что вы думаете, он пишет каждый день в выручке пятьдесят долларов, а по пятницам даже и больше. Подумайте — сто американских долларов! А я здесь вот с этим... А жена берет белье мыть и разное такое прочее... А дочка продает Чиклес и лотерейные билеты...»

Он подошел ближе, оглянулся осторожно на Мексиканских таможников около будки и продолжал пониженным голосом: «Слухайте, господа казаки, у меня до вас есть очень хороший гешефт. Когда передумаете насчет Америки, почему не взять меня с собой?»

Казацкое равнодушие сменилось подозрением. Не насмехается ли над ними жид, пронюхав как нибудь их беду? «Да нет, как порешили, так и порешили», ответил Лукич. «Не поедем в Америку. Там, говорят, сухой режим. Ни капли выпить во всей Америке. А казаку без этого нельзя».

Разносчик замахал на него руками. «Что вы, что вы, господин казак? Ни капли выпить? Кто это вам сказал? Очень даже можно выпить в Америке, мой зять пишет. И он сам делает кошерное вино для себя и вишневую

наливку для продажи... А пограничникам вы можете сказать, что я один из ваших».

Лукич окинул его взглядом с головы до ног, не моргнув глазом. «Оно конечно, ты за казака сойдешь, с точки зрения. Однако как-же насчет жены и дочки? Мы с собой жен не возим. Чужих много».

«Так они же подождут здесь, пока я их не выпишу... И я вам хорошо заплачу».

«Сколько дашь?» спросил Лукич.

Коробейник подумал несколько секунд. «Двадцать-пять долларов. И я сам плачу за проезд».

Лукич покачал головой. «Далеко не по пути».

«Ну, хорошо. Так сколько же?»

«Четырнадцать тысячь долларов».

Коробейник сморщился, как будто проглотил уксусу, и чуть не уронил лоток. «Четырнадцать тысячь! Да вы рехнулись, господин казак! Если бы у меня было четырнадцать тысячь долларов, разве бы я тут с вами разговаривал?... Слухайте, пятьдесят долларов и ни копейки больше».

«За пятьдесят долларов может цыганом заделаешься, а не казаком. Когда нет четырнадцати тысячь, то и толковать нечего... Пошли до дому, хлопцы».

Коробейник смотрел им вслед, обескураженный. Вафля, замешкавшийся позади, сжалился над ним. «Да вы не обращайте на них внимания. Воны шуткуют. Мы звертаемся до Мексики».

Коробейник вздохнул. «Ах, такая жалость... Слушайте, господин казак, вы такой добрый человек и я для вас хочу что-нибудь сделать. Вот посмотрите на эти замечательные носки. Настоящие американские. Для всех семьдесят пять сентавос, а для вас только пятьдесят».

«Да куда-же мне носки?» удивился Вафля. «Мы по портянках обуваемся, как дома».

«Фуй, господин казак! Кто-же носит портянки в Америке? Пожалуйста уж никому и не говорите, а то засмеют... Поддержите земляка. Я из Могилева, недалеко от ваших мест... Ну, хорошо, если не желаете носков, то купите платок. Прекрасные платки... В гостинице или в театре никак невозможно без платка. И всем остальным скажите где купили. Чтобы и они обзавелись платками... Но скажите пожалуйста, зачем-же вы вертаетесь обратно в Мексику, если можно ехать в Америку?».

От нечего делать, Вафля рассказал ему всю печальную историю.

Игорь составлял письмо Джиму Дэвису в Нью-Иорк,

когда его внимание было привлечено шумом казацких голосов где-то в коридоре. Хотя голоса постепенно возвышались и размножались, они были не сердитые, а скорее возбужденные и без ругани. Заинтересованный, он вышел. У чугунной печки около входа, толпа казаков окружала Ивана Иваныча, Вафлю и еврейского коробейника, которого он однажды видел на улице.

«Идите скорее, Игорь Петрович!» Иван Иваныч окликнул его.

«Мы спасены!» объявил он с прежним энтузиазмом. «Вот господин Якубович говорит, он поможет нам попасть в Америку. Его зять может внести за нас деньги...»

«Да вы опять все перепутали, Иван Иваныч!» сказал кто-то. «Это не тот зять».

«Цей зять лавочку держит, а этот другой зять», деловито прибавил Вафля.

«Так я-же вот это самое и говорю». Иван Иваныч начал горячиться, когда Якубович сам обратился к Игорю. «Ну так я и сказал, у меня есть родственник в Бруклине. Не тот зять, что магазин имеет, а другой, который женился на его сестре в прошлом году и уже у них есть ребеночек...»

«Ну, хорошо, хорошо!» торопил Игорь, несколько растерянный.

«Так вот этот мой родственник уже большой театральный агент и знает всех театральных директоров в Америке... Но его-то нам пока не надо. У него есть зять. Не тот у которого магазин — этой мой зять, понимаете? А вот у него есть другой зять и он уже большой адвокат...»

Схема Якубовича, насколько Игорь мог понять несмотря на сложную родословную семейства Якубовичей, была довольно проста. Бруклинский агент мог-бы им достать контракт, в силу которого его зять адвокат мог-бы найти поручателя за их залог. По словам Якубовича, «Поручательная компания знает моего родственника адвоката, а он знает моего зятя агента, а зять знает меня, а я знаю какие вы замечательные казаки. А еще лучше, пошлем ему разные ваши афиши и что газеты пишут. И я напишу, что вся Мексика о вас в восторге... Вот господин Вафля купил у меня платок — так мы и разговорились. Я знаю и вы купите мой товар. Платок, может быть, или галстук или пару носков...»

«Погодите с носками», перебил Игорь, в внезапном волнении. «Иван Иваныч, пойдемте в мою комнату. Вы, хлопцы, подождите здесь».

«Почему-же вы сами не можете поехать в Америку с такой массой зятьев?» спросил он, закрыв дверь в ком-

нату.

«Так это-же очень просто — нет визы. Такое дело — у меня есть средства, а нет визы. А у вас есть виза, но нет средств. Обязательно конечно нам нужно сгепаться до купы... Я и рад помочь землякам. Вам только придется заплатить небольшую комиссию моему родственнику агенту, да еще процент поручительной компании. Ну, конечно, небольшой подарок моему зятю. А себе я ничего не хочу. Только чтобы взяли меня с собой...

«Только через границу», добавил он поспешно, заметив перемену на лице Игоря. «Нет-же такого закона, чтобы нельзя взять еще одного человека в хор».

«Вот тут-то и загвоздка», сказал Иван Иваныч. «Как вы полагаете, Игорь Петрович?»

Видя нерешительность, Якубович заговорил быстро и убедительно, с чистосердечной искренностью природного дельца. Господам казакам совершенно даже не нужно беспокоиться. Только приписать его имя к своим и пройти через некоторые формальности. Он уже все устроит. Господин Вафля говорит несколько человек собираются звертаться в Европу и конечно хору нужно пополнение. «...Я и петь тоже могу, господа казаки. Не так хорошо как вы, но немножко».

Он принял позу, топнул ногой и запел довольно приятным легким баритоном: «Эй, кума, не журись, туды-сюды повернись...»

Все еще не получая ни одобрения ни отказа, он продолжал как будто-бы сделка уже была решена. Прежде всего необходимо послать рецензии и афиши. Он сейчас-же напишет зятю ,а пока...

Игорю внезапно стало ясно, что в проэкте Якубовича не было ничего фантастического, ни даже незаконного. С помощью Бруклинских зятей с одной стороны и богатых Заблудших Американцев Дэвисов и их друзей, они как-нибудь словчатся переехать границу. Иван Иваныч был прав — они спасены!

35.

Предпраздничное настроение охватывало пограничный город. Оно отражалось на лицах мужчин и женщин, спешивших вдоль улицы с пакетами и связками в одной руке и ведущих детей другой. Звучало в приветствиях, Feliz Navidad и Merry Christmas, которыми таможники обменивались с проезжающими, принимая их подарки, завернутые в цветную бумагу и перевязанные красными

и зелеными лентами. Пестрые стопы таких подарков подпирали стены таможен на обоих берегах реки — напоминание кому оно было нужно. Праздничное настроение струилось из темнеющей лазури неба через ясный воздух наступающих сумерек. Но повидимому оно где то преломилось между небом и землей и превратилось в эту знакомую сосущую тоску Игорь начинал чувствовать, возвращаясь в гостинницу с Лукичем. Она поднималась каждое Рождество и Пасху заграницей. Хотелось заснуть за неделю до праздника и проснуться неделей после...

Они прошли мимо афиши объявляющей три прощальных концерта Знаменитого Казачьего Хора, по желанию публики: один на мексиканской стороне и два на американской. В афишах не упоминалось, что это вероятно последнее выступление полного хора. Хор разваливался. Двойной квартет с Дулей за регента потребовали свою долю хоровой казны и наводили справки о пароходах во Францию. Игорь перевел второе Сашкино письмо Мими — на этот раз строго придерживаясь фактов — извещающее о скором возвращении. Вафля доносил, что несколько других колеблются. Чтобы предотвратить полную катастрофу, Игорь только-что закончил беседу с Лукичем, одним из самых шумных раскольников. Он пригласил Лукича выпить и повел его в салун на самом конце улицы, где было меньше опасности быть побеспокоенными каким-нибудь любопытным казаком.

Лукич принял приглашение без обычного удовольствия. Игорь чувствовал перемену в старом казаке. «Поберегал бы копейку, Игорь Петрович. Копейка заграницей пригодится».

«Да ты уж обо мне не беспокойся, казак. В Америке денег много. На всех хватит. Выпить хочу с тобой напоследок».

«Ну, зачем напоследок? Не говори таких слов, Игорь Петрович. Даст Бог выпьем еще и не один раз в последствии времени».

В салуне они сели за столик. Игорь потребовал две виски. «Ну, с наступающим», сказал он, чокаясь с Лукичем.

«И вас также». Они выпили.

Игорь поколебался перед решительным и — как он знал — рискованным шагом. «Приятели мы с тобой, Лукич», начал он. «Были и останемся, и жаль мне с тобой расставаться... И особенно жаль, что такой казак как ты собираешься сделаться дезертиром».

Еще не договоря, он приготовился ко всему. Но Лукич не двинулся. Только его лицо потемнело и чугун-

ные челюсти сжались плотно под моржевыми усами. Он опустил голову, взглянул изподлобья долгим и тяжелым взглядом и произнес размеренно и строго: «Не говори такого, Игорь Петрович. Что хошь говори, а таких слов не сказывай... Не называй казака дезертиром!... Я тебя тоже полюбил. Ежели бы не полюбил...» На несколько секунд ни один мускул не дрогнул на его лице, и неподвижен был взгляд из под нависших бровей. «...Не замай казака, Игорь Петрович. Ой, не замай, а то нехорошо будет... Ты возьми обратно это которое сказал».

Игорь смотрел на него в упор. Несмотря на всю опасность ярости Лукича, он продолжал заранее обдуманный маневр. «Слушай, Лукич, неужели ты думаешь мне приятно говорить такое? Тебе, которого я уважал и уважаю... Но что же остается? Ведь ты покидаешь хор в беде?»

Огромный кулак ударил по столу. «Не дезертир я — ты, щенок! Молод еще учить казака! Я присягу принимал когда ты еще под стол ходил! Ежели-бы с точки зрения был дезертиром, рази болтался бы по миру, как дерьмо в проруби?... Пел за хлеб!... Я бы к красным перешел Полком, либо дивизией командовать... А не то может и маршалом Советского Союза заделался, как Семен Буденый! Я знал Семена — добрый был казак, да с чортом поякшался!... Не серди ты меня, Игорь Петрович! Пожалуйста не серди!»

«Да ведь ты оставляешь хор — или не оставляешь?» настаивал Игорь.

«Какое-же это дезертирство? Иван Иваныч два года нас дурачил... И туда и сюда... Слухай сюда — он и тебя обдурил! Вот-те и интеллигент! И язык французский знает и все такое прочее — и оставил такую кралю как эта Надя! Да на твоем месте меня-бы оттуда штопором не вытащили!»

«Надя в Нью-Иорке», ответил Игорь.

Лукич был видимо опешен. Затем его глаза прищурились, а рот растянулся в широкую усмешку. «В Нью-Иорке Надя, а? Вот это интересно, с точки зрения! Так значит, ты уговариваешь казака подсобить добраться до своей бабы? Ну умен, друг-ситный!» Он захихикал притворным, не своим смехом.

«Не валяй дурака, Лукич. Если уж на то пошло, я и один доберусь до Америки. Имей в виду, я обходился и без хора, а вот еще неизвестно обойдешься-ли ты без хора... Слушай, Лукич, я знаю, что ты поступал и будешь поступать по правилу. Поэтому я с тобой и разговариваю. Вот в чем дело: это и лучше, что Дуля и его двой-

ной квартет с Сашкой уезжают. Слишком много ругани в хоре. Да без них и расходы меньше. Но с другой стороны, нельзя хор ослабить слишком много. Без них-то мы обойдемся. И дешевле будет стоить перейти через границу».

«Все одно почти десять тысячь долларов. Где возьмешь?» спросил Лукич.

«Нигде не возьму, вот в том-то и дело. Не нужно денег, нужен только американский контракт. Беда с Иваном Иванычем, что он таких дел совершенно не знает. У нас ничего не было кроме ангажемента в Сан Антонио. Неудивительно, что они потребовали залог! А с хорошим контрактом нам не надо никакого залогу. А если в случае чего, то компания за нас поручится. Я уже написал Джиму Дэвису и Чарли Армстронгу. Помнишь толстого аркашу, всегда подвыпивши? Они порекомендуют нас зятьям Якубовича».

Лукич фыркнул. «Ха! Что-же ты его в хор припишешь? Казак Моше Якубович!»

Игорь сдерживал невольную улыбку. «Американцам какая разница? Для них Якубович не хуже некоторых наших фамилий... Безридный, Ничипуренко, Тимотьевич... Да вот возьми твою фамилию — Убей-Батько. Как ни пиши по-английски — чорт знает, что получается. Американский консул в Тампико посмотрел на список — только рукой махнул. А уж по своей должности он привык к разным фамилиям. Дошел до твоей, спрашивает — почему двойная? Я объясняю, что это два слова, по английски значит kill-father. Он засмеялся. Говорит, почему он не переменит на Киллпатер? Киллпатер это то же самое, что Убей-Батько».

«Что-же это за язык такой ихний, что казачье имя нельзя написать?» сказал Лукич с негодованием. «И отец мой был Убей-Батько и дед. А Килпатеров в нашем роду не бывало. И никаким Килпатером ни в какую страну казак не поедет!»

«Да ты не волнуйся, станичник», ответил Игорь, слегка обеспокоенный неожиданным поворотом разговора. «Никто тебя заставить не может... А насчет Якубовича тоже не беспокойся. Он подождет нас здесь.»

«А мы где будем ждать? И на которые средства?»

«Наш агент уже все устраивает. Гомец говорит много городов в Мексике, где мы еще не были. А в другие можно вернуться по желанию публики. Помнишь как все места были распроданы и народ сидел на сцене, прямо в глотки заглядывали? И четверым надо было нести мешки с серебрянными пезами».

«Да, жаловаться нельзя, с точки зрения», проворчал Лукич с выражением, которое Игорь перевел как сожаление о потере такого богатства смешанное с раздражением на вероломство директора Ивана Иваныча.

«Таких денег мы во Франции и не нюхали», продолжал он, внимательно наблюдая за казаком. «И имей в виду, за американский доллар дают два пезо!»

Лукич смотрел вниз, пыхтя и оттопыривая усы, в очевидной внутренней борьбе. «Скажи по правде, Игорь Петрович, не обмани казака. Перетянут, думаешь, нас жиды через границу?»

«Конечно, перетянут! Им же надо гешефт сделать. И мы заработаем и они на нас. Даже еще и лучше, что так случилось. Подождать немножко подольше, а зато у нас и контракт и агент и все будет готово. Подхалтурим в Америке... А этот двойной квартет еще журавль в небе. Я это дело знаю. Сыт пока поешь, а потом с хлеба на квас перебиваешься...» Игорь остановился перед тем как выложить козырного туза. «...И еще одно дело — как насчет Маэстро? Он ведь тебя вытащил из этого Галлиполийского лагеря. Что-же ты оставишь его здесь больного в чужой стране?»

Лукич крякнул, поежился в очевидной неловкости и отвел глаза. «Да... Оно конечно, с точки зрения... Антоныч сильно огорчен... Ничего не говорит и не жалуется, а я уж вижу...» Он приподнял папаху и почесал голову. Вдруг он хлопнул ладонью по столу и взглянул на Игоря. «Так нет же! Не бывать тому, чтоб сказали люди, что покинул казак казака!... Остаюсь, Игорь Петрович. Будь что будет — остаюсь!»

Игорь хлопнул его по плечу. «Я так и знал! Что не нужно будет картузнику учить казака, которой ногой ступить».

Лукич осклабился добродушно, как и раньше. «Какой-же ты картузник? Казак и есть... Ну еще по единой для такой оказии. А больше ни-ни. Потому, как ты секретарь и ухо надо держать востро...

«Так ты, значит, полагаешь, что пущай Дуля и эти байструки смываются?» спросил он деловито, когда хозяин наполнил их стаканы. «А как же насчет танцоров?»

«Князь удивил меня вчера. Зашел сказать, что если я остаюсь, то и он останется. Сказал, что доверяет мне».

Лукич испустил неопределенный звук. «Меньше ругани в хоре. А при необходимости случая и казак может ноги размять».

Игорь опять хлопнул его по плечу. «Нарежешь?.. Ну, с наступающим!»

«И вас также».

Пузатая чугунная печка в передней гостиницы распространяла жар и едкий запах дыма, в кругу гостей в широкополых шляпах. Они курили сигары и разговаривали на смешанном испанско-английском пограничном наречии. Один из них сказал, «Hello, Cossack!» Лукичу, который лихо козырнул в ответ и пошел исполнять свою миссию — разубеждать колеблющихся.

Игорь пошел в свою комнату. Делать было больше нечего. Все письма написаны и отправлены: мексиканскому агенту, зятьям Якубовича, Джиму Дэвису. Оставалось только ждать... Правда, самое важное дело осталось не сделанным. Во-первых, он не знал Надиного адреса в Нью-Иорке. Во-вторых, было поздно писать после того идиотского письма о «наших за границей» — теперь, когда «наши за границей» кричали о помощи. То, что он должен сказать Наде, он скажет лицом к лицу.

Лежа на узкой железной кровати, Игорь смотрел на светлый прямоугольник неба в раме окна. Сумерки выползали из самого темного угла и постепенно наполняли комнату. Небо приняло оттенок прозрачной морской воды. Одинокая искра теплилась там... И вдруг он подумал о холодной жареной рыбе! Он не успел даже удивиться такой странной ассоциации идей, как ответ пришел сам по себе. Ответ, заставивший его улыбнуться и в то-же время причинивший легкий толчек где-то около сердца... Разве это не сочельник? И разве это не первая звезда? В таком случае это Вифлеемская звезда! Бабушка была уверена, что это так. А бабушка была авторитетом во всех отношениях, еще до его поступления в гимназию. По ее словам, первая звезда рождественского сочельника и была Вифлеемская звезда и поэтому всем православным христианам подобало поститься до ее появления на Востоке — объявить рождение Божественного Младенца. И вот, когда Игорь гостил на празднике у бабушки, он нетерпеливо ожидал Вифлеемскую звезду. Нетерпеливо потому, что детский голод не был удовлетворен куском пирога, который он стащил потихоньку от бабушки. Увидев первую золотистую точку мигающую в холодной синеве, он немедленно и громко звал бабушку к окну. Она внимательно и долго приглядывалась сквозь большие очки в золотой оправе. Наконец заметив звезду — или притворяясь, что видит — она крестилась и говорила, «Ну вот, Игрушка, и опять Христос пришел к нам». После этого они пили чай и она давала ему чего-нибудь поесть — вернее всего кусок рыбы, оставшейся от вче-

рашнего дня пока до ужина, когда все ели кутью. После ужина она доставала Библию в медной оправе и с такими-же пряжками и читала о звезде, ведущей волхвов с Востока и о кровожадном Ироде избивающем младенцев. Затем переворачивала несколько страниц и читала о пастухах увидевших сонм Ангелов поющих. «Слава во вышних Богу!» Дойдя до этого места, она опять крестилась и говорила, «Как и тогда, ангелы поют славу перед Рождеством».

С закрытыми глазами, Игорь видел бабушку, склонившуюся над живописными церковно-славянскими строками. Еще до того, как он сам научился их разбирать, он уже знал наизусть первые слова рождественского евангелия: **«Иисус же рождахуся в Вифлееме Иудейстем во дни Ирода царя. Се Волсви от восток приидоша во Иерусалим и глаголюще: Где есть рождейся царь Иудейский, видехом бо звезду его на востоце и приидохом поклонитися ему...»** Давно забытые слова вернулись безошибочно, как он увидел себя испуганного — как бы царь Ирод не догнал Иосифа и Марию с младенцем Иисусом. И он видел себя — выбегающего на заднее крыльцо в сад. Вифлеемская звезда — самая большая — сверкала ярко среди меньших звезд в темном небе. И как он стоял на крыльце, прислушиваясь к торжественной тишине и начиная дрожать от холода, ему казалось, что он слышит далекие голоса поющие, «Слава во вышних Богу...»

Игорь вздрогнул и открыл глаза. В комнате было темно и холодно. Теплота виски уже улетучилась, а кроме чугунной печки в передней, в гостиннице не было никакого отопления. Четыреугольник окна был чуть светлее, чем комната. Ангелов там не было. И ни одна из трех видимых звезд не была звезда Вифлеема. Игорь натянул на себя пальто, брошенное раньше на спинку кровати и повернулся лицом к стене. В полудремоте, он не противился когда память вела его назад по знакомой дороге — далеко назад, в надежде опять быть ребенком в ночь под Рождество... Может быть каким-нибудь чудом опять услышать песнь ангелов...

...И когда он услышал ее, он не удивился. Было только радостно и тепло и уютно, как на бабушкиной перине... Однако, удовольствие слушать небесную музыку продолжалось недолго. Было что-то странное в песни ангелов — непохожее на славу... Скорее жалоба, даже плачь... Мелодия повторялась опять и опять — чудная в простой красоте, но бесконечно грустная... Знакомая мелодия — более знакомая, чем эхо детства. Он ее несомненно слы-

шал раньше, и не так давно — вот так же долетающей издалека, от звезд мигающих в окне... Полночный звон курантов в городах Европы приносил такой-же отзвук печали!...

Игорь сбросил пальто и сел на кровати, протирая глаза. Музыка продолжалась, неизвестно откуда. Он повернул выключатель, комната осветилась. Музыка не прекращалась. Он открыл дверь и прислушался, затем подошел к двери на другой стороне коридора и открыл ее.

Маэстро Антоныч, в дождевике поверх фуфайки, сидел перед грамофоном поставленном на столе. Когда он повернулся на шум входа, Игорь поразился переменой на его лице — еще больше осунутым, с бледными губами, и глубоко впавшими щеками. Только темные синии глаза были страдальчески живы.

«Садитесь», пригласил Антоныч сиплым голосом. «Гомец достал вот это у падронэ... Время чем-нибудь провести... Большей частью разные фокстроты, вальсы... ерунда. А вот одна действительно хорошая. Я заведу опять — послушайте».

Он повертел ручку, отпустил защелку и наставил иголку. Предварительное шипение и потрескивание сменилось рядом торжественных и мрачных аккордов, из которых наконец возникла знакомая мелодия. Ее выводил рожок в откровенной полудетской жалобе. Хор скрипок пристал и продолжал ее — и опять рожок остался один, как эхо своей жалобы... Музыка продолжалась — сдержанная, потом вдруг выбивающаяся в коротком порые веселья — и опять возвращающаяся к тому же напеву. Скрипки и виолончели подхватили его — все струнные ответили в скорбном антифоне — и снова одинокий рожок тянул свою песенку. Все окончилось в заглушенном рыдании струн и глубоких вздохах контрабасов.

Когда пластинка остановилась, Игорь прочел название: «Ларго из симфонии Новый Свет. Антонин Дворак».

«Я тоже так понял из того, что Гомец объяснил», сказал Антоныч. «Да я бы и сам догадался... Сам понял без всякого названия... Я слушал опять и опять». Он снова завел грамофон. «...Вот она... Вы слышите, что я слышу?... Моя Песнь Изгнания! То, что я чувствовал и хотел написать... Да уменья не хватило. А вот у этого хватило. И он видимо знал и чувствовал то-же, что и мы... Тоже может надеялся найти что-нибудь в Новом Свете... Вот и нашел, как и мы. Вы слышите, что он нашел? Вот слушайте этот рожок. Ведь он правду говорит — просто и понятно... Ему тоже невесело... Вот он старается обмануть себя и других... напускает веселье... чуть не в пляску... Однако ниче-

го не помогает... Да, печальная штука — жизнь! Надо быть на нашем месте чтобы понять, как она печальна. Я и хотел это рассказать, да не мог... но все-таки хорошо, что кто-то рассказал... чтобы и другие, после нас, знали — чем мы жили... Даже если только немногие услышат и поймут... Для остальных оно будет только слегка грустно и сердцещипательно... Какая нибудь дама расчувствуется и слезу шелковым платком смахнет. Да оно и лучше так... Чтобы действительно понять, надо пережить...»

Игорь снял иголку и остановил машину. «Антоныч, так невозможно! Пойдемте!»

Антоныч медленно поднял голову. Опять, и больше чем когда-либо, Игорь был поражен удивительным и страшным сходством глаз Антоныча с взглядом Ecce Homo в Лувре. Тот же немой упрек безнадежности — та же неутешная скорбь. «Куда пойдем?» спросил Антоныч.

«Все равно, куда!... Я вас приветствую пивом».

Антоныч покачал головой. «Не хочу пива. Я устал, лучше полежу».

Игорь взял его за руку. «Пожалуйста пойдемте, Антоныч. Вам лучше будет. Всем лучше будет... Захватим Полковника и Сотника Коваля. Они тоже будут рады освежиться... Тут-же обалдеть можно!»

«Да куда-же идти? Некуда идти», упирался Антоныч.

«Я знаю хорошее место. Вот ваша шапка».

36.

Ночь была необычайно холодна для Мексики. Северозападный ветер с американской стороны гнал пыль по пустынной улице и заставлял одинокого мексиканца, почему-то стоящего на углу, плотнее запахивать свое serape. Из-за закрытых ставнями окон слышались голоса и смех празднующих.

«Куда же мы идем?» спросил полковник.

«Тут недалеко», ответил Игорь, заглядывая в многочисленные «салуны», надеясь найти который поуютнее. Они обычно были полны беженцами от «сухого режима» за рекой. В сочельник они пустовали и были особенно неприглядны несмотря на венки из хвои и остролиственника висевшие за прилавком.

«Смотрите, елка!» вдруг сказал Коваль, остановившись перед окном. Елка, в блеске огней и украшений, стояла около пианино в повидимому пустой зале. Подойдя поближе, Игорь увидел столики и конец прилавка с

рядами бутылок на полках позади. «Вот и пришли», сказал он, открывая дверь.

Зал был не совсем пуст. Вокруг двух столов сдвинутых вместе у другого конца прилавка, невидимого с улицы, сидела группа женщин, усатый мексиканец — повидимому padrone — и Дуля. Столы были уставлены пивными кружками.

Женщины смотрели на посетителей с несколько враждебным, как показалось Игорю, любопытством. Дуля, после короткого момента удивления, осклабился и поднялся. «Смотри какое дело! Волхвы с востока зашли в наш вертеп!»

Полковник обратился к Игорю с явной досадой. «Совершенно неуместная шутка, поручик, привести нас в такое место в такую ночь!»

«Честное слово, полковник, я не знал... Увидел елку и столы...»

«И я тоже», вмещался Дуля. «Я и не собирался ходить по змеятникам в сочельник. Да надоело лежать на кровати... Они хорошие дивчата. Говорят украсили елку для себя. Говорят нет торговли под Рождество. Народ в гостях, або у себя гостей принимают.»

«Посидим немного», сказал Антоныч. «По крайней мере тепло».

Коваль направился к одному из столиков. «Ничего не вижу предосудительного. Надеюсь хозяева ничего не имеют против непрошенных гостей... Вы объясните им, Волгин».

Полковник молча последовал за ним. Игорь подошел к группе женщин, раскланялся и обратился по-английски: «Ladies, мы чужестранцы, попали случайно в ваш город. Никого не знаем. Мы увидели вашу елку и зашли на огонек. Если разрешите, мы посидим здесь. Пива выпьем».

Они смотрели на него молча, но уже без вражды. Одна из них, с зелеными глазами и светлой кожей лица, ответила тоже по-английски: «Плохо ваше дело, что не нашли лучше места в такую ночь. Садитесь, будьте гостями. Мы знаем, кто вы такие. Да если бы и не знали, догадались бы. Не часто слышим такое обращение в этом притоне».

Усатый хозяин кивнул: «Si, Senor, mi casa es su casa de ustedes.» [1])

---

[1]) Да, господин, мой дом — ваш дом (мексиканское «Добро пожаловать»).

тельно кивнула и начала,

«Silent Night, Holy Night...»

Казаки вступили, один за другим,

«All is calm, all is bright...»

И вот полный хор наполнил залу, как торжественный орган.

«Round yon Virgin Mother and Child,
Holy Infant so tender and mild...»

Техасска перестала играть и слушала с широко открытыми глазами. Робкие голоса женщин, приставшие было к пению, отстали. Усатый padrone изумленно мигал.

Действительно, ничего подобного не случалось в его заведении. Это был великолепный гимн. Он превратил в храм приемную публичного дома. Вознесся к небу, как эхо давно умолкнувшей песни ангелов. Проникал в глубочайшие тайники души, ревниво охраняемые от более назойливых и грубых вторжений.

«...Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.
Silent Night, Holy Night...»

Вдруг чудная гармония оборвалась. Маэстро Антоныч рыдал, опустив голову на стол! Казаки и женщины вскочили со своих мест и стояли безмолвно, не осмеливаясь приблизиться, не зная что делать. Губы Коваля дрожали в нервной судороге. Полковник, с грозным лицом, махал руками, приказывая всем не подходить и приложил палец к губам в знак молчания. В жуткой тишине Антоныч рыдал тяжелыми, лающими рыданиями, как человек никогда не научившийся плакать.

Когда он начал успокаиваться, Полковник приподнял его за плечи, все еще бросая кругом грозные взгляды. Антоныч откинулся на спинку стула. Его мокрое лицо было лицо мученика.

«...Хлопцы... я...». Он не окончил... задохнулся. Боль в его глазах превратилась в агонию. Он быстро вынул и поднес ко рту платок.. Мгновенно белый платок сделался зловеще красным. Пронзительный женский крик распорол тишину. Как по сигналу, казаки ринулись к столу.

Сотник Коваль не один заметил елку в окне. Другие казаки забрели поодиночке и группами, в поисках чего-нибудь, кроме холодной комнаты и пузатой печки в гостинице. Скоро больше половины хора было там. Вафля вызвался пошукать остальных, утверждая, что мексиканское Рождество лучше, чем ничего.

Теперь они сидели группами за столиками, стараясь понять смешанный испанско-английский разговор женщин, которые повидимому убедились, что необычайные гости действительно пришли просто посидеть. Они скромно благодарили казаков за пиво и не применяли обычную тактику — заказывать побольше и подороже. Игорь узнал, что зеленоглазая, хорошо говорившая по-английски, из Техаса.

Маэстро Антоныч сидел облокотившись на стол и смотрел на елку. Полковник медленно провел ладонью по усам и покачал головой, как будто в ответ на собственные мысли. «Много чего видел я и слышал в жизни. Но чтобы провести Рождественскую ночь в мексиканском бардаке — этого уж, извините, не ожидал».

«Бог несомненно простит вам, зная как вы сюда попали», ответил Коваль с кривой усмешкой.

«Будущее Рождество в Америке. Наверняк!» объявил Иван Иваныч, но никто не обратил внимания. Гримаса боли исказила изможденное лицо Антоныча. Он поднес платок ко рту, чтобы заглушить кашель и глотнул из кружки.

«Который час дома, полковник?» спросил Терентий.

Полковник вынул часы. «Без четверти шесть утра в Петрограде. Около семи в наших местах».

Терентий подумал. «Все спать полегли бы на наше Рождество. После ранней обедни да разговенья да колядок...»

«Какие уж колядки, если самим есть нечего...»

«Может и Рождество отменили и церкви позакрывали...»

«Как же можно отменить великий праздник? Предназначено с испокон веков, с точки зрения. Никакая власть не может отменить!»

«Народ не пропустит случая выпить».

Разговор замирал. У всех на уме было одно. И каждый это знал без разговора. Зеленоглазая техасска пошла к пианино, села и трогала клавиши в мягких аккордах. Каказки узнали рождественский гимн, который они разучивали для Америки. Некоторые присоединились мычанием, каждый свою партию широкой гармонии аранжированной Антонычем. Техасска оглянулась, одобри-

«Льду!... Скорее!... Доктора достать!» гремел голос полковника. Игорь бросился к прилавку, где Лукич уже тряс padrone за плечи и гремел в свою очередь, «Доктор»... Компрэн?... Медико!»

Мексиканец отступал, говоря, что-то очень быстро, из чего Игорь понял только muy tarde [1]) и no medico. а Лукич повидимому понял только no medico.

«Как так, но медико! Что же умирать тут у вас человеку, как собаке?»

«Льду достань, Лукич! Я достану доктора!» кричал Игорь. «...Hielo?» обратился он к padrone.

«Si, si, Senor!... Yo tengo... Hielo».

Игорь выбежал на улицу. Ветер между тем покрепчал и похолодел. Улица была совершенно пуста... Куда идти? Доктор должен быть где-нибудь в городе... Но если есть, где?... Кого спросить?...

И вдруг стало ясно; торопиться незачем... Все напрасно — Антонычу уже не надо доктора... Слишком поздно!

Черная глубина неба мигала множеством звезд... Которая из них звезда Вифлеема? И смеет ли сонм подхалимствующих ангелов петь славу? Кому?... Сидящему где то там — пропагандирующему милосердие и практикующему равнодушие?... Или наблюдающим за миром, как тот Стриг на балконе собора Парижской Богоматери?...

Игорь поборол желание поднять кулаки и погрозить звездному небу и побежал к гостинице, надеясь застать там Гомеца. Гомец вероятно знал где найти доктора...

Гомец собирался ложиться спать, когда Игорь вбежал. Узнав в чем дело, он быстро оделся. «Лучше оставьте его там. Я постараюсь достать американского доктора из-за реки».

Когда Игорь вернулся, Антоныч сидел откинувшись на спинку стула, поддерживаемый Полковником и Ковалем, пока Лукич кормил его кусочками льда с ложки. Его посеревшее лицо с закрытыми глазами было лицо мертвеца. Только горло двигалось и легкая дрожь пробегала по всему телу, как он проглатывал лед. Кровь текла лишь тонкой струйкой из одной стороны рта. Полковник вытирал ее мокрым полотенцем. Окровавленные платки валялись на полу и на столе. Казаки и женщины стояли вокруг. Одна из них тихо плакала на стуле около елки...

«Гомец пошел за американским доктором», сказал Игорь.

Ресницы Антоныча задрожали. Он открыл глаза как

---

[1]) Очень поздно.

проснувшийся от глубокого сна. Он попытался сесть прямо и Коваль помог ему. Очевидно он заметил окровавленные платки — приподнял руки, запачканные липкой кровью — опять опустил их. Он медленно повернул голову, останавливаясь на каждом лице со странно спокойным взглядом.. Его губы шевелились в беззвучном обращении... Потом глаза закрылись... Голова склонилась на грудь...

37.

На третий день нового года специальный вагон с маленьким миром казачьего хора был прицеплен к поезду идущему на юг, дальше от американской границы. Все опять заняли свои прежние места. Полковнику стало просторнее в переднем купэ. Чемодан Маэстро был под скамейкой и только его дождевик висел на крючке. Сам Антоныч остался в пограничном городе — похоронен в углу кладбища за городом, на второй день после Рождества. Церемония была простая и короткая. Казаки стояли вокруг могилы и крестились, пока американский священник читал из маленькой книжки. Никто из них не понимал, что он читал, но они знали, что это божественное и крестились. Группа женщин с усатым мексиканцем стояла поотдаль. Игорь узнал Фелипэ, и Мари-Анн. Якубович с женщиной его лет и с девочкой, повидимому его жена и дочь, обе в русских платках, стояли поотдаль с другой стороны.

После того, как священник кончил читать и благословил могилу, хор пропел «Со святыми упокой» и «Вечную память». Свежий ветер из-за реки разносил торжественный и скорбный напев. Полковник первый бросил горсть песчаной земли в могилу. Казаки последовали один за другим, быстро крестясь. Затем Фелипэ и его девицы приблизились по пригласительному жесту Игоря и бросили свои горсти земли. Мари-Анн бледно улыбнулась ему. Ее глаза были заплаканы. Она выглядела опрятной и скромной в простом платье под короткой кроликовой жакеткой, из тех, которые он видел в одной витрине американского магазина под более экзотичным названием, Lapin. Голубой шарфик гармонировал с ее глазами... Глядя на нее, никому бы и в голову не пришло... Перед тем как уйти, она быстро взглянула на него и чуть повела глазами, указывая, что хочет поговорить...

Когда все, включая Якубовича, отдали последний долг Маэстро, четверо туземцев подошли с лопатами.

Песок и гравель сухо стучали по деревянной крышке гроба, под которой Антоныч лежал в черной черкеске, опоясанный кинжалом, с папахой на сложенных руках. Накануне был разговор — как положить Антоныча: в белой или черной черкеске и решили, что обязательно нужно в белой. Но секретарь Волгин неожиданно запротестовал. «Хлопцы, я не так долго знал Антоныча, как вы. Но я никому не уступлю в уважении к нему и к его памяти. Я вот, что скажу: Антонычу белая черкеска больше не нужна, а хору она может пригодиться. Я предлагаю положить Антоныча в его другой черкеске».

«Как раз в мерку Дуле», Сотник Коваль заметил с очевидным сарказмом.

«Мало-ли что может случиться. Я стою на своем предложении», ответил Волгин. В последнее время, авторитет секретаря сильно поднялся. Он один понимал язык окружающего мира и он один повидимому знал, что делать. И хотя никто, не исключая летописца Терентия, не хранил точных дат, все заметили, что давно уже не видели его подвыпившим, а не то что пьяным. Его поддержка пришла с сильной стороны. Лукич выступил и заговорил с важностью приличной случаю: «Не в обиду сказать Антонычу, царство ему небесное, белая черкеска театральная одежа. И по станице и на походе казак носит простую черкеску. И ежели придется ему явиться перед Праведным Судией, может ему будет неловко, с точки зрения, стоять посреди остальных прочих казаков в простых черкесках».

«Я тоже так думаю», согласился Полковник. «Антоныч жизнь отдал для хора. И уж конечно, он не пожалел бы черкески, если нужна».

«Я, конечно, как все», прибавил Иван Иваныч. «Но с практической стороны... Кто его знает, найдем-ли такой материал... Да и портного может не будет...»

Таким образом, было решено положить Антоныча в простой черкеске...

Наблюдая, как могила постепенно заполнялась, Игорь думал о Мари-Анн и о странной игре судьбы, когда неожиданное пламя жизни в ее самом могучем проявлении вспыхнуло в последние часы этого невыносимо обременительного Рождественского дня и выжгло мысль о смерти и о сцене предыдущей ночи...

...Он проснулся после полудня, после долгой бессонной ночи. В ожидании доктора, казаки и женщины торопливо подбирали окровавленные платки и полотенца и мыли стол и пол около него. Антоныча положили на два

составленных стола и прикрыли простыней. Фелипэ, хозяин, запер дверь на ключ, спустив шторы на окнах, и сидел покачиваясь из стороны в сторону, все еще ошеломленный и бормоча, «Jesus, Maria! Que desgracia!» Доктор пришел только для того, чтобы выдать официальное удостоверение о смерти «from natural causes». Была минута замешательства, когда казаки вспомнили, что доктору нужно заплатить, а хоровая казна была сдана на хранение в несгораемый ящик гостиницы. Собравшись в кружок, все считали карманные деньги. Доктор — грузный мужчина в белой широкополой шляпе — подозвал Игоря. «Если вы, ребята, беспокоитесь о моем гонораре — забудьте об этом. Вы мне ничего не должны... Но выпить мне необходимо... Bourbon on ice!!» обратился он к Фелипэ. «Make it two,» прибавил он, взяв Игоря за локоть и ведя его к прилавку...

Затем ждали пока Гомец вернется с каретой из бюро похоронных процессий. Агент был видимо разочарован, узнав, что никакой церемонии не будет и казаки хотят только самый простой гроб. Вернувшись в гостиницу, многие задерживались в передней около печки и смотрели на потухающие угли. «Не дождался Антоныч Америки», сказал один... После долгого молчания, Дуля неожиданно заговорил: «Подождать, похоже, надо с разделением. Либо все доберемся до Америки, либо все завертаемся до Европы. Не охота мне оставить хор без регента». Ему никто не ответил и скоро все разошлись...

...Сидя на краю кровати, он смотрел в окно. Небо было темно-голубое и ясное. Праздничное. Но он не хотел идти на улицу... Опять слушать «Merry Christmas! and «Feliz Navidad!». Он сам ничего не чувствовал кроме равнодушия и пустоты... Верное средство — пойти напиться и заснуть. Но напиться нельзя. Он секретарь, надежда хора. Как Лукич сказал, ему нужно держать ухо востро... Зачем ухо держать? Вся хитрая схема Якубовича встала в новом свете — фантастическая, невероятная авантюра... И проиграв пари Наде, он проиграл больше, чем пари... Ольгино предупреждение в тот последний день в Париже: «Может быть это твой шанс. Такой, который приходит только раз в жизни... Упустишь, не вернешь». Хорошо бы теперь поговорить с Ольгой... С кем-нибудь понимающим... Полковник Лиманский?... Но он приблизительно знал, что Полковник скажет... Сотник Коваль?...

...Сотник Коваль!... Внезапная мысль заставила его выпрямиться. Сотник Коваль был единственный человек! Антоныч это завещал... И Надя будет рада!... Он опять

leг, начал обдумывать все стороны нового проэкта и не заметил, как опять уснул. Когда он проснулся, было уже темно. Его светящиеся часы показывали половину седьмого. В комнате опять было холодно. Несколько звезд мерцали в окне. Те-же самые, что и вчера, Проспав почти весь день, он будет лежать здесь всю ночь, смотря на эти звезды... Комната Антоныча — пустая на другой стороне коридора...

Он оделся и вышел. Вспомнив, что не ел со вчерашнего дня, зашел в ресторан, где хор столовался по удешевленной оптовой цене, выторгованной Гомецом, и заказал супу, кофе и американского яблочного пирога. Покончив с ужином, он пошел вдоль улицы, пока не вспомнил, что это та самая по которой Антоныч шел вчера к своей смерти... Вот и дом. Елка блистала как вчера. Две пары танцевали под музыкальную машину. Он вошел... Он не напьется, но стаканчик виски был необходим. Несколько мужчин сидели за столиками. Женщины приветствовали его улыбками, как старого знакомого. Одна из них поднялась и пошла вверх. Хозяин Фелипе тоже улыбнулся, «Buena sera, Senor», и наполнил выше стаканчик виски. Теплота виски приятно разливалась по телу...

«Можно к тебе подсесть, казак?» услышал он голос позади. Оглянувшись, он узнал техасску, которая вчера играла на пианино. «Конечно. Хочешь выпить?»

«All right. Пойдем сядем».

Довольный, что нашел с кем поговорить, он последовал за ней к уединенному столику между елкой и пианино. Он заметил, что ее лицо как будто похудело. Синева оттеняла глаза, зеленые и чуть раскосые, как у кошки, но с прямым открытым взглядом. Кругловатый овал лица, заострявшийся к подбородку. Не красавица, но очень привлекательна... И заметно взволнованная. «...Далеко от дому, казак... Один здесь?»

«Один».

«Я тоже одна...» Она выпила, опустила голову. Он видел, как она кусала губы. Затем быстро взглянула. «Слушай, казак... Будь моим гостем... всю ночь... За любовь!... Не пожалеешь... и не бойся, я чистая!»

Пораженный, он уставился на нее. Она продолжала: «Скучно мне... Рождество, а праздновать не с кем... Ты мне понравился. Вчера когда ты подошел и поклонился. Как кланяются в кино, в картинах из высшего общества. И как говорил — сразу видно, что не из этих hombres. Я бы тебя вчера пригласила, да это случилось... Бедный, бедный человек! Умереть в таком месте, в такую ночь!... Не могла заснуть, а сегодня заперлась и никого не хотела

видеть, пока Мерседес не пришла сказать, что ты здесь...»

Он смотрел на нее с новым интересом. Очевидно, это был не обычный подход проститутки, а какое-то совершенно странное предложение. Она не была пьяна. Хотя широко открытые потемневшие глаза глядели вызовом, он читал также тревогу и глубокую боль. Внезапное влечение к ней охватило его и он не мог решить, была ли это чистая симпатия к этой зеленоглазой женщине — вернее девушке скорее моложе, чем старше двадцати лет. Или облегчение, что не нужно будет проводить бессонную ночь в холодной комнате через коридор от пустой комнаты Антоныча?

Техасска сдерживала голос в возрастающем волнении, почти в мольбе: «...Не откажи, Казак! Не погнушайся! Я хоть и здесь да не таковская... Ты думаешь мне легко просить? Не милостыни прошу... Рождественский подарок! Обменяемся — ты мне, я тебе. Если у тебя кто где есть, она не обидится... Я не обиделась бы в таком разе. Тебе тоже не повредит. Я смотрела на тебя вчера... И сейчас вижу».

«Что ты видишь?»

«Ты знаешь что я вижу... Тоска, казак, тоска! Я не знаю, как ты попал в это захолустье, а про себя знаю, что сдуру... Не оскорби, казак. Не откажи... Если откажешь, я... я не знаю, что сделаю! Напьюсь, наскандалю... дуру из себя сделаю?»

Он покачал головой. «Ничего подобного. Кавалеры, которые кланяются как в кино, не поставят даму в такое положение».

«...Так значит ты...?»

Он кивнул молча. Радостная, детски-открытая улыбка осветила ее лицо и сейчас же сменилась на более сдержанную и более красноречивую, а он заметил, что ее глаза действительно кошачьи. «Слушай», сказала она деловито. «Я не хочу чтобы нас видели уходящими вместе... Ты теперь уйди. Там увидишь калитку направо от дома. Проход во двор. Немного подожди, а потом иди. Впущу тебя у заднего входа».

«Нужно бы выпить для приятной встречи».

«All right.». Она высунулась из-за елки и помахала рукой. Поймав взгляд Фелипе, она показала два пальца.

«Мое крепкое, без воды», предупредил он.

«Хорошо тебе, хорошо и мне».

Когда Фелипе наполнил стаканы, Игорь поднял свой. «Merry Christmas... Как твое имя?»

«Здесь я Линда, а мое настоящее имя, Мари-Анн. А твое?»

«Игорь... Линда для тебя подходящее имя.» [1])

Зеленые глаза прищурились в кошачьей улыбке. «Тебе нравится?»

«Где ты достала эти глаза?»

«Не знаю. Мамина семья из Норвегии. А дедушка ирландец. Охотником был. Жил одно время с племенем Навахо, squaw себе взял, мою бабушку... Как видишь, я разношерстка».

Они разговаривали как старые знакомые. Мари-Анн отказалась от третьей виски. «Довольно. Виски меня ко сну тянет... А я спать не собираюсь... Да и тебе спать не дам... Лучше пойдем... Нечего время зря терять!»

Выйдя на улицу, Игорь заметил калитку, прошелся медленно до угла, вернулся к калитке и поднял щеколду. Узкий проход был освещен лунным светом отраженным от выбеленной стены. Одна из задних дверей была полуоткрыта. Мари-Анн стояла там. Она повела его за руку вверх к коридору, с дверями вдоль обеих стен и освещенному одинокой лампой на другом конце над перилами лестницы повидимому ведущей в приемную залу. Музыка и голоса доносились оттуда. Мари-Анн впустула его в ближайшую дверь угловой комнаты и повернула ключ в замке. В темноте он различил угол пестрого стеганого одеяла выхваченного узкой полосой лунного света. «Нас никто не побеспокоит. Я сказала Фелипе, что нездорова. Она откинула одеяло. «Точно знала, переменила вчера простыни и наволочки... Ты не знаешь, а ведь это лучшее заведение в городе». Она быстро разделась и нырнула под одеяло. «Скорее, я замерзаю!»

...Мари-Анн не преувеличивала, когда сказала, что он не пожалеет если останется. В первом же объятии, ее неожиданная страсть подняла бурю в которой пустота души и томление сердца претворились в голод плоти — и три удовлетворились как одно...

«Ты лютая», сказал он, глядя на нее распростертую, с полузакрытыми глазами.

«...Говорила, что не пожалеешь... Oh, honey!» Она протянула руки и ласкала его лицо и шею. «Я кажется укусила тебя?» она слизнула кровь с пальца, притянула его к себе, высосала ранку, зализала горячим языком и окончила операцию поцелуем. «Все заживет... а у меня зато будет казачья кровь... Зажги папиросу».

Они курили молча, с пепельницей в углублении одеяла между ними. Мари-Анн смотрела в окно. «...Месяц одинаковый везде. В России тоже?»

---

[1]) Linda — красивая, хорошенькая.

«Такой же. Там сейчас уже утро... Завтра».

«Да?... Не хочу завтра, хочу сегодня».

Когда они докурили, Мари-Анн поставила пепельницу на подоконник, подвинулась ближе. Скоро он услышал, что она плачет. «Что с тобой, Мари-Анн?» Она продолжала плакать. Он повторил вопрос.

«Так... этот месяц как в моем окне, дома... Это мое первое Рождество...»

«Сумасшедшая девченка, как ты сюда попала? Давно ты здесь?»

«Недавно. Сначала нанялась только с гостями сидеть... А потом так вышло».

«Знают твои где ты?»

«Нет, нет! Но я послала им Рождественскую карточку. Попросила одного отправить ее из Штатов. Написала, что я не там откуда письмо придет... И чтобы не беспокоились».

«Не беспокоились! Ведь им теперь и праздник не в праздник. Мари-Анн, я не знаю, что там в твоей взбалмошной голове, но едва ли твоя беда так безнадежна. Почему не вернуться домой?»

В ответ, ее плач превратился в рыдания, заглушенные подушкой. Он только мог разобрать «...упрямая дура... пожить своей жизнью...» Он дал ей выплакаться и только гладил ее голову. Ирония положения заставила его усмехнуться... Два искателя романтических приключений сошлись в постели пограничного публичного дома.

Все еще всхлипывая, Мари-Анн прижалась ближе, скользя по нему. Обняла шею. «...Honey, как я рада, что встретила тебя». Полуоткрытый рот прильнул к его... горячий язык ласкал нёбо...

И он отдался любви этого странного создания — пир, который она приготовила для желанного гостя. Она угадывала все его прихоти и сама вела его по заповедным тропинкам сладострастья, — более и более необузданного по мере того, как полоса лунного света расширялась на пестром одеяле. Когда она растянулась до ширины окна, Мари-Анн сбросила одеяло, объявила, что под луной лучше. И их разгоряченные тела купались в каскаде холодного голубого света... Они незаметно заснули когда полоса лунного света опять съузилась и исчезла за изголовьем.

Игорь проснулся когда окно чуть розовело зарей. Мари-Анн спала на боку, одна рука под щекой. Ее лицо было спокойно, дыхание ровно. Мари-Анн получила свой Рождественский подарок. Их пути скрестились когда он ей был нужен, как и она ему!... В порыве нежности, он

нагнулся и поцеловал ее. Она пошевелилась, открыла глаза — присмотрелась — узнала. «Honey!»

«Светает, Мари-Анн. Мне пора».

Она поднялась, протерла глаза, взглянула на окно. Да, светает. Кончилось Рождество». Она лениво потянулась в непринужденной и неумышленной соблазнительности, обняла его шею и положила голову ему на грудь. Он чувствовал ее поцелуи. Он поднял ее лицо, их взгляды встретились. Зеленые глаза хищно расширялись. Губы сошлись в упрямой черте. «...Подожди немного, еще рано... Притворимся, что еще Рождество...»

...Когда он был готов идти, она накинула поношенный халатик и они стояли лицом к лицу. Она протянула руку. «Спасибо за подарок».

«Тебе спасибо, Мари-Анн. Чудный подарок».

«Значит мы квиты?»

«Я в выигрыше. Не знаю чем и отплатить».

Она покачала головой с широкой улыбкой. «Ну, уж нет! Ты мне и так отплатил». Потом серьезно, «У меня просьба... не заходи больше сюда».

Он кивнул. «У меня тоже просьба. Поезжай домой. Здесь тебе не место».

«Уже решила... Позавчера, в сочельник. Когда вы пели... Все нутро перевернуло... А потом так перепугалась... Подумала, если и мне так придется умереть. Одной в чужом месте, без родных, без никого...»

Она подошла, положила руки ему на плечи. «Скажи откровенно, есть мне шанс в жизни?»

«Почему ты меня спрашиваешь?»

«Я вижу ты человек бывалый. Может знаешь чего я не знаю».

Он усмехнулся. «Может знаю, а может и нет... Ну хорошо. Ты дрянная девчонка, которую надо выпороть, а потом поцеловать. Недаром у тебя глаза зеленые. Ты дикая кошка и ты лучше утихомирься. Ты теперь узнала, что свет холодный и жестокий. Я это давно узнал. Ты заблудишься, пропадешь. Вернись к своим, где потеплее. Что у тебя за семья? Напакостила ты им?»

Мари-Анн смигнула слезу. «Нет, ничего... Лаялась только как собака. А теперь показаться боюсь».

«Ты не говори им где была. Скажи вайтершей работала».

«Я и правда одно время вайтершей была».

«Вот и хорошо. Как приедешь в свой город, позвони домой. Не говори где ты. Скажи соскучилась, хотела поговорить. Судя по тому, что они скажут, ты узнаешь, сердятся они или нет».

Мари-Анн опять замигала в слезах. «Я уж знаю, что мама сейчас же приедет за мной».

«Ну вот! Мари-Анн, тебе нужно хорошего мужа. Который любил бы тебя и которого ты любила бы... Тебе не трудно. У тебя есть все, что надо».

Он улыбнулся видя, что она тоже улыбнулась и опустила глаза. «Остался у меня там один. Бурильный мастер. Мой отец подрядчик. У него две бурильные вышки. Джон одним заведует. Я его и заарканю. Я знаю он непрочь».

«Нравится он тебе?»

Она пожалась кокетливо, повела глазами. «Ну... Вроде как... Упрямый он, как мул! Подрались мы с ним перед самым моим уходом».

Он потрепал ее по щеке. «Самый подходящий человек для тебя... Ну, Мари-Анн, я рад, что встретил тебя».

«И я тоже! Она поднялась на цыпочки и прильнула с долгим поцелуем.. «Прощай Игорь... Не забуду это Рождество!... И тебя не забуду». Подошла к двери, выглянула. «Никого!... Прощай, honey».

...И вот теперь Мари-Анн пришла бросить свою горсть земли на гроб чужестранца, которого она видела в первый и последний раз, но чья музыка и смерть может быть переменили ее жизнь.

Могильщики вывели холмик над могилой, поставили деревянный крест с именем Антоныча. Все было кончено. Казаки, перекрестившись еще раз, пошли к воротам молчаливой толпой. Американский священник отклонил конверт с вознаграждением. Пожелал хору успеха. Сказал, что помолится за них.

Игорь был готов подойти к Мари-Анн, поджидавшей его в углу кладбища, но увидел приближавшегося Якубовича. «Ах, господин Волгин, какая жалость! Чтобы так умереть в чужой земле... И как прекрасно и печально вы пели... Моя жена плакала и плакала. И я подумал, что и мне может быть не придется почивать с отцами... Вот я и привез с собой мешочек земли из нашего кладбища в Могилеве... На случай. Чтобы на меня посыпали, если придется мне умереть в Америке. Я хотел дать немножко чтобы посыпать на покойного господина казака, а моя жена говорит, не валяй дурака и зачем казаку хотеть, чтобы посыпали на него земли с еврейского кладбища? Но ведь земля русская и господин казак тоже русский».

«Очень трогательно с вашей стороны, господин Якубович. Скажите вашей жене, что мы очень ценим такое

отношение».

«Ну, я же так и думал. А она говорит, не валяй дурака...» Он перешел на деловой тон. «Что же мы теперь будем делать, господин Волгин?»

«Будем продолжать, как уговорились. Я хотел вам сказать, что человек девять почти наверняка уедут в Европу».

«А как-же будете петь без управителя?»

«У нас есть другой».

Якубович подумал. «Ну, когда так, то и лучше. И зачем вам такой большой хор? Только лишние расходы, а доход одинаковый... Ну, пока. Увижу вас на концерте. И спасибо за билеты. Мы все будем рады опять послушать русские песни...

«И очень, очень жаль за господина казака», он кивнул в сторону могилы. «Я уже тут присмотрю, когда вы уедете». Он приподнял котелок и пошел к своим. Игорь взглянул в сторону Мари-Анн, но ее уже не было.

Он увидел ее еще раз со сцены театра Alcazar, на первом из трех прощальных концертов. Она сидела в третьем ряду напротив басового крыла хора, между Фелипэ и выводком его девиц и семейством Якубовичей. По предложению Игоря казаки согласились послать билеты в змеятник в отплату за причиненные хлопоты. Мари-Анн отчаянно аплодировала. Их глаза встретились на мгновение, когда он раскланивался после своего соло. Он ожидал встретить ее после концерта, чтобы спросить, почему она не уехала? Но ее нигде не было.

Утром он нашел конверт подсунутый под дверь, адресованный просто «Igor». Он разорвал конверт и прочел записку: «Honey, я на дороге домой на расправу. На кладбище я хотела тебя поблагодарить за билеты, но ты был занят. Я рада, что осталась до концерта. Значит ты и петь умеешь! Пожелай мне счастья. Мне оно очень нужно. А тебе желаю всего, всего хорошего. Спасибо за все. Мари-Анн».

«Всего хорошего, Мари-Анн!» сказал он, глядя на пыльное окно. «...И тебе и мне... **Nous en avons bien besoin».**

38.

Три прощальных концерта на границе, под управлением Дули, прошли с успехом и при полном сборе. Американский репортер зашел проинтервьюировать Игоря. На другой день Игорь переводил его статью хору. В цветистом стиле газета рассказывала необычайную рождест-

венскую историю: бродячий казачий хор, застрявший в пограничном мексиканском городе, где они не знали ни души — елка заманившая их в дом терпимости — их «атаман» в последней стадии чахотки, потерявший сознание от внезапного кровоизлияния из горла и умершего до прихода доктора. Автор напомнил, что в первое Рождество одно бедное иудейское семейство тоже оказалось в чужом городе, где им тоже было некуда идти. И в обоих случаях было прекрасное пение: ангельское в одном, казачье в другом. Умолчав об очевидной разнице рождения и смерти, статья уведомляла, что казаки будут петь Silent Night, прощальную музыку их атамана, и что билеты продаются в книжном магазине и в кассе театра. Статья оказалась лучшей рекламой. Сами казаки слушали статью в молчании. Терентий взял вырезку для своего архива, с замечанием, «По крайней мере Антонычу уж не о чем больше беспокоиться...»

Неоконченная часть его замечания очевидно была на уме у всех. Вопрос был ясен: если Дуля уедет с двойным квартетом, кому-же управлять хором? Как-никак, Дуля управлял несколько раз и современем должен исправиться потому, что хуже быть невозможно. В Дуле между тем произошла перемена. Он внезапно приобрел некоторую солидность в обращении и разговоре, деловито просматривал партитуры и намекал Игорю, что нужно бы поставить на афиши имя настоящего регента. Он неопределенно заговаривал, что в единении сила и что хорошо-бы прославить казачье имя в Америке. Его группа молчала, очевидно выжидая, что будет дальше. Один Сашка упрямо твердил, что едет с хором только до Тампико. Игорь уже написал соответствующее письмо Мими, на этот раз точно переводя Сашкины уверения в любви. Князь держался в стороне и вел свою собственную политику, намекая, что если вообще поедет в Америку, то только, если его полное звание — кавказский танцор князь Мишель Кирвани — будет напечатано на программах, особо.

Однако, новое событие — неожиданное для всех, за исключением может быть одного человека — положило конец всем догадкам и рассуждениям и предопределило будущее хора.

На втором концерте после похорон, Сотника Коваля в театре не было. Его не хватились до самого выхода на сцену, когда его место в задней шеренге теноров оказалось пусто. Никто не знал где он, хотя все помнили, что он был в столовой во время обеда. Когда Иван Иваныч, Полковник и Игорь, несколько встревоженные, вошли в

его комнату после концерта, они нашли его лежащим на кровати. Пинтовая бутылка виски стояла рядом на полу. На шум их входа, он приподнял голову.

Полковник сказал строго, «Сотник Коваль, вам надо-бы постыдиться!»

Остеклянелые глаза Коваля медленно оглядели посетителей. Он с трудом сел, вытер рот ладонью и пробормотал, «Так точно... Я трус...»

Необутый, растрепанный, с расстегнутым воротом, он покачивался из стороны в сторону, продолжая бормотать, «...Георгиевский кавалер, а трус... трус и подлец».

«Сотник Коваль, вы пьяны, как не подобает офицеру», сказал Полковник.

«Конечно надрался», согласился Коваль. «Почему и вам тоже не надраться, господин полковник?»

«Сотник, вы забываетесь!»

Коваль уставился на него без всякого выражения. «Вы так думаете?» протянул он, поднялся держась одной рукой за спинку кровати и показал на Полковника неуверенным пальцем. «Да, забываюсь, но не могу забыться... Нельзя!» Он протянул обе трясущие руки. «Как забыть?... Вот кровь на руках... Антоныча кровь! И на ваших руках!... Погубили мы Антоныча... за что? За пезо, за доллары!... Где они, эти доллары?... И где Антоныч? И где мы?»

Иван Иваныч подошел к нему. «Вы бы легли отдохнуть, Сотник».

Коваль отстранил его не глядя. «Иван Иваныч, бесполезнейший из директоров, я не с вами разговариваю... Полковник, без чинов и попросту — почему-бы нам не повеситься или не утопиться? Ведь наша песенка спета».

Встретив неподвижный взгляд стеклянных глаз таким-же неподвижным, но живым взглядом, Полковник произнес отчетливо и веско: «Вопреки военному уставу, который запрещает старшему офицеру спорить с пьяным субалтерном, чтобы болван не оскорбил его и не попал под военный суд — я вам отвечу... Да, трусливо замышлять самоубийство при таких обстоятельствах! Или держать себя как вы — на стыд и позор своим братьям-казакам! И если вам не стыдно за себя — мне стыдно за вас. Я ведь тоже казачий офицер».

Коваль попытался встать во фронт и отдать честь, но пошатнулся и опять сел на кровать. Он разразился тонким хихиканьем. «Вы слышали, Иван Иваныч?... Вот нарезал, так нарезал!... Старый закал, не нам чета. Поучитесь пока можно... Господин Полковник, извините, что не могу встать и отрапортовать, как полагается... Я уважаю

вас за такие слова. Честное слово, уважаю и завидую... Нам дуракам в науку». Он утер губы ладонью и подмигнул лукаво. «А вы уверены?... Значит так и не замышляли?... Никогда?... Даже как мимолетный соблазн?... Бывает так приходит в голову от нечего делать... По ночам, когда не спится и выпить нет... Признайтесь, господин Полковник...»

Полковник повернулся и вышел. Иван Иваныч замешкался, повидимому не зная, что делать. Игорь молча показал ему на дверь и Иван Иваныч последовал за Полковником. Коваль сидел опустив голову, усмехаясь сам себе. «Не признается... старорежимный дядя... обухом не вышибешь... Петроградское время... как завели часы так и идут... можно только остановить, а перевести нельзя...»

Его голова склонилась еще ниже. Он бормотал устало: «Остановить?... Но почему же остановить? Еще рано остановить... А если не остановить — куда? Зачем?... Ecce Homo, се человек!... Вскую мя оставил еси?... Если Ты там на небе, докажи... Сотвори чудо — маленькое для Тебя... Чтобы опять почувствовать себя живым... На год, на два, а потом как хочешь. А, как насчет этого?... Да нет, ерунда!... Все чудеса отменены... И небо тоже отменили... Мы-то, дураки, поддерживали его, как древние Титаны. Но небо все-равно провалилось и раздавило Титанов...»

Он поднял голову и повидимому в первый раз заметил Игоря. «...А ты откуда взялся?... Слышал, что он сказал? Чудотворец наш полковник... как библейский Иисус Навин. Приказал солнцу остановиться — оно и остановилось. На Петроградском времени... Неплохой актер, надо отдать справедливость. На роли благородных отцов». Он поднял бутылку. «Выпей, Волгин. За упокой души всех погибших и тех, которые остались по ошибке...»

«Не хочешь?» продолжал он, видя, что Игорь покачал головой. «Ты тоже из актеров, но до Полковника тебе не чета... Таких уж больше не делают. Да твоя роль и проще. Играй самого себя — натурального дурака!» Он поднес бутылку к губам, скорчил гримасу и бросил бутылку в угол. «Пустая, как твоя голова, Волгин!» Он облизал сухие губы и повалился на кровать, лицом к стене. «Убирайся к чорту. Не хочу тебя видеть... трезвым».

Игорь оставался неподвижным. Когда Коваль затих, он осторожно подошел к столу, подобрал кинжал Коваля и также осторожно вышел.

В тот же вечер он пригласил Полковника, Ивана Ива-

ныча и Лукича в свою комнату и они разговаривали там далеко за полночь.

На другой день все четверо опять зашли к Ковалю. Он опять лежал на кровати, встрепанный, небритый, но повидимому трезвый. Увидя их, он поднялся и встал. «Что это — военный суд?» спросил он, мрачно. «До приговора, я должен сказать, что хотя и не помню всего случившегося, но помню довольно. Между прочим, Полковник, я сам собирался к вам зайти и извиниться... за все, что я сказал вчера. Я очень сожалею... И если еще кого обидел, тоже прошу прощения».

Полковник крякнул. «Да нет, какой там суд... Хотя очень рад это слышать... Не будем об этом говорить. Мы все разнервничались... Мы не за этим пришли, а вот нужно поговорить по очень важному делу... С вашего разрешения сяду. Садитесь все... Игорь Петрович, в виду того, что это предложение ваше, вы и излагайте».

«Я не буду распространяться. Положение всем известное», начал Игорь. «Без Маэстро, хор развалится, и уже разваливается. Поэтому нужно всеми мерами стараться попасть в такую страну, как Америка, где много русских и много работы за хорошие деньги. Все возможные меры уже приняты, но еще рано ожидать ответа от Джима Дэвиса, Чарли Армстронга, и зятьев Якубовича. Значит пока-что нужно циркулировать по Мексике и может быть заехать в соседнюю Гватемалу. Во всяком случае, нам надо петь, чтобы прожить и не попасть в положение стрекозы у муравья. Но, как известно, без регента петь нельзя. Нам нужен регент... И этот регент — вы, Сотник!»

Коваль, опять повидимому впавший в обычное равнодушие, вдруг встрепенулся и взглянул на него. «Извините, я кажется не расслышал».

Иван Иваныч подтвердил: «Секретарь правильно говорит. Вы единственный человек. Вы должны выручить хор».

Коваль обвел их пораженным, недоверчивым взглядом. «Если бы не в таком высокопоставленном обществе, я бы принял это за глупую шутку. В чем дело?»

«Тут не до шуток, Сотник!», ответил Полковник. «Положение серьезное. Нужно приложить все усилия. Большинство из нас мало что могут сделать. Но те, которые могут — должны!»

«Так вы действительно хотите, чтобы я был регентом?» спросил Коваль с искренним удивлением.

«По крайней мере попробуйте», сказал Игорь. «Мы это не сами выдумали. Антоныч говорил, что вы единст-

венный, кто мог бы его заменить если-бы... Будем говорить прямо — если бы вы были более или менее таким, каким вас приняли в хор». Наблюдая за переменой на лице Коваля, он вспомнил тот день в Париже, когда он упомянул имя Нади Кириной.

«...Пожалуйста, Сотник», вмешался Иван Иваныч. «Выручите нас. Ведь хор помог вам. Где бы вы были без него. И Антоныч всегда держал вашу сторону, когда некоторые говорили против... Теперь ваша очередь... И белая черкеска вам как-раз по мерке. Портной подошьет или распустит кое-где...» Он замолк под многозначительным взглядом Полковника.

Но Коваль повидимому ничего не заметил. Он смотрел прямо перед собой, кусая губы, чтобы остановить их дрожь. Вдруг он поднялся, взял палку, подошел к окну. Опираясь на палку, спиной к ним, он ерошил волосы свободной рукой, хватался за горло, наконец повернулся. «...Хорошо, господа!... Если думаете, что гожусь — согласен!... Попробую... Может есть надежда... Не знаю, но попробую... постараюсь...»

Он дрожал всем телом и должен был прислониться к стене. Игорь и Полковник поспешили поддержать его, подвели к стулу, пока Лукич суетился с бутылкой виски у умывальника. Коваль тяжело дышал. Капли пота выступили на лбу. «Ничего, ничего», повторял он. «Папиросу, пожалуйста».

Игорь достал портсигар, но Лукич уже подошел со стаканом. «Вот примите. По-американски — с водой. По необходимости случая».

Коваль взял стакан обеими руками, опять оглядел посетителей с некоторым удивлением, и осушил его. Закрыв глаза, он сидел дыша более спокойно. Когда страданье исчезло с его лица, он взглянул на Лукича. «Спасибо, казак. В самую точку угодил». Он взял папиросу, глубоко затянулся, и откинулся на спинку стула. «Теперь поговорим... Все в хоре согласны?»

«Обязательно, да!» Лукич ответил безапелляционно. «При таком случае, да ежели Антоныч завещал, они на самого сатану согласятся — не во гнев будь сказано... А которые не согласятся, казак их согласит».

«А как насчет Дули? Я слышал, он непрочь остаться регентом».

«Пущай дуля убирается к кобыле под хвост! Из него такой-же регент, как из зайца бандурист. Одно слово, дуля, с точки зрения! Насмешим всю Америку, когда на афишах пропечатано — маестра Дуля».

Коваль улыбнулся, в первый раз. «Нет, из Дули реген-

та не выйдет. Не знаю о себе, но я постараюсь... Но не сразу. Нужно привыкнуть. Посмотреть партитуры...»

«Да вы не беспокойтесь, Сотник», перебил Иван Иваныч. «Дуля не уедет раньше Тампико. А мы пока будем репетировать с вами. Да и отдохнуть вам надо. Поправиться...»

«Да, да, конечно. Поправиться», Коваль согласился поспешно. Он протянул дрожащие руки и продолжал не своим, почти молящим голосом: «Вот видите?... И знаете, трудно остановиться так сразу. Все нутро выворачивает... Так, что с вашего разрешения — один или два в день, пока не пройдет... Но не больше! Даю честное слово!»

«Конечно, что за разговоры?» Полковник положил руку ему на плечо. «Мы это как раз и имели в виду... Вот Лукич принес — мы вам и оставим. На ваше слово».

«Нет, нет, лучше возьмите... Я спрошу когда надо».

«Прекрасно! Рад это слышать!» Полковник поднялся. «Ну, мы теперь пойдем. А вы отдохните, подчипуритесь, а там и обед... Имейте в виду, Сотник, вы теперь наша главная поддержка. Я знаю, вы казачий офицер и Георгиевский кавалер и не выдадите своих. Поздравляю с производством».

Он пожал руку Коваля и вышел. Остальные последовали за ним.

«Постойте, Волгин!» позвал Коваль. Игорь остановился в двери.

«...Скажите, это пропаганда или правда, будто Антоныч говорил, что я могу его заменить? Теперь-то все равно — я согласился и дал слово... Но мне интересно...»

«Это правда. Он сказал мне еще во Франции. Помните в городе с русской женой префекта полиции? Где в частных домах ночевали. Я попал в одну комнату с ним, вот и разговорились... Он тогда уже знал, что с ним».

«Так значит вы меня имели в виду, когда предложили положить Антоныча в простой черкеске, а не в белой?»

Игорь кивнул. Их глаза встретились. Коваль сказал медленно. «Вы странный господин, Волгин. Более странный, чем я думал».

«У каждого свои странности, Сотник», ответил Игорь и закрыл дверь.

Оставшись один, Коваль сидел неподвижно. Если-бы казаки увидели его теперь, они не поверили бы глазам. Сотник Коваль, вероятно сам не подозревая этого, улыбался тихой, трогательной улыбкой.

Стих Четвертый.

39.

Русский ресторан Щелкунчик в шестидесятых, между Бродвеем и Пятым Авеню, торговал совсем неплохо для новичка. Mister Abramson, хозяин, он же и maitre d'hotel, сидел за столиком около кухонной двери, удостоверившись, что все в порядке. Да, действительно, жаловаться нельзя ни на настоящее ни на будущее. Щелкунчик успешно конкурировал с остальными русскими ресторанами Нью-Иорка — несмотря на некоторые неприятные первоначальные сюрпризы, и может быть даже по причине этих сюрпризов. Название ресторана было предложено одним русским художником, который отрекомендовался только что приехавшим из Европы. Художник был как и полагается художнику — в затрапезном костюме, небритый и не совсем трезвый. Но он принес с собой папку с эскизами семи картин музыки Чайковского, которые поразили Мистера Абрамсона великолепием красок и оригинальностью рисунка. Для уверенности, Мистер Абрамсон показал их нескольким знатокам ресторанного искусства и все решили, что такие панели absolutely unique. Художник заломил небывалую цену, очевидно не ожидая получить ее. Мистер Абрамсон, специалист в таких делах, предложил свою цену и положил на стол сто-долларовую кредитку, в задаток. Художник, вероятно в жизни не видавший ста долларов, немедленно согласился и только попросил, чтобы ему во время работы давали обед и стаканчик водки. Мистер Абрамсон тоже согласился. Панели были исполнены точно по эскизам и произвели сенсацию. Неприятные вести пришли гораздо позже. Только когда Надя Кирина пришла познакомиться и ахнула при виде танцующих бородатых мужиков, китайцев и томных гурий, он узнал всю правду. Его Щелкунчик был точной копией такого же ресторана в Париже. Между тем художник исчез — по слухам уехал в Южную Америку, несомненно оставляя за собой след новых Щелкунчиков. Не теряя времени, Мистер Абрам-

сон начал рекламировать ресторан как реплику знаменитого Монмартрского Щелкунчика, известного всему Парижу и его туристам.

Но действительно повезло ему с самой Надей, которую он рекламировал как La Belle Gypsy, но которая была известна по Бродвею, как Гурия Щелкунчика. Она была рекомендована ему приятелем, путешествующим по Европе. По словам приятеля, она хотя и далеко не оперная певица, но вполне замещала этот небольшой недостаток другими прелестями, и выступала с тем-же огромным успехом и в ночных кабаках и в салонах высшего общества. Мистер Абрамсон поморщился на сумму, которую Надя запросила, в придачу к проезду первым классом до Нью Иорка, но приятель уверял, что она оправдает каждый цент, и что необходимо что-то сногсшибательное чтобы конкурировать с далеко не незначительным русско-цыганским талантом Нью-Иорка. Что окончательно убедило Мистера Абрамсона — это не вполне определенные, но упорные слухи, переданные ему приятелем под строжайшим секретом. По этим слухам, La Belle Gypsy была очень близка с Рональдом Брустером, единственным сыном и наследником Вальтера Брустера, чье имя не нуждалось в дальнейших объяснениях. Все знали — и по слухам и из газет — что Ронни Брустер убежал в Париж от живописного и бурного брака с живописной и бурной Холливудской звездой. Звезда теперь уехала в Рено доживать шесть недель, требуемые штатом Невада до прошения о разводе. А Ронни между тем повидимому уже подцепил следующую, или следующая его подцепила. Однако частные дела Ронни Брустера не столько интересовали Мистера Абрамсона сколько замечание приятеля, что где Надя там и Ронни, а где Ронни там и его многочисленные друзья. В таком случае, он вернет — и с лихвой — каждый доллар, затраченный на Надю. И вот его самые смелые ожидания исполнились. Вся компания Ронни Брустера сделалась его завсегдатаеми. Некоторые из них и сейчас здесь за длинным столом, который Надя приготовила для приема казачьего хора только что приехавшего из Мексики, Приятель писал об этом хоре из Парижа. Он его уже не застал, но слышал, что это действительно замечательный хор. Оказалось, что Надя и Ронни хорошо его знали.

Мистер Абрамсон разглядывал казаков с смешанным чувством русского еврея, которого родители привезли в Америку мальчиком, во время революции и погромов девяьсот пятого года. Вот они — казаки — чье одно имя наводило ужас на стариков, знакомых Абрамсона.

А вот, между прочим, эта чета стариков Гинзбургов за вторым столиком от казаков... Они тоже убежали из Киева вместе с его семьей, а теперь просили чтобы обязательно оставил им столик для приема. И повидимому им было приятно видеть казацкую форму и прислушиваться к русско-украинской речи... И этот Моше Якубович, каким то странным образом попавший в Америку вместе с казаками... Сидит с ними, как свой... Конечно, это не Россия девятьсот пятого года, а Америка двадцать лет спустя. Времена меняются. И это уже не те казаки. Большинство из них молодые, за исключением двух-трех. Мистер Абрамсон поглядывал с любопытством, смешанным с атавистическим почтением, на типичного казака, как рисуют на картинках — с длинными седеющими усами и с орлиным профилем природного воина и потомка воинов. И на другого, с фигурой и лицом Тараса Бульбы и с таким видом как будто бы он в свое время — и не так давно — мог управляться и с шашкой и с нагайкой. Мистеру Абрамсону пришло в голову, что любой из них, в такой форме, был бы хорошим швейцаром.

Он улыбнулся про себя, подумав о игре судьбы, позволившей ему — бедному еврейскому беженцу из Киева — принимать знаменитый казачий хор в своем собственном шикарном Нью-Иоркском ресторане. Лично ему до казаков не было никакого дела. Но он охотно согласился на Надино предложение устроить для них прием и даже согласился взять на себя все расходы. Надя, казалось, была очень заинтересована казаками, а кроме того, это была хорошая реклама. Расходы уже оплатились: несмотря на двойную цену столиков для такого экстраординарного случая, ресторан был переполнен и многим заказывающим столики по телефону пришлось отказать. Мистер Абрамсон распорядился, чтобы отказы сопровождались обещанием, что ресторан постарается ангажировать казаков на несколько недель. Теперь он ожидал их пения, чтобы решить желательно-ли ангажировать их, и если да — то сколько это будет стоить.

Один небольшой вопрос слегка беспокоил его. Тоже не его делю, но в некотором отношении касающееся ресторана. Согласно тому же достоверному источнику, что-то было между Надей и одним из казаков с которыми Надя пела в Парижском Щелкунчике. Никто точно не знал, что именно и как далеко зашло. Просто слухи. Мистер Абрамсон даже не знал, который из казаков, хотя он догадывался. Это едва ли был Надин сосед с правой стороны, в белой черкеске, повидимому главный казак. Такая женщина как Надя едва ли заинтересовалась бы

этим лупоглазым типом с изможденным бесцветным лицом. Он редко улыбался и мало говорил — только с Надей... Скорее всего, это мог быть вот тот казак на другом конце стола, против Нади. Он уже заходил раньше, один, в первый же вечер после прибытия в Нью-Иорк. Несколько друзей Ронни и сама Надя встретили его радостными восклицаниями. Он поцелвоал обе руки Нади и казалось поцеловал бы и ее, в других обстоятельствах. Было очевидно, что все были рады его увидеть — может быть за исключением Ронни Брустера! Конечно, Ронни тоже улыбался и пожимал руку, но его улыбка была замерзшая, как у манекена в витрине магазина мужских костюмов... Впрочем, все окончилось как и следовало ожидать. Казак посидел с час, порядочно выпил и ушел. А Ронни остался...

Ход мысли Мистера Абрамсона был прерван... Надя поднялась и постучала вилкой о тарелку, приглашая общее внимание. «Ladies and Gentlemen!» объявила она. «Сегодня мы встречаем знаменитый казачий хор, только что приехавший из Мексики. Я их знала в Париже и очень рада опять встретить их. Я уверена, что и вы разделите мое удовольствие когда услышите их пение». Она подняла бокал. «За здоровье казаков и их регента!» Пока публика аплодировала, она повернулась к соседу в белой черкеске. «Поздравляю, Паша». Он встал и чокнулся с ней. Она смотрела на него, как будто бы ожидая, что он что нибудь ответит. Но он ничего не сказал, только поклонился с подобием улыбки и опять сел.

На другом конце стола, казак встал и тоже постучал по тарелке. «Ladies and Gentlemen, во исполнение должности секретаря иностранных дел нашего хора, мой приятный долг ответить нашей очаровательной хозяйке. Я уверен, что выражаю общее чувство говоря, что этот вечер превзошел наши ожидания». Он оглянул стены. «И в этой знакомой обстановке мы себя чувствуем как дома... Но все из нас доехали сюда. А из тех, кто доехали, возможно не все найдут, что они искали. Но все же мы наконец добрались». Он обратился к казакам: «Хлопцы, споем им Многая лета... Задайте тон, Сотник».

Он поднял бокал. «Итак, нашей Belle Gypsy, звезде восшедшей с Востока и засиявшей полным блеском на Западе... И нашим старым друзьям, которых мы встретили затерявшимися в дебрях Парижа и которые встречают нас, более или менее заблудшихся в дебрях Нью-Иорка. Бетти и Джим! Вставайте, это старинный русский обычай... И Джин... и Чарли — да не иссякнет восьмидесяти градусовый родник его блаженства!... И Ронни, вон

там... Подтолкни его, Надя, чтобы все могли полюбоваться... И наконец наш общий друг господин Якубович — современный Моисей, выведший нас из Мексиканской пустыни и в обетованную землю... И всем здесь присутствующим — многая лета!»

Неожиданный взрыв громогласного тройного многолетия заставил вздрогнуть некоторых гостей. Казалось, что весь воздух вибрировал под низким потолком, и струйки табачного дыма трепетали и волновались. Американцы морщились, улыбаясь, а русские лица расплывались в широкую улыбку от знакомых звуков. Те, которые поближе, поглядывали с любопытством на маленького еврейчика, стоящего с благодушной улыбкой вместе с компанией Ронни Брустера, хотя очевидно не принадлежавшего ни к ней, ни к казакам. Все улыбались и аплодировали. Казаки улыбались и кланялись. Только регент хранил прежнее выражение, изобразив подобие улыбки, когда поклонился и сел.

«...Хорошо, что некоторые из них уехали обратно в Париж», сказала Бэтти. «Иначе бы совсем оглушили. Так и думала потолок провалится».

Чарли подлил виски из серебряного кофейника в Игорев бокал. «You're all right, Igor!» объявил он. «Рад приветствовать вас здесь. Лучше этой страны не найдешь. Вам здесь обязательно понравится. В Мексике слишком жарко и сухо. А у нас хотя по закону и сухо, но живительные родники, как видишь, на каждом шагу... Из бутылки нельзя, а из кофейника можно. Потому, что всем известно, что в кофейнике кофе. И на кофе запрещения нет... Слушайте, Игорь, что с вашим регентом? Я помню его по Парижу — все еще как будто на похоронах».

«Он еще не знает этого замечательного американского правила: «Keep smiling».

«Чем скорее, тем лучше... Русские вообще странный народ. Ко всему относятся слишком серьезно — даже к политике... За исключением вас, Игорь. Мы из вас быстро американца сделаем...»

На другом конце стола, Надя опять поднялась и постучала о тарелку. «Ladies and Gentlemen! Давайте попросим казаков еще что нибудь спеть». В ответ были немедленные аплодисменты со всех сторон. «Ну давайте, хлопцы. Вы можете выстроиться около оркестра. Спойте что нибудь, что пели в Париже».

Лукич, проходя мимо нее, ответил: «Обязательно ублажим. Что ни скажешь, все исполним».

Он подошел к Ковалю и сказал ему что-то. Коваль

кивнул. Когда хор выстроился в две шеренги, он выступил вперед, повесил трость за крючек в петлю ремня, как всегда на концерте, и задал тон. В наступившей тишине прозвучал сдержанный церковный напев:

«Господу Богу помолимся,
древнюю быль возвестим.
Так в Соловках нам рассказывал
инок честной Питирим.»

Пока хор тянул последний аккорд, Игорь выступил на пол-шага и продолжал:

«Жили двенадцать разбойников,
жил Кудеяр атаман.
Много разбойнички пролили
крови честных христиан.»

Хор повторил простой напев и опять Игорь продолжал:

«Много добра понаграбили,
многих побили в лесу.
Сам Кудеяр из под Киева
вывез девицу-красу.»

«...Здорово поет этот Игорь», прошептал Чарли, подсев к Джин.

«Чудесно», прошептала она в ответ. «Пожалуй лучше, чем в Париже...» Она повела глазами в сторону Нади. «Кое-кто другой тоже очень интересуется».

«Может быть Ронни лучше брать уроки пения?»

Джин приложила палец к губам, приглашая молчать.

«...Днем с полюбовницей тешился,
ночью злодейства творил.
Вдруг у разбойника лютого
совесть Господь пробудил.»

Прислонившись к стене, Мистер Абрамсон слушал и наблюдал. Он уже решил ангажировать казаков — по крайней мере половину. Будет не так громко, и дешевле. Одно несколько беспокоило его: как насчет этого солиста? Он видел с каким выражением Надя слушала певца. Как ее удивительные глаза широко раскрылись от волнения когда он пропел с особенным чувством, «совесть Господь пробудил.»... Но в таком случае, как

насчет Ронни?... Ронни покуривал папиросу, как будто бы внимательно слушая. Но Мистер Абрамсон, тонкий практический психолог, видел, что Ронни не любитель русского пения. А причинить неприятность такому прибыльному гостю, как Роналд Брустер было очень рискованно...

«...Бросил своих он товарищей,
бросил разбои творить.
Сам Кудеяр в монастырь пошел
Богу и людям служить.»

Хор закончил постепенно затихающим монастырским напевом:

«Так Господу Богу помолимся,
древнюю быль возвестим.
Так в Соловках нам рассказывал
сам Кудеяр — Питирим.»

После соло Игоря, хор пел опять и опять, в ответ на несмолкающие аплодисменты. Наконец по сигналу Нади, один из музыкантов вынес и положил на пол крышку деревянного ящика. «А теперь князь Кирвани!» объявила она. «Знаменитый кавказский танцор с кинжалами!»

Казаки сформировали полукруг. Музыка грянула лезгинку. Князь выпрыгнул из строя, закружился на цыпочках, и пошел вокруг с грацией настоящего кавказца. Надя нагнулась к Ронни и прошептала что то. Ронни улыбнулся, достал из кармана сверток кредиток и положил одну на доску.

«Пятерка!», сказал Вафля. «Ось бачь, из кожи вылезет, а наколет».

«Оно и видно, что Америка», согласился Терентий, рядом с ним.

Продолжая танцевать, князь засовывал кинжалы за пояс и за воротник. Он закусил два зубами и поставил последний кинжал за нижнюю губу. Мистер Абрамсон и гости за ближайшими столиками наблюдали с интересом, что будет дальше. Сидящие подальше встали, чтобы лучше видеть. Под гром аплодисментов, князь пришпилил кредитку первым же кинжалом. Сейчас же полдюжина гостей не поверила, что казак сможет повторить невозможный прием. Деревянная крышка была усеяна кредитками. Нью-Иорк, пересыщенный развлечениями со всего света, еще не видел ничего подобного и был готов платить за новое удовольствие. Казаки знали, что

князь практиковался по целым часам в своей комнате для первой гастроли в Америке. Теперь он не промахнулся ни разу и доска ощетинилась кинжалами.

Когда наконец аплодисменты утихли и князь унес свою добычу, музыка заиграла фокстрот. Игорь пригласил Джин.

«...Игорь, я не знала, что ваш танцор князь».

«Конечно. Все красивые русские или князья или бывшие царские адьютанты».

«Да? А вы кто — князь или адьютант?»

«Я адьютант. В переводе с французского это значит: Прощай, тетя».

Она засмеялась. «Да нет же, Игорь! В этой форме, вам нужно быть по крайней мере графом. Очень романтично! Я буду считать, что вы инкогнито... Вы и Надя, конечно, споете нам, как и в Париже? Отчасти жаль, что вы две гитары расстроились... Это большой секрет, но я вам скажу: свадьба как только Ронни получит развод. Через месяц или два».

«Какой же это секрет, когда все знают! Чарли сказал мне в первый же вечер».

Она взглянула на него пытливо. «Ну и что же?»

«Ну и ничего же. Придется искать другую гитару... Между прочим, не забудьте — я сегодня вас провожаю».

«Неужели? Это для меня новости. Не забудьте, что я сюда пришла с Чарли».

«К тому времени Чарли будет не в состоянии найти ни вашу ни свою квартиру. Мы его посадим в такси, дадим шоферу адрес».

«Игорь Волгин, вы быстро приспосабливаетесь!»

«В Америке — по-американски».

Когда оркестр перестал играть, Надя, танцевавшая с Ронни, не вернулась к столу. Один из музыкантов подал ей гитару богато отделанную перламутром. Пурпурный свет прожектора озарил ее. В его сиянии она стояла чудным видением, настраивая гитару.

Джин воскликнула громко: «Две гитары! Хотим Две гитары!»

«Две гитары!» откликнулся Чарли, еще громче, и захлопал в ладоши.

«Две гитары!» повторил Джим. Бэтти молча взглянула на Ронни. Ронни сидел с замерзшей улыбкой. Надя и Игорь смотрели друг на друга, ни тот ни другой не соглашаясь и не отказывая. Наконец Надя объявила: «Ladies and Gentlemen! Этот замечательный казак, поразивший всех своим пением, был моим партнером в Париже. Попросим чтобы он опять помог мне?»

Под дружные аплодисменты, Игорь встал рядом с Надей. Музыкант протянул ему свою гитару.

«В самом деле хочешь?» спросил Игорь, подстраивая гитару под Надину.

«По требованию публики. Нельзя отказывать».

«Давно не пел. С самого Парижа».

«Ничего. Если позабыл — напомню... Ну давай. Как всегда. Начинай».

Гитары ударили сразу и пошли в капризном пичикато. Глядя на нее в упор, Игорь начал:

«Эх, две гитары, зазвенев...»

Также встретив его взгляд Надя вступила:

«...Жалобно заныли...»

И два голоса слились в один и пошли вместе по перебору струн:

«...Этот памятный напев —
Милый, это ты-ли?
Эх раз, еще раз, еще много, много раз.
Эх раз, еще раз, еще много, много раз!»
Это ты. Я узнаю
ход твой в ре-миноре.
И мелодию твою
в частом переборе...»

Опять зал затих. За столиком около кухни, Мистер Абрамсон поднялся и подошел поближе. Чутким ухом бродвейского знатока он услышал, что это был не простой «номер» каких сотни в Нью-Иорке, а настоящая неподдельная драгоценность, которая может попасться раз в жизни счастливому антрепренеру. Как он смотрел и слушал и наблюдал за реакцией гостей, он ясно видел, что тут было все необходимое для первоклассного «гвоздя сезона» — и голоса и вид в этой живописной комбинации казачьей черкески и стилизованного цыганского костюма — и еще нечто непередаваемое и необъяснимое, чему нельзя научиться, если его нет и нельзя отнять, если есть. Он уже видел объявление большими буквами в газетах: «Две Гитары в Щелкунчике» и чувствовал приятное волнение при мысли, когда лицо Ронни Брустера вошло в поле его зрения. Ронни очевидно слушал без всякого удовольствия. И Мистер Абрамсон полагал, что он знал причину. Понимая достаточно по-русски, он сразу дога-

дался, что «две гитары» пели не столько для публики, сколько для самих себя — переговариваясь шутливо-сентиментальными куплетами и придавая им особенное, только себе понятное значение... Парижские слухи были очевидно не простые сплетни. Было кое-что побольше песни между этой парой!

Мистер Абрамсон быстро прикинул умом. Ронни Брустеру предстоит масса неприятностей: La Belle Gypsy и ее казак обязательно сойдутся опять — или явно или секретно. Во всяком случае, необходимо во что бы то ни стало ангажировать этого казака! В крайнем случае, если даже Надя сдуру променяет миллионы Брустера на песню, а Щелкунчик потеряет Ронни как завсегдатая, хозяин Щелкунчика не будет в убытке. Зная свет, Мистер Абрамсон был уверен, что друзья и знакомые Ронни, и их друзья и знакомые, будут заходить — хотя бы только посмотреть на казака отбившего невесту Рональда Брустера... А если даже ничего не случится и Надя будет вести себя скромно — одного намека в дружеском разговоре с газетным репортером будет достаточно и практические результаты будут те же самые. Придя к такому заключению, Мистер Абрамсон всецело отдался удовольствию послушать «Две гитары».

Наде и Игорю пришлось спеть еще две песни под настойчивые аплодисменты, пока наконец Надя с улыбкой провела пальцем по горлу. Игорь отнес гитары в оркестр, как в Париже. Музыка заиграла. «Можно?» спросил он. В ответ Надя положила руку ему на плечо.

Бэтти танцевала со своим Джимом. «Honey, тебе ничего не кажется?»

«Чему же мне казаться?»

«Я и сама не знаю. Просто так кажется, как будто, что то случится».

«Ерунда! Что же может случиться?»

«Ничего не ерунда! Ты сидишь — рот разинул — и ничего не видишь. У Ронни, например, такое выражение, как будто бы по ошибке выпил уксусу».

«Ты думаешь он ревнует?»

«Тут и думать нечего. Боюсь Ронни попадет из огня да в полымя».

«Я не думаю, что Надя из таких».

«Я не говорю, что она из таких. Надя очаровательная и я ее очень люблю. Но кто их знает — этих русских?... И боюсь я ихнего дирижера. Сидит как привидение. И я заметила он порядочно выпил».

«Ну и что же из того? Всем известно, что казаки здорово пьют. Я видел, как этот усатый Лукич залпом

полстакана выдул — и ничего».

«Выпивка выпивке рознь. Ты не видел его лица, когда эти двое пели? Конечно, нет — ты сам любовался Надей... Смотри, смотри!»

Как раз перед этим, Якубович подсел к сотнику и завязал дружескую беседу. «...Ах, господин Сотник, какая прекрасная вечеринка! Никогда в жизни такого не видел! Вот напишу жене, то она совсем не поверит. А когда приедет, то приведу ее сюда, чтобы сама увидела. Уже начал хлопотать о визе. Мой зять говорит, что месяца через два... А вы видели столько денег князь натанцевал? Девятнадцать долларов! Подумайте — девятнадцать долларов в пять минут! Я сам считал... Прекрасная страна — Америка! Мы все тут быстро разбогатеем... Что? Вы тоже на них смотрите? Весь ресторан любуется на них. Господин Волгин такой красивый казак. А дама просто красавица! Таких только на картинках рисуют. И как они замечательно пели! Семен Вафля говорит они любились в Париже и опять наверно полюбятся. Говорит, господин Волгин из-за нее и в Нью-Иорк приехал».

Коваль, наблюдавший за танцующими как будто в трансе, вдруг повернулся к нему. «Что?» отрезал он.

Его взгляд согнал благодушную улыбку с лица Якубовича. Якубович поспешно отодвинул свой стул. «Ну... ну, я же ничего не сказал!»

«...Ты видел?» сказала Бэтти. «Это же ненормальный человек! Во всяком случае, он пьян! Что нибудь надо сделать...»

«All right. Я поговорю с Игорем».

Надя и Игорь танцевали не обращая внимания ни на что. «...Горка, это кажется мы в первый раз танцуем вместе?»

«Моя очередь признаться как я счастлив?»

«Может быть... Хорошо спел Кудеяра. Одна из моих любимых... Пожалуй еще лучше пел, чем в Париже».

«С выражением пел. Имей в виду, я новый человек. Раскаявшийся грешник в поисках святой обители. Ты не знаеш ли какого-нибудь подходящего уютного монастыря?»

«Да их масса по Бродвею. Некоторые соблюдают устав Веселых Пессимистов, другие Мрачных Оптимистов, а то и просто проживаются на халтуру... Между прочим, ты должен гордиться. Ты наконец убедил меня и я кажется перешла в твою веру».

«Да? То-то мне казалось, что я заметил некоторую перемену».

«К лучшему или к худшему?»

«С этой дистанции несомненно к лучшему...» Он остановился. Усмешка исчезла с его лица. Он обнял ее крепче. «Надя, это же невозможно... Мне все кажется, что мы в Париже... Эти панели на стенах... и ты...»

Ее глаза широко открылись, как всегда в волнении. «Да, Горка... как в Париже... иногда даже страшно становится...»

Их глаза встретились долгим взглядом, как будто бы каждый ожидал чтобы другой сказал решительное слово. Зáтем усмешка вернулась к Игорю. «...Но ведь это только мираж, Надя. Обман зрения. Мы не в Париже, а в Нью-Иорке. И на этот раз, моя теория невероятности провалилась. Вероятное случилось вместо невероятного... Между прочим, я проиграл наше пари. Какой твой discretion?»

Надя закрыла глаза — но не раньше чем Игорю показалось, что он опять заметил знакомое и трогательное выражение обиженного ребенка. Но она тотчас же взглянула на него с репликой его собственной улыбки. «Да, это знаменитое пари... Ольга была очень недовольна. Все говорила, что Горка конечно по глупости, а тебе то — то-есть мне — надо бы быть поумнее. Ну, хорошо, я что-нибудь придумаю. Не беспокойся — жадничать не буду... Мне кажется, что Паша Коваль выглядит лучше, чем в Париже. Вот здесь пообживетесь, к доктору ему обязательно надо идти. Терапию какую нибудь пропишет. Может быть и совсем поправится... Я приглашаю его завтра на чашку чаю. Хочешь придти?»

«К сожалению не могу... По делам службы. Да и не везет мне с этими чаями...»

Надя опустила глаза и ничего не сказала.

Танец окончился. Игорь поцеловал руку Нади и проводил ее к столу. Он уже начал пробираться к своему месту, когда вдруг сотник Коваль преградил ему дорогу. Держась за стул, он уставился на Игоря безумными выпученными глазами. Судорога пробегала по искаженному лицу. «А, Волгин, так вот значит какая политика!... В регенты меня произвел... из милости... Чтобы издеваться надо мной!... Смеяться!... Да не долго посмеешься... сволочь!»

Он быстро выхватил кинжал, но оступился, наткнулся на стул и упал. Скорчившись на полу, он смотрел на Игоря в бессильной отвратительной ярости, шаря рукой по полу за кинжалом.

Прежде чем гости за соседними столиками могли разобрать в чем дело, всевидящее око Мистера Абрамсона уже заметило нежелательное событие. Он немедлен-

но дал сигнал музыкантам продолжать играть. Но когда он подошел, Надя уже распоряжалась. «...Уйди, Игорь!... Все в порядке, Мистер Абрамсон, не беспокойтесь... Помогите ему встать, Лукич... Вы, хлопцы, стойте кругом и не подавайте виду... Да уходи же, Игорь!»

Игорь повернулся и отошел. Лукич посадил Коваля на стул.

«...Паша, что с вами?... Что случилось?»

Коваль схватил ее руку. Он задыхался. «...Не вы... не вы, Надя... Это он...» Он бормотал сквозь стук зубов. «Все кончено... Теперь пойду... Уйду...»

«Ничего, ничего, Паша. Успокойтесь... Я вас отвезу домой... Мы пойдем вместе... Хорошо?»

Он смотрел на нее безумными, но уже не яростными глазами. Зубы перестали стучать, только лицо еще передергивалось судорогой.

Надя обратилась к Ронни: «Вызовите такси. И мою накидку».

«Что вы собираетесь делать Надя?»

«Я пока отвезу его к себе!»

«Надя, я не думаю...»

«Пожалуйста, Ронни!... Кто нибудь принесите его пальто и шапку... Пойдемте, Паша... Лукич, поддерживай... Вы остальные окружите и проводите до двери, как будто бы ни в чем не бывало».

Лукич обнял Коваля с одной стороны. «Ну молодец, Наденька! Распорядилась, как генерал... А вы, Сотник, не журитесь. Что она ни скажет, так и исполняйте... Вот решил разговеться, с точки зрения!»

Окруженные группой казаков, Надя и Лукич повели сотника к двери.

40.

Такси остановилось перед одним из однообразных буро-каменных домов в Западных Семидесятых, не доезжая до набережной Гудзона. Шофер помог полусонному сотнику выбраться из машины и повел его на крыльцо и по лестнице вверх. Надя открыла дверь и повернула электричество. «Вот на эту кушетку», сказала она.

Шофер опустил Коваля на кушетку. «Американцы, которые привыкли, и те не выдерживают зелье, которое здесь продают под видом виски», заметил он. «Если не отменят этот сухой закон, весь народ отравят, как тараканов».

Когда он ушел, Надя сняла манто. Коваль лежал в

неудобной позе, лицом в подушку, с ногами на полу. Она подняла его ноги на кушетку, осторожно повернула голову, поправила подушку и расстегнула воротник бешмета. Сев на край кушетки, она смотрела на него. Коваль спал, дыша тяжелыми, глубокими вздохами, иногда чмокал и стонал... Надя внезапно почувствовала холод. Она пошла к шкафу достать шаль. Проходя мимо градусника на стене, она заметила, что он показывает семьдесят два, нормально по американскому исчислению. Однако ей было холодно, несмотря на шаль. Даже руки задрожали. Она достала из чуланчика бутылку коньяку, налила половину маленького стаканчика и дополнила горячей водой из крана. Все еще дрожа, она забралась с ногами в большое кресло и закуталась шалью. «...Не буду... не буду плакать!» прошептала она.

Теплота коньяку постепенно согрела. Дрожь прекратилась. Огромная усталость пришла вместо нее. Только теперь Надя увидела, что не было ей покою с тех пор, когда Бэтти Дэвис прочла ей по телефону письмо Игоря Джиму. Хор застрял на границе — повидимому безнадежно, судя по фантастическому проэкту излагаемому Игорем. Он просил Джима снестись с каким-то еврейским театральным агентом, чей дальний родственник или присоединился или собирался присоединиться к хору. Раньше, чем Джим собрался ответить, пришло другое письмо, извещающее о смерти регента, разделе хора и о производстве Павла Коваля. Пока что, хор возвращался в Мексику, но успех фантастического плана сделался еще более необходим. Надя знала лучше, чем ее американские друзья отчаянное положение хора: группа казаков в чужой стране, без языка, без друзей. И безалаберный Горка хватающийся за соломинку... Ей пришло в голову, что он повидимому исполнил ее последнюю просьбу в Париже — присматривать за Пашей. Это было и приятно и в то-же время беспокойно. Она не хотела об этом думать. Не хотела, чтобы кто нибудь знал ее тревогу. Но повидимому это всем было ясно потому, что они все старались уверить ее: «Не беспокойтесь, Надя. Дело на мази. Мы их вытащим оттуда **by hook or crook.** Она точно не знала всех деталей, но подозревала, что «corners had been cut» благодаря профессиональной ловкости зятей Якубовича и влиятельным знакомствам Дэвисов и Брустеров. Хотя Ронни сам об этом не заговаривал, а она не спрашивала, Надя знала, что Ронни принимал деятельное участие в проэкте «Cossack liberation», по выражению Чарли Армстронга. И это взаимное умалчивание вопроса интересующего обоих было неловко и отчасти тревожно...

...И этот прием, который она так старательно приготовляла!... Даже после того вечера, когда он — ожидаемый и неожиданный — явился в Щелкунчик, такой-же как в Париже, в демисезонном пальто и широкополой черной шляпе — только слегка загорелый под Мексиканским солнцем... Пришел, оглядел с удивлением знакомые панели, позабавил всех рассказами о Мексике и опять ушел!... Свидание, которое так волновало оказалось до странности простым... Ни напоминания, ни намека... Как будто просто знакомые встретились и провели время... Умом она сознавала, что так и лучше, но досадное чувство разочарования и обиды оставалось... Хотя-бы одно слово. Взгляд!...

...А может быть она ошиблась?... Тот первый момент, когда она думала, что он обнимет ее и сама чуть не бросилась ему на шею, но во время спохватилась и протянула обе руки — с кольцом Ронни на безымянном пальце левой руки... Была-ли это мимолетная перемена на его лице — быстрый взгляд — вопросительный и пораженный? Такой быстрый, что она не была уверена... Она не хотела думать. Так или иначе, лучше не знать... И она упрямо продолжала хлопотать о приеме. Обсуждала с Абрамсоном где посадить казаков и чем угодить. Порешили на boeut a la Stroganoff. Она знала, что он согласился на прием не столько из любезности, сколько для рекламы. Со своей стороны, ей хотелось и нужно было сделать что нибудь для казаков, а через них для Паши и Игоря... И вот действительно сделала!

Она опять съежилась от ужаса при воспоминании о страшной маске в которую превратилось лицо Коваля... Почему? Что произошло между ними? И как раз когда она была сама не своя... Этот невольный трепет когда знакомый голос поднялся из аккорда хора... И опять когда их голоса слились под перебор гитар: «...этот памятный напев — милый, это ты-ли?» ...Сумасшедший порыв ответить, «Да, Горка, это я, если и ты!». Как она позволила себе отдаться этому обману? И потом придти в себя под насмешливой улыбкой, «Моя теория невероятности провалилась... Случилось вероятное... Какой твой discretion?». И она ненавидела его — и себя — и все, что свело их...

...Неужели нет возможности не думать об этом? Вернуться к тем последним неделям в Париже, когда Ронни один был с ней без всяких выходцев из прошлого? Когда она думала, что была счастлива... Однако правда было то, что все изменилось с тех пор, как она вошла в первый раз в Нью-Иоркский Щелкунчик и ахнула при виде

танцующих бородатых мужиков и всей остальной знакомой сказочной компании...

Надя устало поднялась, подошла к окну. Знакомые фасады домов через улицу. Чей-то автомобиль... Слякоть от вчерашнего снега, вероятно последнего этой зимой. Рядом набережная и холодный Гудзон готовый соединиться с океаном. Она подумала о льдинах, которые она видела на-днях, проезжая с Ронни по набережной. Было странно, что льдины плыли вверх по реке. Ронни объяснил, что это морской прилив гонит реку и льдины назад... Нужно быть особенно ласковой с Ронни после всего случившегося! Ронни замечательный человек. С ним так удобно — нет тревожных воспоминаний. Он никогда не заговаривал о прошлом — ни о своем, ни о ее. Только о их будущем вместе... Как странно! Еще года не прошло с тех пор, как она встретила этих троих. Один неожиданно явившийся из прошлого, как выходец с того света. Другой — хваставшийся, что он действительно выходец с того света. Призрак воплощенный только в ее воображении — он почему-то очаровал ее. И третий — чужестранец с которым она познакомилась как с «заблудшим американцем», завсегдатаем парижских ресторанов, за которого она теперь выходит замуж... Теория невероятности?...

Надя отвернулась от окна, оглянула комнату. Это ее собственное гнездышко, после лет скитаний. Далеко от комнатки на Поммернштрассе в Берлине, где она ютилась с тетей Лизой. И ничего похожего на квартиру Ольги и Капитуся Парских на вершине «Арарата». Одно напоминание о прежнем — Турецкая шаль, подарок Ольги, покрывающая мамину гитару на пианино, рядом с большой фотографией Ронни в серебряной рамке. Она хранила гитару дома после того, как Ронни подарил ей другую, с перламутровой отделкой. Ронни сказал, что маминой гитаре не место в Бродвейском клубе — и она любила его за такую вдумчивость. Он намекал, что и маминой дочке тоже не место в Бродвейском клубе и что он знает небольшой, уютный penthouse, как-раз подходящий для нее. На это она смеялась и отвечала, что пентхаузы ей не по-карману, но у нее есть на примете один с большим пентхаузом, которого она собирается подцепить в мужья. А пока-что, благодарю вас, мамина дочка очень довольна своим гнездышком...

Все было свое, знакомое. И вдруг все стало другим и странным с Павлом Ковалем спавшим на кушетке. Как тогда в Берлине, когда она прочла запоем пьесы Чехова

и было трудно вернуться из мира прошлого, который был единственным реальным миром, в окружающий мир. И теперь, как случилось, что фотография американца Ронни стояла вместе с маминой гитарой?... Казаки... Игорь... Павел... Волна прошлого набежала, смыла настоящее как замок из песка на пляже, и отхлынула — оставив ее одну с Павлом Ковалем...

Тонкая струйка слюны висела из угла рта Коваля. Надя пошла в уборную, принесла полотенце и вытерла его рот, как она делала сотням раненых в госпиталях. Затем она опять села и смотрела на него... Это был Паша Коваль за которого она чуть не вышла замуж в Москве! Который играл ей Романс Рубинштейна перед последним предложением и последние слова которого были. «Если что случится, знай что я любил тебя как можно любить только один раз». И тот-же, но не тот Павел Коваль за которого ее сердце болело в Париже... И наконец эта страшная маска, которая привела ее в ужас в Нью-Йорке... Что могло случиться в Мексике чтобы довести его до такого поступка? И что-бы ни случилось — разве можно так забыться? Что американцы подумают о русских?... Все перепуталось, связалось в невероятный узел, который она была бессильна развязать. Она сама смертельно устала и хотела-бы лечь на эту кушетку и заснуть не раздеваясь...

Шум улицы утих. Надя слышала только глухой подземный гул — непрестанное эхо стального грохота собвея в твердой скале. Автомобиль прошел, остановился. Дверь хлопнула внизу. Быстрые шаги по лестнице и знакомый стук в дверь — один и два коротких. Она встала и открыла дверь. «Пожалуйста не шуми», прошептала она, приложив палец к губам. «Я вероятно не вернусь в ресторан».

Челюсти Ронни сжались при виде Коваля на кушетке. «Ресторан закрыт!» отрезал он.

Она взглянула на часы. «Не может быть! Три часа! Я совсем не знала, что так поздно».

«Да? Ты уверена, что не позабыла еще кое-что другое? Что он — ночевать здесь будет?»

«Нет... я не знаю... Please, Ронни, не так громко. Он спит».

«I don't give a damn! Ему здесь не место спать. Если бы он понимал по-английски, я бы ему сказал пару слов! Он допился до сумасшествия! Я не могу оставить тебя с ним!»

«Нет, нет, Ронни! Не беспокойся. Ему просто нужно

отдохнуть... Он мой старый друг».

«Оно и видно!»

Хлесткий сарказм его слов заставил ее выпрямиться. Она выступила на площадку и закрыла дверь за собой. «Ронни, что ты хочешь сказать?»

«Я хочу сказать, что это может быть старинный русский обычай, но мы в Америке!»

«Ронни, ты с ума сошел?... О чем ты говоришь? Зачем ты пришел?»

«Узнать, что с тобой случилось».

«Разве нет телефона?»

Их взгляды скрестились. «All-right! We may as well have it out! Ты сама не своя с тех пор, как приехали эти твои казаки! Да и раньше, когда Джим получил письмо от Волгина... Ты думаешь — живешь между слепых?... Или ты думаешь, я слепой дурак?... Не заметил твоего поведения? ...Как ты смотрела на него, когда он пел?... Как вы пели вместе?...»

«Ради Бога, Ронни! Только тебя не хватало мучить меня!»

«При чем тут я?... Вот именно не при чем... Куда-же нам, иностранцам, гоняться за русскими? Но имей в виду — я второй скрипкой никому не буду... Спокойной ночи!»

Он повернулся и побежал вниз. Не оглядываясь, он захлопнул входную дверь. Надя слышала громкий стук двери автомобиля и сердитый треск мотора. Она дослушала его затихающий звук, затем медленно открыла дверь.

Коваль сидел на кушетке, опустив голову и закрыв лицо руками. При ее входе он поднял голову и сделал усилие встать, но она жестом пригласила его сидеть, наблюдая за ним с тревогой.

«Я доставил вам массу неприятностей», сказал он без всякого выражения, как будто-бы сообщая давно известный факт.

«Ничего, ничего, Паша... Как вы себя чувствуете?»

«Ничего... Можно попросить стакан воды?»

Он жадно выпил весь стакан. Она с облегчением заметила, что он повидимому совершенно протрезвился. Безумный блеск глаз исчез. Черты лица размякли. «Пора мне идти. И так засиделся. Который час?»

«Четвертый».

«Уже? Скоро светать будет...»

«Я поступил по-свински, Надя!» вдруг продолжал он изменившимся голосом. «Испортил ваш праздник! Все испортил!... Простите меня, не сердитесь! Этого больше

не случится».

Она была тронута искренностью его признания и умоляющим взглядом.

«Не будем об этом говорить, Паша. Я н вас не сержусь».

Он ответил необычайно кроткой улыбкой. «Спасибо, Надя». Он оглядел комнату. «Хорошее у вас место. Не чета парижскому».

«Да, немножко получше. Обязательно заходите почаще».

Он смотрел на нее новым взглядом, тревожным в немом красноречии. «Спасибо за приглашение... Ты счастлива, Надя?»

Она только смотрела на него, пораженная вопросом и внезапным переходом на давно забытое «ты».

Он продолжал: «Будь счастлива, Надя. Кто нибудь должен же быть счастлив из нашей братии. И я хочу чтобы это была ты». Он поднялся. «Пора...»

«Зачем я это сделал?» прибавил он так-же неожиданно, с сердцем. «Дурака свалял и тебя подвел!... Скажи Волгину, я ошибся... я неправ... что прошу прощения...»

Он говорил как будто каждое слово было усилие. Она опять встревожилась. «Я уверена Игорь поймет, если вы... если ты ему скажешь».

«Нет, уж лучше ты... Ты знала меня, когда меня все звали Пашей... Когда и я был человеком...

«Ничего, ничего», остановил он ее протест. «Не будем говорить об этом. Но скажи ему, я очень сожалею... Да он и сам знает».

Он накинул пальто и подобрал шапку. Она оглянулась, ища его трость, но вспомнила, что ее оставили в ресторане. «Паша, твоя трость...»

Он ответил как будто думая о чем-то другом. «Да?... Вероятно забыли... У меня запасная есть... Да и не особенно нужна».

«Подожди, я вызову такси. Придет через несколько минут». Она вызвала номер и дала свой адрес. «Я напишу твой адрес на бумажке. Просто дай шоферу... Деньги на дорогу есть?»

«Есть деньги», ответил он так-же рассеянно.

Оба помолчали. «Это старая гитара?» спросил он, смотря на гриф выдающийся из под шали. «Можно посмотреть?»

Она подала ему гитару. «Храню теперь ее дома. Для ресторана есть другая».

Он осмотрел ее со всех сторон, поворачивая осторожно, как драгоценную вазу. «Я помню эту царапину...»

Провел пальцем по струнам. Они ответили мягким арпеджио. «Береги ее, Надя. Это музейная редкость. Прошла огонь и воду и революцию... Та же самая гитара... Я вижу как сейчас вечеринки в Москве... Как странно, Надя. Все изменилось, а вот гитара осталась та же самая... А струны тоже московские?»

«Нет, куда же им так долго жить! Последняя московская струна оборвалась в Париже...» Она спохватилась, но слишком поздно, и закусила губу.

Но он ничего не заметил и продолжал рассматривать гитару. «А почтенная Дракониха тоже цела?»

«Конечно! Хочешь посмотреть?» Она поспешила в спальню, вернулась с Китайской шкатулкой. Он взял ее и улыбнулся огнедышащему дракону.

«Нерушимая Дракониха! Всех нас переживет». Он открыл крышку и Надя опять сдержала дыхание. Два билета в Большой театр, сколотые булавкой, лежали на самом верху. Она о них совершенно забыла. Но Коваль только приподнял их и опять положил на место. Он взял струну, свернутую в кружок, потемневшую и со следами ржавчины. «Это струна?» спросил он, поднимая глаза.

Надя молча кивнула. Два коротких автомобильных гудка раздались на улице. Коваль положил струну, закрыл шкатулку и положил ее на столик около кушетки. «Зачем дразнить и мучить себя, Надя?» сказал он просто. «Оборванной струне уж больше не играть».

Он взял и поцеловал ее руку. «Всего хорошего, Надя. Еще раз — прости и не сердись...

«Не стой здесь, простудиться можешь», прибавил он когда она вышла за двери проводить его.

Она смотрела, как он медленно спускался по лестнице, держась за перила. У входной двери он обернулся и козырнул. Ей показалось, что он хотел что то сказать, но он ничего не сказал и закрыл дверь за собой. Надя побежала к окну. В мертвом свете электрического фонаря она видела как он осторожно ковылял по слякоти тротуара. Шофер открыл дверь такси. Держась за дверь, Коваль взглянул вверх. Надя замахала рукой. Он опять отдал честь, нагнулся, пробираясь в такси. Дверь закрылась, машина сразу ринулась вперед.

Надя пошла в спальню, сняла цыганский костюм и села к туалетному зеркалу. Солитер на кольце Ронни поймал искру света и блеснул ей в глаза. Она сняла кольцо, достала его бархатную коробочку, положила его туда и убрала в дальний угол выдвижного ящика. Из зеркала, знакомое лицо смотрело на нее усталыми и измученными глазами. Они смотрели друг на друга пока и зеркало

и лицо в нем не затуманились. Надя уронила голову на подзеркальник и дала волю слезам.

Утром, настойчивый звонок телефона разбудил ее. Накинув халатик, она побежала в гостинную и подняла приемник. «Hello?»

«Надя, это я, Игорь... В котором часу Коваль ушел от тебя?»

«Около половины четвертого... Почему?»

«Тут такое дело... Его черкеска дома, а пальто и шапки нет... И его тоже нет».

«Но я же отправила его домой совершенно трезвым...» Вдруг точно железные клещи впились в ее сердце и жуткий холод пополз по спине. «Игорь!» вскрикнула она в телефон. «Игорь!...»

После бесконечного долгого молчания, голос Игоря вернулся, далекий и заглушенный: «...Я не знаю... Пока подожди... Но я для всякого случая уведомил полицию».

41.

Непривычная тишина разбудила Надю. Не открывая глаз, она прислушивалась к знакомому гулу прорванному иногда резкими гудками автомобилей. Вместо этого была тишина и что то похожее на кудахтанье курицы. Сквозь полузакрытые ресницы она видела окно с кружевной занавеской, голое дерево в окне и серое небо... Вдруг она увидела Стрига и вспомнила. Это не ее комната и она не в Нью-Иорке. Она убежала из Нью-Иорка и теперь она у Бэтти и Джима Дэвисов, в их Уголке Техаса. Она отвернулась чтобы не видеть Стрига, закрылась одеялом, стараясь удержать тепло и уют постели и не возвращаться к такому дню, как вчера.

Но новый день наступил и не хотел уходить — ни он, ни память о вчерашнем дне. Она пронеслась в несколько секунд... История исчезновения Коваля выяснилась быстро. Сторож на одной пристани донес в полицию, что он видел перед самым рассветом человека бросившегося или упавшего в реку с соседней пристани. Он не слышал никакого шуму или крика о помощи. Прибежав на пристань, он нашел только каракулевую шапку странной формы. Игорь узнал кабардинку Коваля. В то же время полиция проследила вожатого такси. Он доложил, что доставил казака по указанному адресу. Тот дал ему два доллара и сказал, чтобы подождал. Потом скоро вышел опять и сказал одно слово, river. Шофер довез

его до набережной и там оставил. Больше он ничего не знал. Было очевидно, что Коваль зачем то вернулся к себе, оставил черкеску и поехал к реке.

Надя знала правду даже раньше, чем Игорь позвонил опять. Вчерашняя сцена разыгралась опять — теперь в ее истинном значении. Надя припоминала каждое слово Коваля и каждое слово указывало на одно: он решил раньше, чем уехал от нее... Может быть когда проснулся и услышал сердитый голос Ронни за дверью... И это он был та оборванная струна которой уже больше не играть!... В теплой постели Надя дрожала вспоминая льдины ползущие вверх по Гудзону... Паша Коваль без шапки на краю пустой пристани... Всплеск воды. Холод проникающий до мозга костей... Может быть, он передумал в последний момент... Пытался подняться... Ударился головой о ледяную крышу... Безмолвие черной воды...

Сыщик из полиции зашел спросить несколько вопросов — просто для формы, как он объяснил. Он уже повидимому все знал от Игоря, даже то, что Коваль был контужен на войне. Он сказал сочувственно, что сам был на войне и знает, что контузии часто хуже чем раны. Нельзя сказать вперед, какую штуку может выкинуть контуженный человек... Сыщик вскоре ушел, посоветовав Наде избегать газетных репортеров. «Конечно, если хотите, это хорошая реклама на Бродвее», прибавил он с многозначительной улыбкой. Надя не хотела такой рекламы. Она заперла дверь и отвечала незнакомым голосам в телефон, что «Miss Kirina is not home.»

Бэтти позвонила после полудня. Она уже как то узнала и была страшно поражена. «...Вы, бедняжка! Это же ужасно!... Слушайте, я вас увезу к нам, пока все не успокоится. Репортеры замучают вас. Я сейчас в городе и заеду за вами... Конечно, если Ронни не придумает ничего лучшего».

«Я совершенно не знаю, придумает он что-нибудь, или нет».

«Разве вы не видели его?»

«Видела вчера... Я не знаю где он».

После небольшой паузы Бэтти спросила осторожно: «Надя, я не хочу совать нос не в свое дело, но тут не до церемоний... что-нибудь случилось?»

«Боюсь, что да».

«Ну, в таком случае нечего и разговаривать! Обязательно к нам. Вам одной нельзя оставаться. Позвоните Абрамсону и сидите пока не приеду... И не возражайте — у нас места много и свежий воздух хорош для здоровья».

По дороге на Long Island Бэтти деликатно не расспрашивала ни о чем. Поэтому Надя сама ей все рассказала. Бэтти слушала, умело ведя машину. «Какая жалость! Он вероятно совсем запутался. Джим говорит, много наших солдат в госпиталях, в таком же положении. Некоторые поправляются... А Ронни вернется, не беспокойтесь». Надя не беспокоилась. Она даже не думала вернется Ронни или нет. Теперь когда она знала, что не о чем беспокоиться на два-три дня, глубокая усталость овладела ей — равнодушие ко всему. И когда она рассказывала Бэтти о происшедшем, это как будто было что то чужое, о чем она где то читала и теперь рассказывала...

Сознание отчужденности продолжалось и когда они приехали в Уголок Техаса. Все еще казалось, что она смотрит на себя действующей на экране кинематографа, а не действительно живущей. Только когда Бэтти проводила ее в ее комнату — вид Стрига нарушил апатию. Стриг сидел на книжной подставке с Монахиней на другой стороне. Они подпирали три книги, стоящие между ними. «Знакомая пара?» спросила Бэтти, видя Надю остановившейся около них. «Мы с Джимом видели их на Соборе Богоматери и подцепили эти подставки в лавочке недалеко. Забавная пара».

Бэтти настояла чтобы Надя легла отдохнуть. Лежа на постели, Надя смотрела на Стрига и Монахиню и опять как на экране видела себя и Игоря с ними, в один весенний день в Париже. Живописная и эффектная сцена, но она проходила перед ней не оставляя никакого волнения... Прибытие Джима из конторы в городе разбудило ее. Все звуки казались громче вдали от гула подземных поездов. Джим, тоже из деликатности, сказал только, «I'm very sorry to hear that, Nadya,» и был гостеприимным хозяином. После ужина,, он и Бэтти учили ее играть в «gin-rummy». И все время было это странное чувство, что она наблюдает за собой сидящей за обеденным или карточным столом вместо того, чтобы присутствовать там...

Теперь когда она вполне проснулась, Надя подумала, что комната напоминала почему то ее спальню у тети Лизы в Риге. Не обстановка, не общий вид, а что то неуловимое, чего не было в ее спальне в Нью-Иорке. Особенная чистота и свежесть... Потому, что эта комната, как и у тети Лизы, никогда не сдавалась жильцам, а была только для семьи и для гостей. Мало кто спал в этой постели — не как в ее Нью-Иоркской через которую прошли десятки и может быть сотни пар, законных и незаконных. Эта комната и дом принадлежали молодоженам,

которых Надя знала как завсегдатаев парижских кабаков и которые оказались обыкновенными очень хорошими людьми, иногда посещающими — как и все — Нью-Иоркские кабарэ и рестораны... С другой стороны, они встретили ее — Надю Кирину — как певицу в Парижском кабарэ и теперь она для них певица в Нью-Иоркском кабарэ...

Такой ее знает и Ронни и его семья! Она встретила чету Брустеров во временной квартире Ронни: «pent-house» на одном из небоскребов. Очень милая пара — и очень осторожная в обращении с будущими невестами их единственного сына и наследника. Она знала, и Ронни сказал ей после, что она им очень понравилась для первого знакомства. Она тоже знала, что современем Брустеры примут ее как свою, как и бароны и баронессы фон-Остранд приняли в свое время тетю Лизу. Правда, ее положение не совсем такое, как тети Лизы. Хотя тетя Лиза не принадлежала ни к высшему ни к богатому обществу, она вышла из хорошей семьи, которую многие знали и о которой не ходило никаких сплетней. Она же, Надя Кирина, La Belle Gypsy, не принадлежала ни к какому обществу и ее никто не знал, кроме немногих никому неизвестных русских эмигрантов. Поэтому она не обижалась на осторожность Брустеров, наученных горьким опытом. Она решила про себя, что Брустеры вероятно гадают, сколько времени продолжится это новое увлечение Ронни и сколько будет стоить откупиться...

...Надя опять оглянула комнату. Ронни Брустер даст своей жене все это и больше. Много больше, если она захочет. В Париже она не имела понятия о богатстве Ронни, или вернее его отца. Теперь она была рада, что ей не нужно было просить его ни о чем. Она ему ничем не обязана. Это была честная сделка!...

В ненарушимой тишине загородного дома, ее жизнь, начиная с Парижа, представлялась совершенно невероятной цепью случайностей и совпадений — как лоскутное одеяло, сшитое из разных кусков, как попало, без всякого рисунка. Случайность привела Игоря Волгина в ресторан где она пела. По невозможному совпадению он попал в один хор с Павлом Ковалем. Шайка заблудших Американских туристов и Ронни с ними. И как по расписанию — появление Павла Коваля в ту последнюю ночь у Ольги... К лучшему или худшему, знал он или не знал, Павел Коваль все время стоял между ними... Он был невольная причина всего, что случилось... или что не случилось...

Ольга, сама того не зная, прибавила свой цветной

лоскуток к пестрому узору. «Не подумай чего нибудь, Надя», сказала Ольга однажды. «Ты знаешь как мы тебя любим и нам с тобою хорошо. Но может быть ты и сама об этом думала, да не хочешь нас обидеть. Но ведь ты теперь делаешься звездой. Тебя приглашают в лучшие дома. И вероятно многим твоим провожателям странно видеть где ты живешь. Это плохая реклама... Мы и сами переехали бы из этой дыры, если бы смогли. Может Бог даст... Ты подумай и делай как хочешь. В одном городе — все равно будем часто видеться».

Между тем Ронни вернулся. Правда, он не показывался больше недели. Может быть узнал, что казаки уехали опять. Она была рада увидеть Ронни. Он был хороший компаньон и джентльмэн. Она подозревала почему он остался в Париже и это было приятно и отчасти лестно. Она обратила в шутку неудачную полночную чашку чаю и дала понять, не говоря прямо, что такое недоразумение больше не повторится. Эффект на Ронни был очевиден.

На следующей встрече она спросила его, больше в шутку, не знает ли он какого нибудь уютного «pied-a-terre». Он отыскал один такой с поразительной быстротой. И вполне ей по средствам. Правда, после она подозревала, что у него был добавочный уговор с хозяином, но тогда было уже все равно...

...И вот пришел день новоселья. Гости пришли и ушли рано: Ольга и Капитусь, весь Щелкунчик и некоторые из Москвы, которая была открыта весь день. Открыли ящик шампанского, подарок от Ронни для торжественного случая. И Ольга принесла письмо от Игоря! На ее прежний адрес. Пока все были заняты шампанским, она поспешила в спальню, разорвала конверт дрожащими от нетерпения руками... Читая, она чувствовала как кровь прилила к лицу, а ноги вдруг ослабли так, что она должна была сесть. Письмо было очень интересное: юмористическое описание казаков в Мексике — нечто вроде Забавных похождений Пошехонцев, какие продавали на старорежимных ярмарках... И больше ничего!... Через минуту она вышла к гостям и объявила: «Вот подарок от Горки. Слушайте!» Письмо вызвало дружное приветствие и сопровождалось громким смехом. «Горка все такой же!» Заметила Бобо с восхищением, подогретым шампанским. «Пистолет мальчишка! Если бы мой — ни за что не отпустила бы!» Бобо просто болтала, но намек был очевиден. Надя поймала быстрый взгляд Китти.

...Это письмо положило конец одному и начало другому. Оно открыло рану и рана болела и текла кровью.

Не сознаваясь себе, Надя знала как она ждала письма от Игоря и придумывала всякие извинения за долгое молчание... Бобо была права: Горка все тот же, как и всегда!... В тот вечер, Ронни проводил ее на новую квартиру. Конечно, нужно было пригласить его на новоселье. Два бокала шампанского ослабили напряжение под которым она была весь день и осталась только приятная усталость. Когда Ронни обнял ее и прошептал: «Надя, я не могу больше так продолжать... Я пока еще не могу просить тебя быть моей женой, но я люблю и хочу тебя больше всего на свете», она просто положила голову ему на плечо... В эту ночь, и с тех пор, она уже не была одинокой и ни о чем больше не нужно было думать...

...А на другой день оборвалась последняя Московская струна! Она оборвалась с коротким сухим треском, когда она подстраивала ее перед выступлением. Конец хлестнул ее слегка по щеке. Конечно, совпадение. Но может быть и примета — верная и острая! Она попросила одного из музыкантов натянуть новую струну и сохранить старую. Свернутую в кружок, она положила ее в Шкатулку-Дракониху, рядом с двумя билетами из Большого Театра. На этот раз она не взглянула на завядшие фиалки в восковой бумаге под старыми письмами. Новое письмо она бросила в корзину. И не открывала Дракониху, пока Павел Коваль не попросил посмотреть ее.

Лежа в постели — гостья у Бэтти Дэвис — Надя перелистывала страницы своей истории, как французские и американские романы, которые она иногда читала. Теперь она заметила, что все время смотрела на Стрига. Даже в миниатюре, Стриг сохранял свою коварную усмешку. Он видел — и вероятно знал наперед — что случилось с ней в Париже и потом в Нью-Иорке.. И подсмеивался... Внезапно Наде стало совершенно ясно, что ее история не особенно интересная, далеко не оригинальна, по-любительски сшита и даже слегка пошловата. Просто бульварный роман с шаблонным разбитым сердцем, ищущим исцеления! Хуже всего, не было никакой морали и цели. Просто так случилось или было подделано автором — вот этим самым Стригом, теперь довольным своей шуточкой!

Надя закрыла лицо в подушку в суеверном страхе — чтобы не видеть Стрига и спрятаться от него. Зачем они пошли тогда в Собор Богоматери? И зачем она смеялась над Стригом? Если бы Стриг не видел их тогда счастливыми и смеющимися, может быть он не обратил бы на них внимания, оставил в покое и не разыгрывал бы над

ними шуток пресыщенного шута, который все уже видел раньше и для которого нет ничего нового под солнцем...

Надя села в постели и старалась преодолеть слабость. Нельзя разнюниваться в гостях! Бэтти может войти каждую минуту... И пока она еще утирала слезы, в дверь постучались и голова Бэтти, повязанная по утреннему платком с большим узлом позади, высунулась из-за полуоткрытой двери. «Good morning, Nadya. Сейчас принесу завтрак».

Надя побежала в уборную освежить лицо холодной водой. Бэтти скоро вернулась неся поднос с кофейником, чашкой, стаканом апельсинного соку, поджаренным хлебом и поджаренными ломтиками сала.

Надя была тронута до слез. «Oh, Betty! Зачем же вы! Ведь я могла бы придти вниз!»

«Think nothing of it. Техасское гостеприимство. Когда мы принимаем знатных иностранцев, мы их действительно принимаем».

Надя собиралась ответить такой же шуткой, но тяжелый комок подступил к горлу и остановился. Она смотрела на Бэтти, не в состоянии ни говорить ни остановить слезы.

Бэтти ответила понимающей улыбкой. «Поплачьте себе, go ahead. Это помогает».

Комок наконец разошелся. Надя опять утерла слезы краем простыни. «Excuse me. Это в первый раз после России я в комнате, которая не сдается квартирантам... Это трудно объяснить...»

«Не нужно объяснять. Я хоть не знаю, но догадываюсь... Вероятно мы здесь в Америке и не подозреваем, как нам повезло... Ну, кушай пока все не замерзло, а после поговорим».

Надя послушно выпила сок и отламывала кусочки поджаренного хлеба и сальца. «Вы хотели что-то спросить?»

Бэтти повидимому не знала как начать. «Вот не знаю, что и делать...

«Это Ронни!» она докончила с досадой. «Совсем рехнулся! Телефонил вчера вечером. Я приняла по отводке в спальне, чтобы вы не знали... Он узнал из газет. Говорит, что звонил и к вам и в ресторан. Наконец в панике позвонил нам... Хотел сейчас же приехать. Насилу отговорила... Пригрозила, что собаку с цепи спущу, а вам необходим отдых... Сегодня уже опять звонил, справлялся... Говорит, обязательно хочет видеть вас и приедет к полудню. А собаку, если придется, застрелит... Правда, собаки у нас никакой нет... Вот и попала в положение. И вас

выдать не хочу и его выгнать не могу... Может быть хотите взять машину и прокатиться, пока я от него не отделаюсь. Или в своей комнате сидите, а я скажу, что вы уже уехали... Такая жалость, погода плохая для прогулки... Советую лучше всего машину взять».

Заботливость Бэтти растрогала и вместе рассмешила Надю. «Да я и править не умею! И вовсе не собираюсь убегать от Ронни. Мне только очень неприятно, что я доставила вам столько неприятности. Я вам всегда буду благодарна... Если вы или кто нибудь довезете меня до станции, я возьму поезд и сама доберусь до дому».

Бэтти подошла и обняла ее. «You are all right, Nadya. Но я вас сегодня не отпущу. Может быть завтра. А пока что развлекайтесь как хотите. Радио послушайте. Журналы есть всякие... Слушайте, научите меня и мою Мэри-Лу готовить блинчики! Я давно собиралась вас спросить. Мы их сегодня попробуем на Ронни. Если выживет, значит съедобные!»

Сознание отчужденности продолжалось несмотря на очевидное старание Бэтти развеселить гостью. В кухне, Надя учила Бэтти и ее кухарку, толстую и постоянно смеющуюся негритянку, как заваривать блинчики и на сколько нагревать сковороду и сколько наливать теста, чтобы выходило тонко. Первый блин, как полагается, вышел комом — на заразительный смех Мэри-Лу. Второй Надя начинила вареньем, свернула в трубочку, посыпала сахарной пудрой и разрезала на три части. Они все попробовали.

«Да это же сенсация!» воскликнула Бэтти. «Кто сказал, что русские не изобретательны? Все мои знакомые позеленеют от зависти! Я им, конечно, рецепта не дам. Скажу, что он мне был передан под строжайшим секретом бывшей фрейлиной двора, которая сама приготовляла их для царской семьи». Бэтти восхитилась еще больше, когда Надя сообщила, что блинчики можно подавать не только с вареньем, а и с другими вкусными вещами, как например анчоусы, икра или кому что по вкусу. Особенно если со сметаной.

«Что такое сметана?» спросила Бэтти.

«Это вроде кислых сливок», объяснила Надя, не зная как точно перевести сметану на английский язык.

Мэри-Лу всплеснула руками. «Sakes alive, Miss Nadya! Где же это видано, чтобы прокислыми сливками портить такое яство! Мы в нашей стране прокислое свиньям выливаем!»

Зараженная ее смехом, Надя тоже смеялась и пыталась объяснить, что сметана хотя и кислые сливки, но не

прокислые, а специально приготовленные. Мэри-Лу недоверчиво качала головой. Бэтти, более предприимчивая, сказала, что без риску жизнь очень скучна и попросила Надю узнать где в городе можно найти сметану...

...Стоя у окна в ожидании приезда Ронни, Надя смотрела на серое небо, голые деревья, мокрую землю и стебли прошлогодних цветов в саду. Она и раньше бывала в имении Дэвисов, но это было в первый раз, что она ночевала здесь. Она знала, что за садом небольшой огород с несколькими грядками огурцов, бобов и помидор. Бэтти солила несколько банок огурцов и хвасталась, что все овощи подаются на стол с собственных плантаций. Из-за деревьев виднелись крыши сарая и хлева где держались две верховые лошади, дюжина куриц и козел с козой. Бэтти вычитала в одном дамском журнале, что козлиное молоко очень полезно для здоровья и купила козлов, имея в виду Джима. Однако Джим, хотя и без ума от Бэтти и готовый для нее на что угодно — или почти на все — решительно отказался от козлиного молока, даже если разбавленного виски. Козлы, между тем, остались и бродили по двору, иногда заходя в сад и поедая цветы, пока кто нибудь их не выгонял...

Все это было совершенно чужое, не имеющее к ней никакого отношения. С ней или без нее, окружающее оставалось бы точно таким же. И было несообразно, что через день после того, как Павел хотел убить Игоря и потом сам утопился, она учила американку Бэтти готовить блинчики... Вероятно так же несообразно как кислые сливки негритянке Мэри-Лу и козлиное молоко Джиму Дэвису!... Даже предстоящая встреча с Ронни не волновала. Надя заранее знала, что Ронни скажет и что она ему скажет... Только в стае птиц кружившихся над крышей сарая, было что-то знакомое. Она старалась вспомнить, что это было и наконец вспомнила. Галки кружащиеся около колокольни Успенской церкви в мартовских сумерках... Надя отвернулась от окна, села и подобрала иллюстрированный журнал.

Когда Ронни вошел и остановился в дверях, она встала... Они смотрели друг на друга. « I am sorry, Nadya,» сказал он наконец. «Простишь меня?».

«Я совсем не сержусь, Ронни».

В одно мгновение он уже был около нее и взял ее руки чтобы поцеловать. Так же быстро он опустил их. «Надя... мое кольцо...»

Она взглянула на левую руку. Только теперь она вспомнила о кольце.

«Твое кольцо в безопасности... В комоде. Я сняла его позавчера да так и забыла... со всякими происшествиями».

Он стоял перед ней молча, видимо стараясь побороть волнение. Наконец он спросил низким, полузаглушенным голосом: «Игорь Волгин?»

Она надеялась, что Ронни не спросит этого. Что он будет более вдумчив, более деликатен. Но опять она была разочарована только умом. Сердце было немо и безответно.

«Sit down, Ronny», сказала она просто. «Нам нужно поговорить.

«Я очень люблю тебя, Ронни», продолжала она, когда они сели напротив друг друга. «Ты знаешь, что это так, иначе между нами вообще ничего бы не было... Так вот, что бы ни случилось, пусть не будет ничего неприятного... Что то случилось со мной. Я сама не знаю... Мне нужно подумать... распутать все, решить что делать». Она остановилась, собираясь с мыслями и подбирая слова. «Очень трудно говорить мне об этом, по-английски... Даже и по-русски было бы трудно... Не хочу чтобы ты меня неправильно понял... Трудне мне объяснить, что я хочу сказать, если ты сам этого никогда не знал, не испытывал. А если бы знал, то и объяснять не надо бы... Ты понимаешь, что я хочу сказать?»

«Ничего не понимаю! Я только знаю, что все было хорошо, пока эти казаки не приехали».

Надя кивнула. «Да, все было хорошо — неправда-ли? Вот поэтому я и не хочу, чтобы были какие нибудь неприятности между нами... Ронни, казалось тебе когда нибудь, что ты не среди живых людей, а каких то привидений?...

«Да», продолжала она, видя перемену на его лице. «Казалось тебе когда нибудь, что все вокруг не настоящее?... Что люди и места только тени? Что настоящее где то в другом месте, а не здесь?»

Ронни подошел и опустился на колено около нее. «Надя, что случилось? Ты сама не своя. О чем ты говоришь?»

Его очевидное и искреннее беспокойство тронули ее. Она улыбнулась как могла, чтобы успокоить его. «I'm all right, Ronny. Не беспокойся, я не думаю, что теряю рассудок. Но вот в том то и дело — невозможно тебе понять, а мне объяснить... Никому не понять кроме тех, кто знает...

«Ронни!» воскликнула она в внезапном и неудержимом волнении. «Ты не знаешь! Откуда тебе знать!... И ради тебя же самого надеюсь, что никогда не узнаешь!»

Он быстро приподнялся и обнял ее. «No, darling, я

не знаю, но я догадываюсь. Вы, русские, побывали в аду! Но ведь это все прошло. Осталось позади. Здесь ты в новом мире, в новой стране. Это будет твоя страна, как только мы повенчаемся. Ты начнешь новую жизнь. Опять будешь счастлива — я уж об этом позабочусь!»

Он поцеловал ее. Она не отстранилась, но и не ответила. Просто ждала. И когда он отпустил ее и стоял над ней, молчаливый и сумрачный, она тоже поднялась. «I'm sorry, Ronny. Я не хочу обидеть тебя, но я не могу... Не теперь... Давай сделаем так: я не возвращаю твое кольцо, но и носить пока не буду. Ничего не буду делать, пока не разберусь в себе... Если хочешь, заходи в Щелкунчик когда вздумается. Но пожалуйста не настаивай чтобы видеться у меня...

«Please, Ronny!» почти молила она, видя как его челюсти опять сжались. «Пожалей меня! Не делай еще труднее!... Ведь это я не из каприза или еще чего. Подумать мне нужно — и для себя и для тебя... И тогда я или надену опять твое кольцо или верну его... Так, что когда ты его увидишь, мы оба будем знать. Без всяких сцен... Может быть ты не хочешь ждать. Тогда я пошлю его как только вернусь в город».

Она остановилась, ожидая ответа, и зная наперед какой будет его ответ.

«All right, я подожду», сказал Ронни с деланной улыбкой. «Но не заставляй ждать слишком долго. Я уеду из города на неделю — на две».

Надя улыбнулась с облегчением. «Thank you. Я знала, что ты это сделаешь для меня... Пойдем лучше в столовую. Бэтти наготовила замечательных блинчиков, специально для тебя. Помнишь какие блинчики подавали в парижской Москве?»

42.

На третье утро после возвращения от Бэтти, Надя сидела, как всегда, за поздним завтраком, когда телефон зазвенел. Она ответила и с внезапным волнением узнала голос Игоря: «...Есть свободные полчаса?»

«Да, конечно... Что случилось?»

«Да пока ничего. Мы с Иваном Иванычем хотели бы навестить тебя».

Так приходите когда хотите... Через полчаса — час».

«Ну хорошо, мы явимся в одиннадцать... Пока!»

Она повесила трубку, раздосадованная за свое волнение. Она догадывалась о цели визита. В первый же вечер по возвращении в Щелкунчик, Мистер Абрамсон похва-

лил и поблагодарил ее за расторопность в деликатной ситуации, а потом спросил между прочим, что она думает о возможности пригласить двойной квартет из казачьего хора на несколько недель? Конечно, если они не запросят слишком много, в дополнение к ужину.

Надя не знала, хорошая это идея или нет. Это значило, что она будет видеться с Игорем... Петь с ним!... Она подозревала, что Абрамсон как раз это и имел в виду... Это значило, еще больше запутаться вместо того, чтобы все разъяснить... Ронни обязательно узнает, если даже он и не в городе...

Надя ответила, что подумает и поговорит с казаками.

Идя одеваться, она взглянула на фотографию Ронни. В инстинктивном порыве, она взяла ее с пианино и оглянулась, смотря куда бы убрать. Она остановилась, еще больше раздосадованная на себя, вытерла пыль со стекла полой пеньюара и поставила фотографию обратно на пианино.

Посетители явились во время. Иван Иваныч в папахе, с краемкой черкески выступающей из под полы дождевика. Игорь в своем демисезонном пальто и черной широкополой шляпе. Их вид, и особенно черкеска, выглядывающая из под дождевика, был особенно жалок в ее нью-иоркской квартире. В Париже она этого не замечала...

Гости поцеловали ее руку, сняли пальто и сели. Иван Иваныч оглянулся кругом. «Замечательное у вас помещение. Вот очень приятно, что некоторые наши устраиваются заграницей. Может и нам Бог даст».

«Хотите кофе?» спросила Надя, стараясь отделаться от чувства неловкости. «Я только что окончила завтрак. Заварила полный кофейник. Еще горячий, или подогрею».

«Да вы не беспокойтесь», ответил Иван Иваныч. «Впрочем, если еще горячий, то чашечку и выпьем. Погреемся».

Надя пошла в кухоньку и принесла поднос с кофейником, чашками, сахарницей и сливочником. Она налила всем по чашке.

«Мы не будем долго задерживаться», сказал Игорь. «Хотим посоветоваться по одному делу: Дело в том, что хор разваливается. Факт тот, что он уже развалился...»

«Всех дирижеров поликвидировали», вставил Иван Иваныч.

«Да. Агент наш весь энтузиазм потерял. Говорит нельзя петь без дирижера. Да и сами знаем, что уже не будем петь, как полагается».

«Без дирижера петь нельзя», поддакнул Иван Иваныч.

Игорь продолжал: «Однако петь нужно, хотя бы на время. Здешняя казачья станица обещает устроить концерты в русских церковных домах, школах. Их много около Нью Иорка. Русские придут просто посмотреть на казаков!... Но на это не проживешь...»

«Не проживешь на это!» подтвердил Иван Иваныч. «Нам надо как нибудь перебиться пока не обживемся и не разузнаем... Пока хлопцы не найдут частной работы... Вот мы и думали, что может быть вы поможете землякам и попросите за нас в Щелкунчике. Публике мы там понравились. И князь уже танцует там, сам-один. А с хором-то красивее будет».

Позади его очевидного беспокойства, Надя чувствовала драму маленького мира казачьего хора. Ей стало стыдно за свои собственные мелочные сомнения и тревоги. «У меня ноовсти для вас. Хозяин меня сам спрашивал. Говорит возьмет двойной квартет. Боюсь, что весь хор не возьмет. Места нет».

«Да это ничего! Отлично!» воскликнул Иван Иваныч, просветлев. «Лучше и не надо. Теперь князь сам по себе, а Игорь Петрович уезжает, так нас только шестнадцать душ. Будем петь по очереди...»

«Куда ты уезжаешь, Игорь?» спросила Надя быстро.

«Борис Петров всегда утверждал, что дуракам счастье. Тут одна оперетка — по здешнему музыкальная комедия — искала экзотического певца и гитариста. Действие происходит в каком то мифическом Балканском королевстве, где поднимается революция. Король и его дочка принцесса в неминуемой опасности. Но откуда ни возьмись, является американский герой — легкий баритон. Он познакомился с принцессой раньше, в Монте-Карло, но не знал, что она принцесса. Кроме того, они оба проигрались дотла... Ну, конечно, геройский американец очень быстро навел порядок. Храбростью и отчасти разными капиталистическими интригами. Короля восстановил на престоле, а принцессу увез в Америку... ...Специалисты американцы — увозить принцесс... А я в одном действии пою в цыганском кабарэ, а в другом веду банду бунтовщиков штурмовать дворец и американец меня убивает... Так мне и надо!... Выезжаем на месяц в соседние города, на пробу, а потом обратно в Нью-Иорк.»

«Сто долларов в неделю, подумайте!» прибавил Иван Иваныч, жалобно. «Вот и мы тоже надеялись... Ах, какое несчастье! Какое несчастье!... Вы не знаете сколько он нам будет платить?»

«Поторговаться придется. Меньше пяти долларов в день на человека не соглашайтесь. Кроме того, получите

ужин».

«Так это замечательно! И перемена после борща! У нас в одной комнате оказалась маленькая газовая плита. Так мы сложились, купили большую кастрюлю, тарелки, ложки, и все прочее. Вафля и Кирюша в лавочку за провизией ходят. Они же и борщ готовят на всех. И хороший борщ — однако надоедать начинает. А повара ничего кроме борща готовить не соглашаются. Говорят, мяса много идет на разные там котлеты. А мясо дорогое, дороже капусты и картошки».

«Значит понемножку устраиваетесь?» заметила Надя.

«Да, понемножку. После всех этих путешествий, все равно где жить, лишь бы прокормиться. Язык ихний вроде французского или мексиканского — если не понимаешь ни того ни другого... Но все же начинаем подбирать слово за слово. Опять же русских много. В воскресенье в церковь пошли. Многие хлопцы знакомых повстречали из турецких лагерей куда из Крыма эвакуировались. Станичников понаходили. В гости ходим...

«Интересный анекдот слышал!» продолжал он с вернувшимся обычным воодушевлением. «Один богатый американец собрался путешествовать вокруг света и дал объявление в газетах, что ищет секретаря, чтобы поехал с ним и переводил с разных языков. Вот приходит один русский. Какие же вы языки знаете? спрашивает американец. Да я, говорит, все знаю. Американец страшно обрадовался и сейчас же нанял его. Ну поехали. И действительно, в какую страну ни приедут, русский везде обходится и показывает все интересные места. Американец просто поражен. Вот однажды он и спрашивает. Где же вы научились всем этим языкам? Ну, тут нашь русачек и признался, что кроме английского он знает только один русский. Как только ихний пароход пристает к пристани, он и кричит с палубы вниз. Эй, кто тут есть русские? Конечно, русский всегда окажется. И язык знает и проводником служит». Он хлопнул себя по коленку, от удовольствия.

«Предприимчивый господин», сказала Надя, смеясь. «Есть такие из наших».

«Кто нибудь из наших общих знакомых?» спросил Игорь.

«Может быть...»

«Да, надо как то приспособливаться», продолжал Иван Иваныч. «Язык подучить, работенку найти... Вы помните Якубовича? Так у его зятя есть мастерская, Эксцельзиор Батик Студия. Он там и работает пока. Говорит, место скоро будет, если хочу... Пошел посмотреть.

Замечательное дело, этот батик! В Индии его выдумали, или где то там на островах. Натягивают шелк на рамы и наводят рисунок горячим воском, кисточкой. А потом краски кладут. Краска то конечно растекается по шелку, а восковая линия ее держит где нужно... Очень просто. Я то, разумеется не художник, но после раскраски нужно материал закрепить, чтобы значит краска в стирке не разлезлась. Вот тут то и мне работа. Шелк сперва пропаривают в таких шкафах, а потом стирают в специальной воде...»

Иван Иваныч, вдохновленный как в лучшие дни в Париже, уже был готов объяснить все тонкости батиковой промышленности, когда Игорь перебил его: «Иван Иваныч, наши хлопцы сидят там ногти кусают от нетерпения. Насчет батика в ресторане расскажете. А мне надо на репетицию. Вечером увидимся, поговорим».

«Правда, надо бежать... Когда лучше придти поговорить с хозяином?»

«Между девятью и десятью. Я ему скажу, что придете», ответила Надя.

«Ну, пока. Большое спасибо!» Он поцеловал ей руку и вышел.

Когда дверь закрылась за Иваном Иванычем, Игорь сказал после короткого молчания: «Здесь кончается сага знаменитого и неподражаемого казачьего хора. Finita la comedia! А жаль, замечательная была организация! Кому бы нибудь нужно ее увековечить. Правда, Терентий наш летописец. Но боюсь, у него подход к делу слишком серьезный, архивный...»

Надя промолчала. Она старалась угадать — зачем он остался. И каждая догадка только усиливала нервность. Она заметила, что мексиканский загар постепенно сходил с его лица... Эта тонкая линия над переносицей — иногда превращающуюся в морщинку — она не помнила ее из Парижа.

«Хочешь еще кофе?» спросила она.

«Нет спасибо». Он встал и направился к пианино, где стояла фотография Ронни. Надя нагнулась чтобы поднять какую то крошку с ковра.

«А, достопочтенная Дракониха!» Его голос заставил ее взглянуть. Он держал китайскую шкатулку, забытую на пианино. «Не беспокойся», сказал он на ее протестующий жест. «Я не украду золота Тети Лизы... и воздержусь от неуместных замечаний относительно священных предметов».

Он открыл шкатулку и осторожно дотрагивался до сложенной пыльной ленты, завернутой в восковую бума-

гу... билеты в Большой... свернутую струну... Он вынул струну и смотрел на нее. «Новое прибавление к музею? Я не помню».

«И самое новое и самое старое. Последняя московская струна... Оборвалась в Париже!» Надя сама оборвала последние слова — готовая ко всему. Их глаза встретились.

Но знакомой и всегда досадливой усмешки на этот раз не было. Игорь положил струну и закрыл шкатулку. «Вот это наша судьба, Надя», сказал он просто. «Никогда не протереть глаз от пыли Москвы, хотя оборванной струне уж больше не играть...

«Надя, что с тобой?» воскликнул он, видя, что она смотрела на него с ужасом, широко раскрытыми глазами.

«Почему.. Почему ты это сказал?» прошептала она дрожащими губами.

«Что сказал?»

«Вот это... Про оборванную струну... Откуда ты знаешь?»

«Что знаю?... Надя, опомнись!»

Он подошел к ней, но она отстранила его и откинулась на спинку софы, повидимому успокаиваясь. Не зная что делать, он пошел и принес ей стакан воды. Она чуть дотронулась до него. «Спасибо, Горка... Уже все прошло».

«Ты испугала меня... Смотрела как будто увидела привидение».

«Ничего, все прошло... Вероятно нервное... Прости, что испугала... Дай папиросу. Хотел мне сказать что нибудь?»

Он замялся. «Да, но это не к спеху. Может быть в другой раз. Пожалуйста не думай, что смеялся над твоей коллекцией».

«I'm all right. Я знаю, что нет... Что ты хотел сказать?»

В ответ, он вынул запечатанный конверт и передал ей. Она прочла свое имя.

«Я нашел это в его комнате и взял пока полиция не увидела. Не принес раньше потому, что расстраивать еще больше не хотел».

Надя разорвала конверт. Офицерский Георгиевский крест выпал на ее ладонь — белая эмаль в золотой оправе, на черно-оранжевой ленте. Они оба смотрели на него молча. Наконец Игорь сказал: «Я не думал, что полиции это поможет. Я знал наощупь, что в конверте. Ты не сердишься, что сразу не принес?»

«Нет... спасибо», ответила она сдавленным голосом, все еще смотря на крест. Потом взглянула страдающими глазами. «Так ничего и не нашли?»

Он молча покачал головой.

Надя поднесла крест к губам и поцеловала его, потом положила опять в конверт. «Мне тоже кое-что нужно сказать. Перед уходом, он просил передать тебе, что очень сожалеет о происшедшем... Что он был неправ».

«Я знаю», ответил Игорь.

Опять она смотрела на него со страхом. «Ты знаешь, что он мне это сказал?»

«Нет, не это. А то, что он неправ.. И что он может выкинуть такую шутку».

«Игорь, откуда ты знаешь?»

Он пожал плечами. «Помнишь, ты всегда хотела чтобы мы были с ним друзьями. Закадычными-то друзьями, правда, не сделались, но все же до некоторой степени...»

«Ты не смеялся над ним?.. Не дразнил?»

«Конечно, нет! Наоборот, старался помочь чем мог».

«Скажи, он пил?»

«Выпивал. Но как регентом сделался — точно ножом отрезало! Прямо чудо! Вот до самого этого вечера — ни в одном глазе».

«Так что же случилось? Невозможно же так вдруг! Что нибудь да было между вами».

«Недоразумение небольшое... Теперь уже все кончено. Он и сам признался, что неправ. Не будем об этом говорить».

«Пожалуйста, Игорь! Мне нужно знать. Почему он сказал, что ты его сделал регентом, чтобы издеваться над ним?»

«Откуда же мне знать? Повторяю, что он и сам сказал, что неправ».

«Я хочу знать, Горка!»

«И знать нечего!... Какие новости из Парижа? С этими переездами и суматохой я как-то запустил корреспонденцию».

Надя закусила губу и отвернулась. «Ольга и Капитусь сильно беспокоились, когда я написала им о вашей мексиканской авантюре... У тебя рука не отвалится черкнуть им пару слов... Оба учат английский язык и копят деньги на Америку. Нужно им помочь».

«Обязательно, как только организуюсь».

«Ольга пишет, твой Борис Петров женился. На какой-то француженке».

«Должно быть его Сюзи. Боевая дама. Она из него человека сделает».

«...Да, чуть не забыла, Бобо замуж вышла! За чешского инженера. Ольга пишет, теперь Бобо и не узнать. Только и разговор, как хорошо они устраивают кварти-

ру, а потом и новоселье справят... А Китти как-то опустилась, Ольга пишет... Боится, что она пьет... Жаль!»

«Естественный отбор», ответил Игорь. Он оглянул комнату. «Которые поумнее, приспособляются, устраивают квартиры. А дуракам — как придется... Между прочим, как насчет нашего пари? Придумала discretion?

Надя быстро поднялась. «Оставь меня, Игорь! Пожалуйста!»

Он тоже поднялся. «Это и есть мой проигрыш?»

«Да! Оставьте меня!»

Он подобрал пальто и шляпу. «Всего хорошего, Надя», сказал он просто. В двери он обернулся. Их глаза встретились. «Мой последний и приятный долг как бывшего секретаря хора — поблагодарить за участие и помощь. Как выразились одесские евреи, поднося благодарственный адрес полицеймейстеру за сапсение их от полного погрома, сердечное вам русское merci от всего еврейского общества».

Дверь закрылась за ним. Надя стояла, комкая платок, пока не услышала звук захлопывающейся двери внизу. Бросив скомканный платок, она открыла Дракониху. С самого дна, из пачки писем, она достала сложенную в пакетик восковую бумагу с давно завядшими, неузнаваемыми фиалками. Яростно повторя: «Des jolies violettes!... Porte-bonheur! Porte-malheur» [1]) она разорвала пакетик на мелкие клочки.

Бросившись на кушетку, она рыдала зарыв лицо в подушку.

43.

Казаки приходили в Щелкунчик в две очереди, по восемь человек. Они пели во время ужина и опять около полуночи. В промежутке, когда ресторан был почти пуст, они сами ужинали за столом около кухни, а потом или шли на прогулку по Бродвею и Пятому Авеню, или удалялись играть в трынку в кладовой около кухни.

Наде не нужно было сидеть в ресторане все время, как в Париже. Она приходила и уходила когда хотела, лишь бы быть во время для выступления. Но теперь, когда казаки сидели за задним столом, она оставалась

---

[1]) Чудные фиалки!... На счастье!... На несчастье!...

дольше и часто ужинала с ними. Приятно было слушать их разговор — смесь русского с украинским, пересыпанный нововыученными английскими словами. Они прицепляли к иностранным словам русские окончания — иногда с неожиданным эффектом не предусмотренным никакой грамматикой. За казачьим столом Надя не чувствовала себя такой одинокой, как дома. ...Странно, она не встретила никого знакомых по Москве, ни с фронта. И еще не успела завести хороших знакомых в Русской колонии, хотя ее все знали, или по крайней мере знали о ней. Она пела несколько раз на благотворительных вечерах в пользу многочисленных эмигрантских организаций, куда Ронни возил ее между двумя выступлениями в Щелкунчике. Слухи о ее предстоящей свадьбе с миллионером — слухи подкрепленные видом кольца с солитером — очевидно как-то распространились, и отношение к ней было соответствующее. Как знак особенного почета, она танцевала мазурку с бывшим кавалерийским полковником известным как один из лучших «мазуристов» Петрограда. Все остальные пары постепенно очистили пол для традиционного события. Полковник, в полной форме, увлекал и кружил ее в элегантных па, постукивая каблуками, побрякивая шпорами, иногда опускаясь на одно колено — к удивлению Ронни, который никогда не видел ничего подобного... Она виделась с американскими друзьями в ресторане. Они уже повидимому знали, что что-то произошло между ней и Ронни, и хотя приглашали ее заглянуть на какую нибудь очередную парти, но не настаивали, когда она благодарила и отказывалась. Итак оставалось только слушать впечатления казаков о новом мире...

«...Удивительная сторона, Америка. Нищие и те пьют кофей», рассуждал Вафля. «У нас дома нищие просили копейку, або хлеба кусок, ради Христа. А здесь иду я по улице и какой-то гаврик подходит, щось балакае. Я только понял «никел» и «кофе». Значит просил пятачок на кофей. Никеля-то у меня не было, а была пенни в кармане. Так я ему эту пенни и подал. А он вдруг осердился, кричать начал и пенни бросил...»

«Он не на кофе собирал, а на выпивку», сказала Надя среди общего смеха. «Это уж здесь такой обиход, «на чашку кофе».

«...И язык ихний американский удивительный», продолжал Вафля. «Волгин выписал мне некоторые самонужнейшие слова русскими и американскими буквами, которые такие-же как мексиканские и хранцюзские. Говорит некоторые слова невозможно написать по-русски... А мне

усе одно. Как ни читать, никто не понимает».

«Це не американские буквы, а английцкие», сказал Терентий. «Тут говорят, на буквы не надо обращать внимания. А просто гляди на слово и уже знаешь, что оно значит и как выговаривать».

«Так якого-же биса американцы своих букв не выдумают щоб каждый мог читать ихний язык?» протестовал Вафля.

«Несуразный язык, с точки зрения», согласился Лукич. «Кому ни скажу мою фамилию, то сейчас-же спрашивают, хау ю спэл? Значит, как оно пишется? А как-же казаку знать, как писать ихний язык, если они сами не знают?»

«Так твое другое дело. Хоць всю Америку обойди — нет такой фамилии, Убей-Батько. А ежели нет такой фамилии, то и букв таких нет, чтобы ее прописать. Хошь-нехошь, а придется тебе, Лукич, фамилию переменить как Волгин говорил».

«На какую-же фамилию он советовал вам переменить?» спросила Надя с интересом.

Лукич сердито повел моржовыми усами. «Килпатер, не то Килпатрик. Говорит, знаменитая ирландская фамилия... Что-же мне — ирландцем заделаться, с точки зрения?»

«Очень известная фамилия», подтвердила Надя, стараясь скрыть улыбкой внезапное мимолетное волнение... Убей-Батько-Килпатер! Это было так похоже на парижского Горку!...

Казаки всегда вызывали громкие аплодисменты, но Надя видела огромную разницу между их пением и сенсационными выступлениями полного хора в парижском Trocadero. Они уже не были Le Celebre Choeur des Cosaques, а группа русских эмигрантов, одна из многих, сделавшихся певцами за неимением ничего лучшего. Они пели без регента, по привычке, зная давно все переходы и нюансы. Один из них — Терентий в одной очереди и казначей в другой — задавал тон и отбивал пальцем такт, в строю. Их песни были простые украинские или боевые с присвистом и уханьем — настоящие казачьи в понимании гостей Щелкунчика.

Как время шло, Надя замечала и другие перемены. Казаки все меньше и меньше разговаривали о прошлых приключениях и все больше и больше о станичниках и новых друзьях которых они встретили в Нью-Иорке. Все они хорошо устроились малярами, плотниками или мыли посуду и убирали в ресторанах. Работы было довольно

для всех. Иван Иваныч уже устроился пропарщиком в Эксцельзиор батик студии и рассказывал с мельчайшими подробностями, как надо свертывать шелк и бумагу в руло — не очень туго и не очень слабо. И до какой температуры доводить, и сколько надо уксусу и еще одного секретного раствора для закрепления краски. Он уже поговаривал об открытии собственной пропарочной и намекал, что ищет компаньонов, на паях. «Ведь это-же новый бизнес. Только что начинается. А там развернется на всю Америку. Тысячи долларов можно моментально заработать!» Однажды он принес Наде шарф с огненными и зелеными разводами. «Если кто спросит где взяли, так и скажите, что из Эксцельзиора. Хорошо для бизнеса».

Князь устроился быстро и всех лучше. Бродвейский gossip columnist черкнул заметку о сенсационном Кавказском танцоре князе Мише Кирвани, недавно прибывшим с казачьим хором. Его отец, царский адьютант, был расстрелян большевиками, а сам он, последний отпрыск древнего и знаменитого рода, добывает горький хлеб изгнания воинственным танцем своего племени. Без Сашки, Князь монополизировал ночные рестораны Нью-Иорка и накалывал доллары без конкуренции. Он снимал комнату один, не принимал участия в борщевой артели, а обедал в ресторане Авдеева неподалеку. Вечером он забирал мешочек с театральными кинжалами и отправлялся добывать «горький хлеб изгнания». В Щелкунчике он подсаживался к столику дамы средних лет в дорогих мехах и с бриллиантами на кольцах и серьгах. Они уходили вместе.

Самая большая перемена произошла в Вафле. «...Не могу понять — сны перестали сниться», объявил он однажды. «А може и снятся, да до утра не доходят».

«Может быть все ваши сны исполнились», сказала Надя. «Теперь вы в Америке — о чем-же больше мечтать?»

«Вы так думаете?... А може и правда. Не так беспокойно, как в Мексике. И комната своя, и манатки все разложены в комоде, и чемодан пустой в чуланчике, и работу похоже нашел...»

Вафля встретил станичника который принадлежал к локалу домоломного униона, состоящего исключительно из славян. Он обещал устроить туда и Вафлю — к весне когда будет больше работы. «...Удивительная страна, Америка!» рассуждал Вафля. «Жалованье такое же ломать дом, как и строить. Да и какие дома ломают! Позавчера пошел побачить, как станичник Кузьма работает. А они ломают дом в десять этажов. И совсем хороший дом!

У нас такой дом простоял бы еще пятьдесят годов и народ съезжался бы со всего краю, поглазеть. А здсеь ломают. Кузьма говорит, будут строить дом в тридцать этажов».

«Да здесь в Нью-Иорке уже вся земля позастроена», сказал Иван Иваныч. «Одно остается — ломать который дом пониже, а строить повыше. Говорят, собираются строить в сто этажей».

«Не можно такого дома выстроить», решительно объявил Вафля. «Скувырнется, або молнию зацепит. Вавилонская башня ниже была».

«Куда тебе с Вавилонской башней, баранья голова! Тут Америка, инженерная механика, с точки зрения!»

«...Удивительные здесь порядки», продолжал Вафля. «Вот полончевали мы с Кузьмой и прошлись по улице. Смотрим народ стоит. А посреди какой-то очкастый сухопарый стоит на пустом ящике и речь держит. А сбоку американский флаг приставлен. Мне то непонятно, а Кузьма разбирает. Говорит, правительство обкладывает. Говорит, и президент и все министры капиталистам продались и народ обманывают... А я не поверил. Как же можно президента обкладывать? И чего полиция смотрит? А он говорит, здесь в Америке свобода и каждый говорит, что хочет. Только чтобы к бунту не подстрекать против конституции. Оттого и флаг приставлен, что значит не против конституции... Смотрю полицейский подходит, дубинкой на ремешке помахивает. Остановился, послушал и пошел своей дорогой». Вафля ухмыльнулся. «Смехота! Вот этот сухопарый кричит, а Кузьма переводит. Чего нам, пролетариям, надо! А один там сзади кричит обратно. Нам надо капиталу! Ну, все и засмеялись. И сам очкастый повеселел... А тут время пришло на работу звертаться. Очкастый свернул свой флаг, ящик подхватил и пошел в переулок».

«Вот и нам так-же надо-бы», заявил Терентий. «Может и революции не было бы. А у нас в старое время, как что скажешь, так тебя и за манишку. Да и при новой власти тоже много не поговоришь. А у американцев правильный порядок. Пускай ругают в открытую кого хотят — и царей, и президентов, и все начальство. Собака лает — ветер носит».

«Как-же ты равняешь американского президента с нашим царем?» спросил Лукич строго. «Президент такой же человек как и все. Народ его выбирает, а не понравится — другого выберут. А наш царь природный, Божиею вспоспешествующе милостью. И отец его был царь и дед и прадед, до изначала века, с точки зрения. Как можно против царя?»

«А вот оказалось можно», ответил Терентий, нехотя, и начал закуривать. Очевидно никто не хотел продолжать разговор о сравнительных достоинствах русской и американсчой политической системы.

Так случилось, что у одного из родственников Якубовича — на этот раз не зятя, а дальнего родственника — был магазин готового платья. Его костюмы были сшиты из наилучшего материала, по самой последней моде, и продавались по самым дешевым ценам, почти без прибыли. Якубович рассказал об этом казакам во время дружеского визита — справиться, как они устроились. И в виду того, что им все-равно придется обзавестись цивильным, рано или поздно — почему не воспользоваться таким счастливым обстоятельством? А его родственник сделает скидку и даже поверит в долг, если у кого не хватит денег. Казаки и сами сознавали необходимость цивильного костюма и наконец решили и нагрянули всем хором в магазин на Втором Авеню, ниже Четырнадцатой Улицы. Обрадованные возможностью поторговаться, как дома на базаре, они привели в драматическое отчаяние родственника Якубовича, который клялся, что теряет деньги на таком гешефте, но закончил сделку подарив каждому казаку галстух, который не нужно было завязывать, а только застегнуть.

В этот вечер Лукич не явился в Щелкунчик, хотя была его очередь, и его заменил другой бас. На вопрос Нади, казаки засмеялись: «Нету больше Лукича. Пропал со свету, а есть новый американский Килпатер. Зашли за ним, а он сидит в новом костюме перед шкафом. А в шкафу дверь зеркальная. Так он сидит и сам с собой чокается в зеркале. Прощай, говорит, Лука Лукич Убей-Батько. Давай выпьем на прощанье. А потом по-английски: Хау ду-ю-ду, мистер Килпатер. Очень даже приятно познакомиться. Нас спрашивает: Вам кого — старшего урядника Убей-Батько или мистера Килпатера?»... Ну, видим ему сегодня не до пения. Так и оставили».

«Обязательно хочу увидеть Лукича в штатском костюме», сказала Надя смеясь.

«На немецкого ковбасника похож», ответил один из казаков.

Через несколько дней после этого события, Лукич сказал Наде, что хочет поговорить с ней, приватно. В спокойный час после ужина, они сели за столик в углу, вдали от всех. Надя заметила какую то неловкость в старом казаке. Он избегал смотреть на нее, странно ежился и

теребил моржевые усы. «Тут такое дело», сказал он наконец. «Может поговорили бы с Абрамсоном, относительно касательного... Что дескать не возьмет ли казака стоять часовым у дверей внизу?»

Теперь он взглянул на нее. Из под нависших густых бровей, взгляд был строг и невесел.

«Как же так, Лукич? Я ведь думала вам это дело не нравится. Я помню в Париже...»

«То и я помню», перебил Лукич. «Так то был Париж, а здесь Нью-Иорк. Америка, с точки зрения! Здесь им ни к чему — кто ты был раньше. Здесь выложи деньгу. А не выложишь — извини, подвинься. Казаку промышлять надо на чужой стороне. Вот Иван Иваныч говорит, в ихней мастерской министр, да генерал-губернатор работают, платки красят. Министр-то правду сказать, не настоящий, а Керенский, временного правительства. Однако министр с точки зрения. А генерал-губернатор настоящий, Сибирский. Шустрый такой старичок, Иван Иваныч говорит. Так его там и называют, Спиди. Это значит по-англицки шустрый. Все быстро... Так вот она какая — Америка! Да и американцы оказалось не все богатые. Голытьбы тоже много. Однако у кого голова на плечах, так те не пропадают... Вы скажите Абрамсону, что у русского ресторана обязательно должен стоять казак. Фасон держать. Да и не простой казак, а старший урядник гвардии его высочества наместника Кавказа! Тут таких не много гуляет».

Как будто бы преодолев препятствие, Лукич воодушевился, хотя не забывал сдерживать громоподобный голос. «Поглядел я на этого гаврика внизу, с точки зрения. Стоит — ворон считает! И никакой физиогномии! Рази так стоят на посту? Когда я встану, то народ останавливаться будет. Решат, что ежели такое снаружи, то обязательно нужно зайти посмотреть, что оно там внутри. Со всего города съезжаться будут — казака посмотреть. И обращение интеллигентное знаю, то есть значит что к чему. С генералами и с князьями и с графьями разговаривал по долгу службы. А однажды стою на посту во дворце и сам великий князь проходит. Видит, боевой казак, остановился. Как фамилия, спросил. А я отвечаю, Убей-Батько, ваше императорское высочество. А он, похоже, не расслышал и обратно спросил. А потом улыбнулся таково приятно и говорит: Знаменитая фамилия. И припомнил! Как когда увидит, сейчас же обращается: Здорово, Убей-Батько. А я ему, Здравия желаю, ваше императорское высочество!... Дипломатия, с точки зрения».

Надя слушала с серьезным лицом, сдерживая смех и в то же время проглатывая комок, подступавший к горлу. Она обещала поговорить с Абрамсоном, но высказала сомнение насчет языка.

Лукич лишь отмахнулся. «О языке и не беспокойтесь. Вытвержу которые нужные слова. Главное дело, видимость иметь, публику знать как встретить. Дверь открыть, честь отдать, в свисток свистеть — такси вызывать. Опять же, могу сказать здравствуй и прощай на пяти языках. Не надо казаку много языка. Черкеска, она на всех языках разговаривает». Он любовно потрепал обшлаг черкески.

Мистер Абрамсон быстро согласился на Надино предложение. «...Я и сам собирался его спросить. Только придется подождать. Я не могу просто так рассчитать человека, но он кажется сам собирается уходить. Я сам поговорю с казаком. Может быть поставлю его раз в неделю, когда у другого выходной день. Пускай привыкает, а я посмотрю, как на должности стоит».

Он взглянул в сторону казачьего стола. «По правде сказать, я бы предпочел вот того полковника. У него настоящий класс. С таким видом, ему только и ехать на коне перед полком или швейцаром стоять в первоклассных ресторанах. В Холливуде его сразу взяли бы играть роли знатных иностранцев... Между прочим, замечательный бы из него maitre d'hotel вышел. Представительный мужчина. И публике уважение внушал бы и место украшал. Хорошие деньги можно заработать. Вы скажите ему — пусть язык учит».

Мистер Абрамсон попыхивал сигарой. «Давно не видел Мистера Брустера», заметил он небрежно.

«Уехал по делам», ответила Надя, так же небрежно. «Вероятно вернется недели через две».

Мистер Абрамсон кивнул. Он знал, что это вероятно правда. Никто не видел Ронни в городе — ни одного ни с другой дамой. Хотя было отчасти странно, что у Ронни Брустера вдруг завелись какие то дела — такие важные, что он должен был оставить Прекрасную Надю. И Мистер Абрамсон не мог не заметить отсутствия кольца с большим солитером на Надином пальце. Он очень интересовался — было ли это просто совпадение или что нибудь более важное. Он знал, что Ронни звонил в ресторан и искал Надю после того неприятного происшествия. Он тоже знал, что и казак Волгин уехал. Справившись по Бродвею, он узнал день возвращения новой оперетки в Нью Иорк. Складывая все вместе, он видел, что чего то не хватает и подозревал, что последнее слово еще не ска-

зано. Его интерес был чисто профессиональный: он надеялся, что еще удастся ангажировать Две Гитары.

Он любезно улыбнулся Наде. «All right, я поговорю с Лукичем. А вы поговорите с полковником. Пока не упоминайте насчет maitre de, а просто посоветуйте учить язык».

Надя и Полковник подружились. Оказалось, что он знал полк в котором служил ее отец и даже смутно помнил капитана Кирина. Она пригласила его на чай и они разговаривали о прошлом. Он рассказал подробно о том, что случилось в Мексике, о смерти Маэстро Антоныча и о разделе хора. Она надеялась, что он скажет что нибудь о том, что было между Игорем и Павлом, но он ничего не сказал. Ей даже показалось, что он избегал этого вопроса. Она была поражена трагедией Кирюши. Теперь она поняла причину перемены в молодом казаке. Кирюша разговаривал мало, только улыбался когда кто нибудь вспоминал разные юмористические эпизоды из путешествий хора. Но она не помнила чтобы он смеялся.

Надя часто слышала как Джим Дэвис жаловался на хлопоты со своим имением. Работники ленились и их всегда тянуло в город. В шутку она спросила его однажды: «Почему бы вам не взять наших казаков? Язык то у них пока плох, а работать будут хорошо. Большинство из них от сохи и они это дело знают. А бежать им некуда».

Джим подумал несколько секунд и объявил, что это гениальная идея. А что касается языка, оказалось, что его главный садовник из русских немцев с Волги и еще не забыл русского языка. Джим сказал, что попытает счастья с казаком и спросил Надю, кого она порекомендует. Она посоветовалась с Полковником и он порекомендовал Кирюшу.

Кирюшино лицо посветлело в первый раз и брови поднялись в счастливом удивлении, когда Надя спросила его. От волнения, он не мог говорить и только мигал круглыми глазами. «... Как же... как же не поехать? Ведь це лучше и не треба! Я тут раздумываю и не знаю в которую сторону повернуться... Мне город ни к чему!... Так и скажите Джиму. Буду работать на совесть... За лошадьми то я и сам могу ухаживать, а остальное что — покажут, научусь. Вот Бог дал счастья!...»

Он остановился и смотрел на нее с той же счастливой улыбкой. «Ну спасибо вам, Надя. Дай Бог здоровья... У меня тут такое дело. Хочу сына к себе из станицы выписать... Кто его знает, как оно будет. Куму отписал. Долгое дело, да и денег наверно много стоит. Так, что надо работать. Вот языку подучусь, порядки здешние

разузнаю, а там Бог даст и свое место добуду, с сыном жить».

Надя, растроганная, потрепала его по плечу. «Ну вот и хорошо. Джим и Бэтти очень хорошие люди. Они вас не обидят. Только как же насчет сына? Я не знала, что это можно. Да и у вас ведь не постоянные визы».

«На шест месяцев. Отсрочку, говорят, получим. Да теперь уж коли мы здесь, штопором не вытащишь. Куда же нам деваться? Домой ехать нельзя и выслать некуда. Тут, говорят, один русский приехал из Франции нелегально, так его на том же пароходе обратно во Францию отправили. А Франция его тоже без визы не принимает и звертает в Америку. Так и ездит туда-сюда по океану. На кухне работает, чтобы значит не даром проживаться. И не знаю, что с ним при конце концов сделалось... А насчет сына тоже еще не знаю, Игорь Петрович присоветовал. Он больше знает».

«Он посоветовал?» спросила Надя с новым интересом.

«Да, там в Мексике. Когда я письмо получил. Сильно помог мне, дай Бог здоровья. Горько мне было. Да и он тоже, помню... Рассказывал, как от расстрела утек. Отцу-матери помочь нечем... Как есть, у каждого своя беда. Так он и сказал. Говорит, надеяться надо...»

«Он сказал?» перебила Надя, быстро. «Сказал, что надо надеяться?»

«Так и сказал», ответил Кирюша, не замечая ее волнения. «Говорит, должен же быть нам какой ни на есть шанс, при конце концов. И правда — как же можно жить, если не думать, что вот со временем и место свое добуду и Сына Бог даст выпишу... Чудный человек, Игорь Петрович. Нельзя понять. Все с шуточкой да прибауточкой, а я так думаю, он себе на уме. Про себя держит, никому не говорит».

44.

По понедельникам в Щелкунчике было тихо. Публики обычно было мало и все уходили рано. По понедельникам Надя проводила больше времени с казаками за столом около кухни. В этот понедельник она ужинала с ними. Среди общего разговора, Вафля сказал ей: «А что вы знаете, — нашь Терентий заделался настоящим писателем».

Она взглянула на Терентия, который слегка покраснел и смущенно ухмыльнулся. «Ну, какой там писатель... Просто пару стишков в газету отнес... Пропечатали... Вот

не хотите ли посмотреть?»

Он достал конверт и вынул вырезку из местной русской газеты. Лукич, явившийся слегка выпивши и поэтому избегавший попадаться на глаза Мистеру Абрамсону, подмигнул Наде. «Носит при себе день и ночь, на случай, кто поинтересуется».

Надя прочла два стиха, «Думка казака» и «Везде чужой» — наивные но с искренним чувством, просвечивающим сквозь неумелые строфы и рифмы. В примечании редакции было сказано, что это сочинение казака из новоприбывшего хора. Она подозревала, что это и была главная причина публикации Терентьевых стишков.

«Очень хорошо, Терентий. Я слышала, что вы пишете, но не знала, что вы еще и поэт. Обязательно продолжайте. Как знать — может быть, что выйдет».

Лицо автора расплылось в счастливую улыбку. «Вы так полагаете?... Не могу не писать. Само в голову лезет и жужжит как комар, пока на бумагу не положу... Да это пустяки. У меня другое на уме. Хочу описать историю нашего хора! Пусть люди знают. Может попадет обратно в Россию и станичники прочитают в каких странах мы бывали, как жили... Все думки наши и радости, какие были, и труды... У меня уж все готово. Записывал все с самого начала. Мне не надо ничего выдумывать, как другим писателям. Что с нами случилось уж едва ли опять случится...»

Он отодвинул стакан воды, который он чуть не опрокинул, увлекшись: «...Хочу всю правду выложить! Вот они глазеют на нас здесь и думают, мы какие-то смешняки. И языка ихнего не знаем и одеты по-своему... Спрашивают, чем казаки занимаются, когда они не скачут на конях и не бьют народ и не грабят? А нам стыдиться нечего! Все что наше мы не украли, а заслужили своей песней... И еще неизвестно вынесли бы они за свою страну, сколько мы за нашу. Так вот я и открою им глаза — пускай увидят какие мы есть люди! Ничего от себя не прибавлю, а опишу все точь-в-точь, как оно и было».

Его рыбьи глаза воодушевились и уставились прямо, как будто смотря вдаль через стену Щелкунчика, мимо небоскребов Нью-Иорка, через океан. «...Как мы бились за свою землю и думали уже сломили красных, да видно не судьба. И как пришлось сдать Новороссийск и едва живыми выйти из своей страны и в Турецкую землю.... Горько было. Только те, кто были там знают, как горько. А остальным вот я и расскажу... И как Маэстро Антоныч — царство ему небесное — стал собирать хор. Голоса испытывал, все партитуры по памяти расписал. И как мы

обедню пели в первый раз, и генералы и строевые казаки и солдаты приходили благодарить... И как из лагеря уехали. По Болгарии, по Сербии. И не было у нас ничего сначала кроме смены белья и походной черкески. И спать приходилось в школах на полу. А принимали братушки! Народ валом валил на концерты... И как итальянцы, сами специалисты по музыке, удивлялись казачьему пению без аккомпанемента. Не верили, что басы так низко могут брать. Смотрели нет ли органа где... А Миланская консерватория преподнесла золотую медаль и почетный диплом за отличное пение. Это тоже не баран начихал...»

«Помнишь як итальянци камертон слухали при начале и при конце каждой песни — не понизили ли?» вмешался один из слушателей.

«Никогда не понижали, при Антоныче», подтвердил Тереньтий. «Так у меня и записано... И как Париж заволновался на нас и пели мы для самого Президента. А после и для Мексиканского Президента и он дал нам бесплатный вагон, чтобы разносить казачью песню по всей стране. И как старались добиться до этой Америки, не зная какая тут будет нам судьба... И как Антоныч перебивался ни жив ни мертв, и не было ему места отдохнуть и поправиться. И как Америка не пустила нас, без денег. И как Антоныч помер и думали пропадем, как овцы без пастыря, пока Вафля не подцепил еврея Якубовича, а секретарь Волгин не списался с Нью-Иорком и не произвел в регенты сотника Коваля...»

«Интеллигентный человек, Игорь Петрович, с точки зрения», прибавил Лукич, веско. «Додумался поставить в регенты полуумного человека — не тем будь помянут».

«Я бы не сказал, что сотник Коваль полуумный», возразил Полковник, бросив быстрый взгляд на Надю. «Что-то случилось с ним здесь. Выпил лишнее — в первый раз после похорон Антоныча... Однако, должен сказать, и я удивляюсь проницательности Игоря Петровича. Он точно знал наверняка, что делал. И нас всех уверил, чтобы согласиться... Оба они удивительная пара».

Надя потянула рукав Терентьевской черкески. «Рассказывайте, Терентий».

Терентий допивал свою чашку кофе; его вдохновение очевидно прошло. «Так вот уже почти все. Только как Дуля и его шайка уехали в Европу, а мы наконец, попали в Америку... Главное дело, надо показать, что хоть мы и чужие, и на сцене и вот здесь поем, а все равно, мы такие же люди, как и все. А петь по нужде приходится... Вот пели мы при Антоныче этот концерт, «На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом...» Так те евреи не хоте-

ли петь своих песен в чужой стране. А мы поем. За хлеб поем».

«А вот интересно, были в Вавилоне такие кабаки где этим евреям петь?» справился Вафля. Но этого повидимому никто не знал.

Полковник взглянул на Надю с юмористической искрой в глазах. «Война родит героев, а изгнание родит Иеремий...»

«Слухайте сюда», вмешался Лукич. «Как-же это мы допустили, чтобы два казака погибли на чужбине и без православной службы, как некрещеные язычники? Довольно стыдно, с точки зрения, что ни один из нас раньше не додумался. Обязательно надо панихиду отслужить!»

Предложение было единодушно одобрено. Решили отслужить панихиду в это-же воскресенье, после обедни.

«Может Волгина подождем», предложил Вафля. «Пора ему звертаться».

«Я читала в газете, они играют эту последнюю неделю в Филадельфии, а в понедельник открывают здесь в Нью-Иорке. Из Филадельфии только два часа езды. Они должны вернуться в субботу ночью».

«Ну значит во время», сказал Лукич. «Нельзя без Игоря Петровича».

После ужина Надя решила прогуляться. Она пошла медленно по Пятому Авеню, останавливаясь перед витринами модных магазинов. Не доходя до Библиотеки, она повернула обратно к ресторану. Только Лукич и Полковник были за столом. Ресторан был пуст за исключением запоздалой пары за дальним столиком. Один официант прибирал около столов. Три других, все бывшие флотские офицеры, ужинали за столом около музыкантской эстрады. Мистер Абрамсон отдавал предпочтением флотским. Он считал, что они, как ходившие за границу, лучше знали язык и светское обращение и были более подходящи для официантской должности.

Предварительная выпивка повидимому нагоняла сон на Лукича. Он казалось спал на стуле в углу. Когда Надя подошла к столу, он открыл и закрыл один глаз.

«Брожу как неприкаянная душа», сказала Надя садясь против Полковника. «Не знаю, что со мной сегодня».

«Мало погуляли», ответил полковник. «Я бы тоже пошел, да не люблю, когда на меня глазеют в этой форме».

«Вероятно думают вы что-нибудь рекламируете... Иду однажды по Бродвею и вижу идет представительный господин во фраке и цилиндре. И вдруг на его манишке появ-

ляются огненные слова: Smoke Chesterfield. А в другой раз вижу группу людей смотрящих на другую сторону. Я взглянула, а там человек висит вниз головой, подвешен за ноги перед огромной черной доской и пишет что-то сзаду наперед и снизу вверх... Не знаю это я или действительно так, но Бродвей как-то не такой как Парижские бульвары... Не та атмосфера...»

Полковник кивнул. «Больше экстравагантности, чем элегантности. Экстравагантности легче добиться и она бьет в глаза сильнее. Опять-же, элегантность не ходит по улицам, а ездит на автомобилях и обитает на высших уровнях». Он посмотрел на нее с юмористической искрой. «Вы теперь туда вхожи. Как оно там?»

Надя слабо улыбнулась. «Я до настоящего-то высшего общества еще не добралась. И вероятно не доберусь... А в общем живописная смесь... Так сказать, элегантная экстравагантность или экстравагантная элегантность... Но чистой элегантности пока не заметила. Может быть еще не успела... Да говорят, Нью-Иорк еще не настоящая Америка».

«Я тоже это слышал... Говорят хорошие места есть дальше на Север. Озера, луга, леса, как у нас. Калифорния, говорят, замечательное место...

«А вот соловьев в Америке нет!» закончил он неожиданно.

«Нет соловьев?» спросила Надя рассеянно, как будто думая о чем-то другом.

«Нет! В прошлое воскресенье поехали мы за город, петь в одном русском приходе. И священник оказался любителем птиц. Целая комната клеток. Говорит, что как-то привезли несколько пар из Англии и выпустили на размножение. Но с тех пор, никто их не видел и не слышал. Либо поумирали, либо обратно улетели... В океане вероятно утонули».

Надя смотрела перед собой. «...Нет соловьев в Америке... Как странно... И даже символично... Может быть соловьи тоже не хотели петь своих песен в чужой стране? Одни мы, русские изгои, поем. За хлеб, как Терентий говорит. Этим древним евреям нужен был Иеремия — плакать и рассказывать о их горе. Потому, что они не хотели сами сказать об этом в песне. А мы русские — мы поем нашу песнь изгнания...

«Знаете, Полковник», продолжала она. «До слез жалко, что случилось с хором после Парижа. Это как разбитая арфа! Я, конечно, рада, что хлопцы пристраиваются понемногу. Но когда мы все найдем наши новые ниши, кто-же будет петь нашу песню?»

Полковник погладил усы, слегка укороченные после покупки штатского костюма. «Боюсь, что это не конец, а только начало нашей песни. Мы все еще думаем, эта эмигрантская жизнь только временная. Что вернемся домой так или иначе... А что если придется ждать долго? Или совсем не вернуться?...

«Да, совсем!» прибавил он с ударением, видя ее протестующий жест.

«Нет, Полковник! Пожалуйста! Не будем и думать об этом! Как-же жить без этой надежды?»

Полковник смотрел на нее с выражением противоречащим жестокости его слов. «Бог знает, как я хочу и надеюсь увидеть Россию. Но надеяться, это еще не значит получить. Если не придется нам вернуться, природа возьмет свое. Те из нас, кто помоложе, да поумнее, да посчастливее — выживут и приспособятся. Остальные...» Он пожал плечами. «Со временем мы все поумираем, а наши дети — у кого будут — сделаются американцами, французами или как где придется».

«Так просто?» спросила Надя. «А что же о нашей душе? О горе, которое мы видели и испытали? Значит так и умрет с нами? Я думаю миру надо об этом знать. Может быть научатся на нашем уроке».

Тихая печаль ее голоса вызвала понимающий взгляд Полковника. «Наша душа не совсем пропадет. Она нас переживет в нашей песне, музыке, во всем, что мы вывезли из России и рассеяли по миру... Вот я читаю в газете о наших профессорах работающих в американских университетах... Писатели композиторы... Семена вырастут и дадут плоды...» Он помолчал. «А что касается нашего горя, скорби нашей, может быть и лучше если они умрут с нами. И без нас много горя на свете».

Надя кивнула и заговорила как будто думая вслух. «Так значит лучше отделаться поскорее от таких как мы и не портить настроение другим?... Значит не было никакого резона в том, что с нами случилось?... А те братские могилы и кресты от Балтийского до Черного моря? И дальше в Закавказье и Турции. Вы видели их и я видела их... И безымянные могилы по всей России!... И море бедствий! Это тоже все ничего?»

Она говорила быстрее и быстрее, с возрастающим волнением. «...Это значит просто так случилось и тем хуже для нас?» почти вскликнула она, заставив трех обедающих официантов взглянуть в ее сторону. Заметив перемену на лице Полковника, она попыталась улыбнуться и понизила голос. «...Знаете, я часто думаю, что это действительно так и есть... Вот я вам расскажу. Однаж-

ды в Париже пошли мы посмотреть Собор Богоматери. И эти Химеры на балконе. Никогда не забуду! Особенно одна из них — Стриг. Сидит он там с непередаваемым выражением... Ехидное — не ехидное, насмешливое — не насмешливое... Описать невозможно... Как будто-бы все для него старая, надоевшая шутка... Все наши радости, печали, смех слезы — все! И вот как подумаешь, что случилось с нами, с нашим миром — и действительно как будто это правда. Как будто кто-то разыгрывает шутки над нами!... Просто так, от скуки... Просто посмотреть что мы будем делать... Как бабочки на булавке! Таким образом все сразу объясняется. Нет ни в чем ни цели ни какого смысла. Мы живем, надеемся, строим свои карточные домики... А вдруг кто-то дунет, дернет за веревочку, перетасует карты — и все смешалось, пропало. У американцев есть хорошее выражение: выдернуть коврик из под ног... Вот он и выдергивает коврик из под нас — и смеется. Смотрит как мы корчимся...» Ее голос оборвался. «...Это бессердечно... Жестоко!»

Полковник взял ее руку. «Ну, не надо волноваться... Принести вам стакан воды или чего нибудь для подкрепления?»

«Нет, спасибо, ничего. I'm all-right... Но это бессмысленно и жестоко!»

«Да, оно так кажется», согласился Полковник. «Однако, может быть и не совсем так. Мы слишком близко к деревьям, чтобы видеть весь лес. Заблудились мы, так сказать. Да и не знаем еще, чем дело кончится. Может быть и есть какой смысл. История докажет, если нам неизвестно... С одной стороны, нам действительно не повезло. Во-первых, родились мы в такое время. А во-вторых, мы русские. С изначала нашей истории Русь стояла между Востоком и Западом и нам попадало с обеих сторон. Сначала Монголы с Востока. И Монгольский меч притупился не о мечи наших враждующих князей, а о головы и шеи серьмяжных ратников. Европа спаслась гибелью Руси, но мы отстали на два столетия. Запад напал на нас при Наполеоне и погиб в наших снегах. И вот теперь Запад напал на нас опять, сначала с оружием, а потом с подвохом. В тяжело раненое тело России вспрыснули яд западного марксизма.. Но Россия выжила и татар и Смутное время и Наполеона. Выживет и это... Вот разговаривали мы с Игорем Петровичем, он говорит, что Маркс и Ленин верили в какой-то диалектический закон по которому все происходит и меняется в зависимости от обстоятельств..»

«Слышала и я эту галиматью», перебила Надя с серд-

цем. «От тезиса к антитезису, с обратным билетом».

«Да... Волгин говорит, что по этому самому диалектическому закону большевики тоже современем переменятся.. Ну, мне то диалектике уже учиться поздно, а я по своему соображаю. Революция революцией, а жить то как нибудь надо. Сам Ленин ввел новую экономическую политику! Так вот я и думаю, что со временем и народ и начальство ихнее должно будет отделить практичное от непрактичного из всех нововведений. Не по принуждению, а по силе необходимости. Отвеять зерно от мякины, так сказать. Я то уж до этого не доживу, а вы может быть доживете...»

Он помолчал, поглаживая усы. «...Опять же может быть и есть правда в этой древней идее искупления, искупительной жертвы. История показывает, что России как будто предназначено страдать, может быть умереть, чтобы опять воскреснуть к новой жизни и подать новую надежду миру. Как Христос невинно пострадал и умер за грехи мира и искупил их... В таком случае, нашему поколению, мертвым и живым, будет утешение, что наша жертва не была напрасна».

Надя смотрела на него широко открытыми глазами. «Знаете, Полковник, Паша Коваль тоже говорил об этом... о нашей невинной жертве. Как странно! Чтобы невинные страдали вместе с виновными... ради виновных. Но почему? Может быть это высшая справедливость, но разве нужно ей быть такой суровой? Ведь это значит, что не милосердный Господь правит суд, а какое то кровожадное божество, требующее человеческих жертвоприношений!»

Полковник пожал плечами. «Нам не дано этого знать. Остается одно — верить и надеяться... Может быть уж года такие приходят, или делать мне нечего, а вот читаю Библию. Архиерей благословил в Белграде за то, что обедню ему спели. Замечательная книга — Библия. Язык замечательный — торжественный и красочный. Я конечно, не все читаю. Пропускаю где говорится, кто кого породил и сколько сотен лет прожил и всякие там обряды. А вот вчера дошел до Эклезиаста. Замечательная книга! Сначала может показаться отчасти мрачновата, что все суета и всем одна судьба — и умным и дуракам. Но с наших позиций Проповедник и прав когда он утверждает, что нет ничего лучшего, чем взять от жизни, что есть хорошего и по мере возможности сотворить добро».

«Вроде веселого пессимизма», заметила Надя. Концом чайной ложки она разводила невидимые узоры по скатерти.

«Любимое выражение Игоря Петровича. Не знаю читал он Эклезиаста или нет».

«Если и читал, то перевел по своему», ответила Надя, не поднимая головы.

«Да, но однако я не об этом. А вот послушайте: **Понеже кто есть, иже приобщается ко всем живым, есть надежда.** Есть надежда тому, кто присоединяется к живущим.

«Есть надежда!» повторил он, с ударением. «Даже и этот проповедник пессимизма обещает надежду. И нам-то легче, чем другим понять эту мудрость. Мы, эмигранты, отделились от мира. От своего отстали, а к чужому не пристали. Мы не приобщились к живущим, и пока не приобщимся — нет нам надежды. Мы по настоящему и не живем, а просто существуем — ожидаем чего то, скулим, себя жалеем.. Поем о прошлом. Вы заметили, что большинство наших песен — минорные. Настоящие песни изгнания! Но имейте в виду — Проповедник обещает надежду только тем, кто приобщился к миру... живет не просто среди людей, а с людьми и в некотором роде для людей... Так вот я посматриваю кругом и подумываю: нет мне надежды в Америке. Нет у меня здесь ни родных, ни друзей старых. А новых друзей в мои года уж трудно завести. Вот как нибудь скопить бы, допустим, тысячу долларов. Я бы уехал обратно в Сербию. У меня там хорошие приятели есть. Опять приобщусь к жизни. А Америка для молодых. Надеюсь допоем здесь до весны. А там на кладбище...

«Да нет, вы меня не так поняли!» спохватился он, видя, что Надя уронила вилку, котороой она выводила невидимый рисунок на скатерти и взглянула на него испуганными глазами. «Таким манером пока еще не собираюсь. А вот тут, говорят, нанимают летних работников на одном богатом кладбище. Травку подстригать и все такое. Работа, говорят, не тяжелая и берут всех кто придет. Языка тоже много не надо. Начну понемножку деньжонки подкапливать. А там и зимнюю работу найду».

«Перепугали вы меня, Полковник», сказала Надя с слабой улыбкой. «Я сегодня и так сама не своя... Между прочим, учите язык. Здесь вечерние школы есть для иностранцев. Бесплатные. К зиме может быть и получше что-нибудь подвернется. Может быть и уезжать не захотите... Во всяком случае, тысячу скорее скопите».

«Да?» ответил Полковник с интересом. «Уж не знаю, где и как. А если знаете, скажите. Буду очень признателен».

«Пока ничего больше не могу сказать. Только учите

язык». Она опять принялась выводить невидимый рисунок концом вилки. «...Я вас хочу спросить... Меня поразило, что вы тоже заметили, как Игорь и Павел похожи друг на друга. Я тоже так думала... Если это так... если они так похожи, вы не думаете, что и Игорь тоже...»

«Да нет, что вы!» Полковник не дал ей договорить. «Помилуй Бог! Уж кто-кто, а не Игорь Петрович! Похожи то они похожи, но не до такой степени. Образно выражаясь, Сотник был — так сказать — надломленное дерево, а Волгин лишь погнутое... Да и большая перемена произошла с ним в Мексике. Возмужал, так сказать. И здесь, перед отъездом, поговаривал о поступлении в Колумбийский университет. Оказывается здесь такое общество есть, которое помогает бывшим студентам. И очень удобно. Подхалтурить можно или в театре или по кабакам... Нет, я бы об Игоре Петровиче не беспокоился!»

После долгой паузы, Надя сказала, не поднимая головы: «Еще один вопрос. Если они были так похожи, и даже Игорь старался помочь — почему же была между ними такая вражда?... Что было между ними?»

Полковник крякнул. «Не могу сказать... Не знаю... По правде сказать, не подозревал, что зашло так далеко... Вероятно недоразумение... Выпил лишнее...» Он остановился, видя, что один из официантов подошел к столу.

«Господин Полковник, разрешите попросить папиросу».

«Конечно, конечно». Полковник протянул ему открытый портсигар с единственной папиросой. «Да вы берите, не стесняйтесь. Я как-раз собирался пойти купить. Если хотите принесу и вам, пока наша сигаретная красавица не вернется».

«Буду очень благодарен».

«Извините на минутку. Сейчас вернусь», обратился Полковник к Наде, поднимаясь.

Дремота Лукича прошла сейчас же как только Полковник ушел. Он открыл глаза и лукаво подмигнул Наде. «Дипломатист, с точки зрения! И знает так не скажет. А вы, Наденька, казака спросите. Казак знает!»

Он пересел на стул плоковника, нагнулся поближе и продолжал сценическим шопотом, обдавая Надю заметным запахом виски: «Разговаривал он тут разговоры про разные надежды, а того не соображает, что настоящая, то-есть Надежда на него через стол глядит... А резон, коли хочешь, знать, оба-два на тебя прицелились! Точно так и без обману!... Казак знает — слышал ихний разговор,

когда оба были под мухой и сердце открывали!»

Он откинулся назад с торжествующим видом. «Однако оба остались не причем! Обошла ты их с флангу со своим американцем. Весь фасон с Волгина как рукой сняло... Ни один в хоре не знает, а я держу про себя. А ведь он тоже разговелся здесь после Мексики! Квартировали мы вместе. На вторую ночь после приезда вижу подчипурился. На выход собирается. А я и не спрашиваю — знаю куда... Скоро спать полег, а в последствии времени он меня будит... Звертался значит. Стоит у кровати и спрашивает: Осталось у тебя что? То есть от бутылки станичник приветствовал по случаю благополучного прибытия... Вижу сильно огорчен наш Игорь Петрович. Николи таким не видал... Достал бутылку... Выпили. А он голову опустил на стол. Дурак я, говорит, Лукич. Так мне и надо... Да я что? Наплевать на меня. Только бы ей было счастье. Коли ежели она счастлива, мне больше ничего и не надо... И таково мне стало его жалко... Ведь он кунак мне. Как родной. Не горюй, говорю, Игорь Петрович. Другую найдешь... А он как вскинулся. Взглянул точно огнем опалил. Врешь, говорит, такой-сякой!. Нет другой такой! Нет и не будет!... Однако успокоился. Выпили еще по одной, а он опять. Дурак я, Лукич... Вижу сильно огорчен человек, не стал с ним спорить. Так точно, говорю, дурак ты, Игорь Петрович голубок... Так всю бутылку и усидели. Он твердит, Дурак я, Лукич, а я поддакиваю.»

Лукич покачал головой с искренним сожалением. «И точно дурак. Вот те и интеллигент, с точки зрения! Такую кралю упустит!... Ну а Сотник, не тем будь помянут, и вовсе ума решился. Видать идеи у него в голове завелись после производства в регенты. Да не надолго. Поглядел как вы с Волгиным пели и танцевали — и решил, что Волгин подыграл его. Произвел его, значит для своей цели... Ошибся человек! Да и как не ошибиться, с точки зрения? Я сам гляжу и думаю себе, вот одурела наша Наденька! Променяет богатство на песню!... Но однако ты себе на уме...»

Он оскаблился во весь рот. «Вот когда бы казаку сбросить с плечь годов пятнадцать-двадцать — уж мое почтение, в жист не упустил бы». Он поднялся. «Однако не тот казак, что прежде. А поэтому бонжур вам и адиос. Казаку треба освежиться и подчипуриться... А вы, Наденька, держитесь за своего Ронни. Тут Америка, с точки зрения».

Подмигнув еще раз, он заковылял на отсиженных ногах в раздевальню.

45.

Обедня уже началась, когда Надя вошла в церковь. Она перекрестилась и подошла к прилавку в углу. Заказала вынуть просфору за отца, маму, тетю Лизу и убитого мужа. Взяла две свечи и положила пятидолларовую бумажку на тарелку. Староста поклонился и поблагодарил. Группа казаков в парадных черкесках стояла недалеко впереди прилавка. Знакомой головы на высоких плечах не было между ними. Надя пошла к алтарю. Почти две недели она и ожидала и боялась этой встречи. Теперь, когда его повидимому не было, она знала, что ожидала этой встречи больше, чем боялась.

Она поставила одну свечку в большой подсвечник, среди других горящих перед иконой Богородицы, потом перешла на другую сторону к иконе Николая Чудотворца, покровителя их семейства, по словам мамы. Мама и тетя Лиза всегда ставили свечку святителю. Не задумываясь особенно, почему, Надя следовала их примеру каждый раз, когда ей случалось быть в церкви.

Отходя от алтаря, она взглянула на группу казаков. Они все смотрели на нее. Некоторые улыбнулись и слегка поклонились. И вдруг ее сердце остановилось. Игорь стоял недалеко от дверей — один, в штатском. Она или не заметила его когда вошла, или он сам только что пришел. Их глаза встретились. Не ожидая его поклона, она склонила голову и не подняла пока опять не повернулась к алтарю. Чтобы успокоить волнение, она уставилась на строгое лицо Архангела Михаила с пламенным мечем, нарисованного на левом притворе. Вместо него, она видела лицо Игоря — такое же строгое, не успевшее или не желающее изобразить знакомую улыбку...

Прислушавшись, Надя знала, что пришла после евангелия. Она еще помнила обряд. Она знала его наизусть, когда пела гимназисткой младших классов в церкви Успения. Знакомое полузабытое чувство опять охватывало ее как она слушала возгласы священника и ответы хора и наблюдала за синими струйками кадильного дыма завивающимися в косой полосе солнечного света из высокого окна. Следя за ними в Успенской церкви, она была уверена, что они поднимаются до самого неба, унося с собою молитвы... Иначе зачем-же кадило?

Было приятно и тепло слушать обедню, как всегда — даже если она уже больше не верила, что кадильный дым возносится к самому небу — во всяком случае не всегда. Чистая детская вера иссякла, капля за каплей, по дороге войны, революции и изгнания. Оскорбленная

зрелищем огромного и неоправданного страдания — пораженная жестокостью верующих в правоту своей жестокости — поруганная богохульными проклятиями мучающихся в смертельной агонии — вера увяла как сорванный деликатный цветок. Остались только память о его аромате и сожаление о потере — вызванные желтыми языками свечей перед иконами и сладким запахом ладана.

И все-же было хорошо внимать словам литургии. Они были те-же как всегда и везде — в России, в Германии, Франции и здесь в Америке. Мама и тетя Лиза слушали их. Миллионы русских слушали их, в привычной вере в их правоту — века за веками, со времен Владимира князя Киевского... Правда, вместо «благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего императора...» священник поминал президента Соединенных Штатов. Правда тоже, что Успенская церковь теперь вероятно музей, если не склад. И надпись над Иверской часовней объявляет, что религия опиум для народа. Все равно, было хорошо слушать родные слова — несмотря на это — может быть именно поэтому. Они одни остались от всего разрушенного бурей. Церковь продолжала молиться «о мире всего мира... благорастворении воздухов и изобилии плодов земных... о непостыдной и мирной кончине живота нашего». О всем к чему люди стремились и на что надеялись, из поколения в поколение.

Одну новую просьбу прибавила церковь. Священник молился «о многострадальной родине нашей и о верных чадах ея — во рассеянии сущих — в плену умерших — и от неутешныя скорби скончавшихся». Надя перекрестилась, зная смысл и правоту прошения.

Архангел Михаил смотрел на нее с притвора строгим и проницательным взором. Он беспокоил ее, но не было силы оторваться. Его глаза были глаза Игоря — не тот взгляд, когда он почти бежал к ней через ресторан, от двери к столу где она сидела с Ронни, Джин и Чарли — и не тот, минуту позднее, с знакомой небрежной улыбкой. А тот промежуточных секунд, когда она протянула ему руки — для поцелуя и чтобы удержать его от более интимного приветствия — и когда он увидел кольцо и догадался...

А теперь лицо Архангела сделалось лицом Павла — не той страшной маской поразившей ее в Париже когда он вошел в квартиру Парских и сказал: «Я Павел Коваль. Помните меня?» — а лицом прежнего, настоящего Паши в последнюю ночь в Москве, когда он играл Романс Рубинштейна...

И вот оба лица слились в одно и смотрели на нее глазами Архангела — не столько строгими, сколько упрекающими. Она смотрела на него с мольбой, надеясь смягчить жестокость укора. Твердила опять и опять, что она не знала, не имела возможности знать... Что она глубоко несчастна и не было ей покоя с тех пор, как подвыпивший Лукич бухнул ужасную, все объясняющую правду.

В свою очередь, она спрашивала Архангела — правда ли то, что она думала с тех пор? Возвратясь домой в ту ночь, она открыла Дракониху, как она часто делала в последнее время. Георгиевский крест лежал где она положила его вчера, не думая, в кольце свернутой струны, как в венке... И вдруг мистический трепет охватил ее. Это были два образа Павла Коваля! Один — оборванная струна, которой уж больше не играть. Другой — чей подвиг был запечатлен в благородном металле высшей награды героев, награды готовых жертвовать и пожертвовшим всем. Сразу вспомнились и приобрели истинное значение и слова Полковника и та сцена в Лувре, когда Павел спрашивал их: «Отвечайте — виноваты мы или нет?» Во внезапном откровении Надя знала, что если был какой нибуь смысл во всем, этот смысл был в древнем законе искупления, испытанном веками. Что невинные страдают с виновными и за виновных. Что грех должен искупиться смертью — для воскресения новой жизни...

Торжественная тишина воцарилась в церкви перед херувимской песнью, когда завеса задернулась за царскими вратами в приготовлении к евхаристии — таинству невинной жертвы. Сопрано и альты хора вознеслись в ангельской мелодии. «Иже херувимы, тайно образующе...» Тенора и басы вступили, достраивая мост между небом и землей. Минуя неумолимый взгляд Архангела, Надя теперь обращалась прямо к Пославшему его — с тем же вопросом. Она просила, чтобы невинная жертва Павла Коваля была не напрасна. Чтобы жертва всей России была не напрасна! Если уж так нужно для исполнения какого то непреклонного закона, целая страна пострадала и старый мир умер для воскресения нового. И один человек умер, может быть для того, чтобы другой — так похожий на него — мог жить. Верою гимназистки младших классов на клиросе Успенской церкви Надя молилась за всех страдавших и страдающих в неутешной скорби. За того, которого уже больше не было — и за того, который остался — и за себя, стоявшей ничего не подозревая между ними. И в сокровеннейших заповедниках сердца, несмотря на строгий взор Архангела, она робко просила о чуде... Чтобы оборванная струна заиграла

опять...

❀ ❀ ❀

После обедни был небольшой перерыв. Прихожане ушли и только казаки и их знакомые остались. Надя стояла на своем месте не смея оглянуться. Кирюша принес ей свечку, которую он зажег у икон. Держа ее в левой руке, Надя подумала, что было-бы неуместно свету панихидной свечи по Павлу блестеть на бриллианте Ронниного кольца. Кольцо было отправлено на другой день после разговора с Полковником и Лукичем, с запиской: «Ронни, я никогда никого не обманывала и я хочу такой и остаться. Прости если обидела. Спасибо за все.»

Эти две строчки были самые длинные, которые ей когда-либо приходилось сочинять. С пером в руке, она придумывала как написать Ронни чтобы как можно меньше обидеть его, когда ей пришло в голову, что даже бумага с ее инициалами вытесненными в затейливом рисунке была его подарком. Она долго думала — уместно-ли писать Ронни такое письмо на его-же собственной бумаге? Наконец решила, что написать на простой бумаге было-бы еще хуже. Ронни мог-бы подумать, что она вообще хочет выкинуть его из памяти... Но простые английские фразы, единственные которые она могла составить, совсем не выражали того, что было нужно... Тогда она решила написать сначала по-русски, а затем перевести. Она взяла другой лист, хотя первый был совершенно чист. Но и с русским языком было не легче. Она просто не могла найти хорошего предлога для возвращения кольца — и просто потому, что Ронни никогда не подавал никакого повода. Ту ссору из за Павла Коваля — их первую — нельзя было ставить ему в вину. Как говорят французы, Ронни был comme-il-faut. Был всем, что можно ожидать от влюбленного мужчины...

И все-таки ей казалось в последнее время, что чего-то не хватало в их отношениях. И теперь она прочла это нехватающее в пустом листе бумаги: им не о чем было разговаривать — или почти не о чем, кроме ежедневных мелочей. Даже в самые интимные часы в ее или его постели... Ронни много говорил куда они поедут на медовый месяц. Он повидимому знал все хорошие места... Но у них не было общих воспоминаний — ничего раньше Парижа, несколько месяцев тому назад. Ронни ничего не знал о России и только американскую часть войны — как офицер связи. О революции он знал только из газет и журналов. Он считал большевиков разбойниками и сожалел,

что белые были плохо организованы. Однако он утверждал, что в настоящем положении ничего не оставалось как только ждать пока красные не утихомирятся и начнут строить вместо того чтобы ломать. Им несомненно будет нужна американская сноровка и капитал. Тогда молодая чета Брустеров и поедет в Россию и Надя будет проводником... Этот прагматический подход, вероятно заимствованный из Wall Street Journal, не принимал во внимание неосязаемого фактора неутешной скорби, который упоминала церковь и который Надя знала как очень осязаемый... Конечно, откуда-же Ронни знать?... Он ведь тоже никогда не пробовал маковых пряников и квасу... не дежурил в очереди у Большого театра... не звонил в колокола на Пасху... Сама мысль о Ронни звонившим на колокольне была совершенно нелепа...

И еще ей пришло в голову, как она продолжала думать над нетронутым листом, что они никогда не разговаривали о том, что один или другой читал. Она даже не знала читал-ли Ронни вообще что нибудь кроме Wall Street Journal, который он иногда оставлял у нее. В его penthouse были журналы, но она не видела ни одной книги. Вероятно у него не было времени читать после делового дня в биржевой фирме его отца, в которой он числился младшим партнером... А потом деловые обеды... вечера в Щелкунчике... общество, или как американцы называют parties. Младшие вице-президенты, заведующие и их жены и подруги, бродвейские и холливудские персонажи, местные и вашингтонские политиканы. Ей сначала было странно, и даже смешно, что все женщины были «girls», девушки, независимо от возраста и семейного положения. Но скоро привыкла. Как и к тому, что некоторые из «девушек», скромные на вид, выделывали самые неожиданные па чарлстона, после нескольких «хайболов». Все они были очень милы по отношению к ней, но она чувствовала, что они оглядывают ее, вероятно строят предположения. Бэтти Дэвис посвятила ее в некоторые закулисные тайны и показала которые из «девушек» могли-бы сделаться хорошими приятельницами. Надя хотела, чтобы Ольга и Капитусь Парские приехали поскорее. Все-таки было-бы с кем поговорить по душе...

Правда, тетя Лиза тоже вышла замуж не в свое общество. Но тетя Лиза была не только влюблена в дядю Фрица, но и любила его до самой смерти. А она, ее племянница, могла-ли сказать это о себе?

Ее ответ был пустой лист бумаги. И не было слов, ни русских, ни английских, заполнить его. В досаде на себя

и на все происшедшее, она написала быстро и решительно короткие строки против которых она ничего не могла возразить сама себе... Пусть Ронни читает между строк, если хочет!...

...Наконец священник вышел из алтаря. С первого-же печального «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас», Надя предчувствовала, что не выдержит этого последнего испытания. Ей всегда казалось, что русская погребальная служба была жестока в своей неприкрашенной скорби. Но уйти уже было невозможно. Она выпрямилась чтобы не поддаваться слабости. Ее внимание было отвлечено на минуту словами священника, поминавшего «воинов Стефана и Павла и рабов Божиих Трофима и Ирину». Она подумала рассеянно, кто-же это были воин Стефан и рабы Божии Трофим и Ирина? Потом вспомнила, что имя регента хора было Степан Антонович, а казаки звали его просто Антоныч, по обычаю. А Трофим и Ирина должны были быть родители Кирюши. Она слышала как он говорил, что заодно отслужит панихиду и по ним.

Как панихидные напевы звучали один за другим, становилось все труднее держать свечку прямо, чтобы воск не капал на пол. Желтое пламя трепетало, расплывалось — пока она не мигала и пламя опять возвращалось на свечку... Бесконечные панихиды на фронте... Ряды простых крестов над погибшими во имя... чего? Их былые радости, печали, надежды — лишь шорох ветра истории в листве древа жизни? Их жертва — бесплодная и забытая?... Но священник уже возглашал. «Во блаженном успении вечный покой подаждь Господи успшим рабам твоим ныне поминаемым и всем православным воинам на поле брани живот свой положившим...» Надя глубоко вздохнула и задержала дыхание. Священник, уже старичек, продолжал, вероятно по привычке или из уважения к казакам, «...за Веру, Царя и Отечество и сотвори им вечную память».

Горячий и горький комок подступил к горлу. В тумане, заволокающем глаза, пламя свечи раздулось в огненный шар. Надя пошатнулась, выпрямилась, стараясь не уронить свечу. Рука просунулась под ее локоть. Она услышала знакомый заглушенный голос: «Вам нехорошо, Надя?»

«Побудь со мной, Горка», прошептала она, не в состоянии говорить.

Рука крепче охватила локоть, прижимая его ближе.

И стало легче — как тогда в парижском Щелкунчике, с Игорем около нее, когда Павел Коваль вдруг пришел послушать как она поет.

46.

Кладбище расположилось заповедником тишины на окрайне грохота Нью-Иорка. Богатое и красивое предместье с узором тенистых лужаек и ровных гравельных дорожек между мавзолеями из полированного гранита и черного и белого мрамора, где покоятся кости и память тех, кому по средствам дорогая земная имитация бессмертия. Нет здесь убогих задворок и стен с гирляндами железных балконов, куда беднота выходит по вечерам из душных комнат. Бедноте разрешается здесь только работать: подстригать траву и кусты, подгребать листья и чистить дорожки, по которым никогда не гуляют обитатели и только редко те, которым уже отведено место.

Джо Кэси, прохожий подрабатывающий на сезоне, чувствовал по спине и рукам, что пора зашабашить. Чтобы не ошибиться, он подошел к двум русским работавшим неподалеку и начертил пальцем кружок на запястье, где носят часы те у кого они есть. Русские — старший чудаковатого вида, с усами и в кепке, и младший с рыбьими глазами — поговорили на своем языке. Старший вынул замшевый мешочек, а из него тяжелые старомодные часы. «Тэн минутс», сказал он с сильным акцентом.

Джо решил, что уже не стоит продолжать работу. «Эй, папаша, хорошие часы! Gold?

Усатый кивнул важно. «Голд».

«Почему не продашь или не заложишь? Sell — understand?»

Русские опять заговорили на своем языке. «Сэлл?», спросил усач. — «Но сэлл!»

«Почему нет? Хорошие деньги дадут. Or is it hot?» [1])

«Но, нот хот... хорошая погода», ответил русский, показывая на безоблачное небо.

«Skip it!» Джо показал пальцем на портрет. «Что это за бородач? Генерал?»

«Царь... Русский царь».

Джо заинтересовался. «А, это царь? Красные ухлопали его?»

---

[1]) Непереводимая игра слов. На американском жаргоне «hot» значит украденный. Настоящее значение hot = жарко.

Усатый сердито покачал головой. «No! не его... Его отец!»

«Ага, это его отец!» Джо присмотрелся внимательнее. «Серьезный дядя... Эй, папаша, что же это у тебя за часы? Показывают без семи двенадцать! Не поймешь, дня или ночи. Врут твои часы. Why don't you fix it?»

Чудак окончательно рассердился. «Но фикс!... Правильное время!»

«All right, all right! Have it your own way». Джо не хотел никаких неприятностей, особенно с очевидно рехнувшимся человеком. Да и не похож он был на остальных, работающих на кладбище. Мало ли всякого народу в большом городе! Джо подобрал мотыгу и грабли и направился к конторе не торопясь, чтобы попасть как раз во время.

«Ну вот еще день отработали», сказал Терентий.

Полковник кивнул, снял кепку и вытер потный лоб. Он рассучил рукава и опять вынул часы. Минутная стрелка дошла до правого уха Императора Александра Третьего. Две минуты до конца рабочего дня.

«Почему не переставите часы на Нью-Иоркское время?», спросил Терентий. «Похоже уж здесь в Америке и зазимуем».

Полковник смотрел на часы. «Да что уж... привык как-то. Я знаю, что мы семь часов позади Петрограда... Да и кто его знает — может и не придется переводить часы.

Когда обе стрелки сошлись на царском лице, Полковник защелкнул крышку, убрал часы в мешочек и положил в карман. Пять часов, пора домой.



Двенадцать часов, полночь, в городе Петра — окно в Европу прорубленное могучим царем, не подозревавшим что западный ветер принесет в его царство двести лет спустя. Белая ночь над черной Невой, с крейсером «Аврора» рядом с Зимним дворцом, полыхала жутким светом часа, который уже не вчера но еще и не завтра.

Завтра уже влетело в Москву на звоне курантов Спасской башни, перенизанных с «Коль славен» на «Интернационал». Старые колокола послушно вызванивали новый гимн и он разносился над старинными соборами где древнее царство Московское, отжив свой век, лежит погребено с его царями, и над пустынной Красной площадью с новым храмом разрушившему старые храмы. Чужеземный перезвон уже больше не тревожил гор-

деливых Византийских орлов, веками гнездившихся на кремлевских шпицах и уступившим место багровым звездам в новом, дотоле невиданном созвездии. Был странный подголосок в торжествующей песни «проклятьем заклейменных» в исполнении кремлевских колоколов. Подголосок печали слышный чуткому уху в звоне всех курантов в полночный час, когда обещание грядущего дня смешано с сожалением о дне прошедшем. Прошлое улетало, но его эхо — влитое в неразрушимый металл колоколов, витало над Кремлем, над Москвой рекой и замирало над Малой Бронной и сонными Патриаршими Прудами.

Глухая ночь раскинулась над степью, упирающуюся в предгорья Кавказа, и над казачьей станицей с вишневой кущей около пруда за околицей.

День был еще молод в пограничном мексиканском городке на Рио Грандэ, где покосившийся деревянный крест в углу кладбища бросал короткую тень на песчаный холмик могилы.

Полночь была еще в двух часах от Парижа. Прикурнув на балконе Собора Богоматери, Стриг — премудрая Химера — оглядывал огни города и ухмылялся тонкогубой, невеселой улыбкой.

К О Н Е Ц.

Русское Национальное
Издательство и Типография
Владимира Азар.

Технический редактор — А. В. Гибанов.

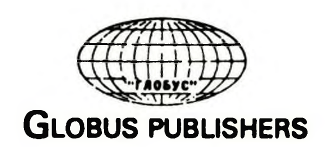
Обложка работы И. Д. Драгомирецкой.





Напечатано в Русском Национальном
Издательстве «ГЛОБУС»

GLOBUS PUBLISHERS P. O. Box 27086,
San Francisco, California 94127 U.S.A.



GLOBUS PUBLISHERS